- Иван Алексеевич Бунин
  -
    - 1881
    - 1885
    - 1886
    - 1888
    - 1891
    - 1893
    - 1894
    - 1895
    - 1896
    - 1897
    - 1898
    - 1899
    - 1900
    - 1901
    - 1902
    - 1903
    - 1905
    - 1906
    - 1907
    - 1908
    - 1909
    - 1911
    - 1912
    - 1913
    - 1914
    - 1915
    - 1916
    - 1917
    - 1918
    - 1919
    - 1920
    - 1921
    - 1922
    - 1923
    - 1924
    - 1929

        - 1931
        - 1932
        - 1933
        - 1934
        - 1935
        - 1936
        - 1937
        - 1938
        - 1939
        - 1940
        - 1941
        - 1942
        - 1943
        - 1944
        - 1945
        - 1946
        - 1949
        - 1951
        - 1953
    - Окаянные дни
        -
        - Москва, 1918 г.
        - Одесса, 1919 г.
    - Миссия русской эмиграции
- notes
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -

Иван Алексеевич Бунин
Дневники
(1881-1953)

Молчат гробницы, мумии и кости.
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте.
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный – речь.

7.1.15.

1881

В начале августа (мне 10 лет 8 мес.) выдержал экзамен в первый класс Елецкой гимназии. С конца августа жизнь с Егорчиком Захаровым (незаконным сыном мелкого помещика Валентина Ник. Рышкова, нашего родственника и соседа по деревне "Озерки") у мещанина Бякина на Торговой ул. в Ельце. Мы тут "нахлебники" за 15 рубл. с каждого из нас на всем готовом.

1885

Конец декабря

«…» ветер северный, сухой, забирается под пальто и взметает по временам снег… Но я мало обращал на это внимание: я спешил скорей на квартиру и представлял себе веселие на празднике, а нонешним вечером – покачивание вагонов, потом поле, село, огонек в знакомом домике… и много еще хорошего…

Просидевши на вокзале в томительном ожидании поезда часа три, я наконец имел удовольствие войти в вагон и поудобнее усесться… Сначала я сидел и не мог заснуть, так как кондукторы ходили и, по обыкновению, страшно хлопали дверьми: в голове носились образы и мечты, но не отдельные, а смешанные в одно… Что меня ждет? – задавал я себе вопрос. Еще осенью я словно ждал чего-то, кровь бродила во мне, и сердце ныло так сладко, и даже по временам я плакал, сам не зная от чего; но и сквозь слезы и грусть, навеянную красотою природы или стихами, во мне закипало радостное, светлое чувство молодости, как молодая травка весенней порой. Непременно я полюблю, думал я. В деревне есть, говорят, какая-то гувернантка! Удивительно, отчего меня к ней влечет? Может, оттого, что про нее много рассказывала сестра…

Наконец я задремал и не слыхал, как приехал в Измалково. Лошадей за нами прислали, но ехать сейчас же было невозможно по причине метели, и нам пришлось ночевать на вокзале.

Еще с большим веселым и сладким настроением духа въехал я утром в знакомое село, но встретил его не совсем таким, каким я его оставил: избушки, дома, река – все было в белых покровах. Передо мной промелькнули картины лета. Вспомнил я, как приезжал в последний раз сюда осенью.

…Потребность любви!.. Но кого? В Озерках никого, а в Васильевском?.. Тоже никого! Впрочем, там есть гувернантка – но молоденькая и недурненькая, как я слышал от сестры. В самом деле меня что-то влечет к ней? Она гувернантка и, верно, тихое существо, а это идеал всех юношей. Им нравятся по большей части существа не такие, как светские резкие женщины… Может быть!..

Наконец сегодня я уже с нетерпением поехал в Васильевское. Сердце у меня билось, когда я подъезжал к крыльцу знакомого родного дома. Увижу ли я ее нынче, думал я; 23-го она была в Ельце! На крыльце я увидал Дуню

и ее, как я предположил; это была барышня маленького роста с светлыми волосами и голубыми глазками [1]. Красивой ее нельзя было назвать, но она симпатична и мила. С трепетом я подал ей руку и откланялся. «Эмилия Фасильевна Фехнер!» – проговорила она. Познакомились, значит. Мне сразу сделалось неловко и в душе зашевелилась мысль. «Неужели, думал я, я буду целовать эти милые ручки и губки!» Но это уже было дерзко. Весь день нонче я держал себя «…» и натянуто и почти не разговаривал с ней. Но она, напротив, была развязна и проста. Наконец вечером мы отправились к Пушешникову, помещику, живущему на другой стороне реки. Он нам родня. Там я стал несколько свободней с Эм. Вас. Уже сердце мое билось страстью… Я полюбил и чувствовал, что влюбляюсь все более и более. Приглашал танцевать только ее одну, гулял, и наконец перед ужином она сказала мне: «Давайте играть в карты! Хотите?» Я покраснел и неловко поклонился. Мы пошли в гостиную. Там никого не было. Мы играли и шутили, наконец ее пришел приглашать танцевать некто молодой малый Федоров, мой приятель. Я вышел также и пошел в кабинет, думая, что я уже мог надеяться. Но через несколько минут она вошла. «Что ж вы забрались сюда, – сказала она, – я вас искала, искала!» Что это значит, подумал я!..

За ужином я сидел рядом с ней, пошли домой мы с ней под руку. Я уже влюбился окончательно. Я весь дрожал, ведя ее под руку. Расстались мы только сейчас, уже друзьями, а я, кроме того, влюбленным. И теперь я вот сижу и пишу эти строки. Все спит… на мне и в ум сон нейдет. "Люблю, люблю", – шепчут мои губы.

Исполнились мои ожиданья.

29 декабря 1885 г.

Сегодня вечер у тетки. На нем будут из Васильевского и в том числе гуверн«антка», в которую я влюблен не на шутку.

«…» Сердце у меня чуть не выскочило из груди! Она моя! Она меня любит! О! с каким сладостным чувством я взял ее ручку и прижал к своим губам! Она положила мне головку на плечо, обвила мою шею своими ручками, и я запечатлел на ее губках первый, горячий поцелуй!..

Да! пиша эти строки, я дрожу от упоенья! от горячей первой любви!.. Может быть, некоторым, случайно заглянувшим в мое сердце, смешным покажется такое излияние нежных чувств! "Еще молокосос, а ведь влюбляется", – скажут они. Так! Человеку, занятому всеми дрязгами этой жизни и не признающему всего святого, что есть на земле, правда, свойства первобытного состояния души, т.е. когда душа менее загрязнилась и эти

свойства более подходят к тому состоянию, когда она была чиста и, так сказать, даже божественна, правда слишком. Но, может быть, именно более всего святое свойство души Любовь тесно связано с поэзией, а поэзия есть Бог в святых мечтах земли, как сказал Жуковский (Бунин, сын А. И. Бунина и пленной турчанки). Мне скажут, что я подражаю всем поэтам, которые восхваляют святые чувства и, презирая грязь жизни, часто говорят, что у них душа больная; я слыхал, как говорят некоторые: поэты все плачут! Да! и на самом деле так должно быть: поэт плачет о первобытном чистом состоянии души, и смеяться над этим даже грешно! Что же касается до того, что я "молокосос", то из этого только следует то, что эти чувства более доступны "молокососу", так как моя душа еще молода и, следовательно, более чиста. Да и к тому же я пишу совсем не для суда других, совсем не хочу открывать эти чувства другим, а для того, чтобы удержать в душе эти напевы.

Пронесутся года. Заблестит
Седина на моих волосах,
Но об этих блаженных часах
Память сердце мое сохранит…

….

Остальное время вечера я был как в тумане. Сладкое, пылкое чувство было в душе моей. Ее милые глазки смотрели на меня теперь нежно, открыто. В этих очах можно было читать любовь. Я гулял с ней по коридору, и прижимал ее ручки к своим губам, и сливался с нею в горячих поцелуях. Наконец пришло время расставаться. Я увидал, как она с намерением пошла в кабинет Пети. Я вошел туда же, и она упала ко мне на грудь. "Милый, – шептала она,– милый, прощай! Ты ведь приедешь на Новый год?" Крепко поцеловал я ее, и мы расстались.

….

Домой я приехал полный радужных мечтаний. Но при этом в сердце всасывалось другое гадкое чувство, а именно ревность. "Она завтра поедет домой с Федоровым – да еще вдвоем только… Впрочем, ведь она меня любит, а все-таки я бы не хотел, чтобы она с кем-нибудь даже разговаривала… Да, глупость, глупость это", – разуверял я себя…

Наконец я лег спать, но долго не мог заснуть. В голове носились образы, звуки… пробовал стихи писать, – звуки путались, и ничего не выходило… передать все я не мог, сил не хватало, да и вообще всегда, когда

сердце переполнено, стихи наклеятся. Кажется, что написал бы бог знает что, а возьмешь перо – и становишься в тупик… Согласившись наконец с Лермонтовым, что всех чувств значенья "стихом размерным и словом ледяным не передашь", я погасил свечу и лег. Полная луна светила в окно, ночь была морозная, судя по узорам окна. Мягкий бледный свет луны заглядывал в окно и ложился бледной полосой на полу. Тишина была немая… Я все еще не спал… Порой на луну, должно быть, набегали облачка, и в комнате становилось темней. В памяти у меня пробегало прошлое. Почему-то мне вдруг вспомнилась давно, давно, когда я еще был лет пяти, ночь летняя, свежая и лунная… Я был тогда в саду… И снова все перемешалось… Я глядел в угол. Луна по-прежнему бросала свой мягкий свет… Вдруг все изменилось, я встал и огляделся: я лежу на траве в саду у нас в Озерках. Вечер. Пруд дымится… Солнце сквозит меж листвою последними лучами. Прохладно. Тихо. На деревне только где-то слышно плачет ребенок и далеко несется по заре, словно колокольчик, голос его. Вдруг из-за кустов идут мои прежние знакомые. Лиза остановилась, смотрит на меня и смеется, играя своим передничком. Варя, Дуня… Вдруг они нагнулись все и подняли… гроб. В руках очутились факелы. Я вскочил и бросился к дому. На балконе стоит Эмилия Вас., но только не такая, какая была у тетки, а божественная какая-то, обвитая тонким покрывалом, вся в розах, свежая, цветущая. Стоит и манит меня к себе. Я взбежал и упал к ней в объятья и жаркими поцелуями покрывал ее свежее личико… Но из-за кустов вышли опять с гробом Лиза, Дуня, Варя; она вскрикнула и прижалась ко мне… Вдруг все потемнело… Кругом поле насколько можно разглядеть, на руках у меня Мила…она шепчет и целует меня: "милый, милый"… Далеко где-то звенит колокольчик… и… я проснулся: в комнате так же темно, луна не светит. Эк! что мне снится, подумал я, постарался поскорей заснуть опять…

1886

27 января 1886 г.

Вечер. Сижу один в зало и хочу записать то, что за неимением… да нет, впрочем, даже по небрежности, не внес в свой журнальчик. Особенного ничего не случилось. Но все-таки надо припомнить. Как я провел остальное время Святок.

30-го декабря я встал уже с сладким мучением влюбленного и опять с ревностью в груди, но не только к Федорову, но и даже (глупо) ко всем. Когда нонче утром заговорили о ней, я не мог слышать, и, что всего удивительней, даже хотя говорили о ней что-то хорошее, и притом мать с Настей. Я уже не знаю отчего, только я ревную и не могу выносить. А тут еще поедет с Федоровым, и хотя я уверен, что она не изменит, но мне бы не хотелось, чтобы подобные Федоровы были близко около нее. Это малый, не кончивший курс учения, хромой и притом пошляк, это один из…

Продолжение дневника 27 января 1886 года.

Юлий живет в Озерках – под надзором полиции, обязан три года не выезжать никуда [2].

Зимой пишу стихи. В памяти морозные солнечные дни, лунные ночи, прогулки и разговоры с Юлием.

20 декабря 1886 года.

Вечер. На дворе не смолкая бушует страшная вьюга. Только сейчас выходил на крыльцо. Холодный резкий ветер бьет в лицо снегом. В непроглядной крутящейся мгле не видно даже строений. Едва-едва, как в тумане, заметен занесенный сад. Холод нестерпимый.

Лампа горит на столе слабым тихим светом. Ледяные белые узоры на окнах отливают разноцветными блестящими огоньками. Тихо. Только завывает метель да мурлыкает какую-то песенку Маша [3]. Прислушиваешься к этим напевам и невольно отдаешься во власть долгого зимнего вечера. Лень шевельнуться, лень мыслить.

А на дворе все так же бушует метель. Тихо и однообразно проходит время. по-прежнему лампа горит слабым светом. Если в комнате совершенно стихает, слышно, как горит и тихонько сипит керосин. Долог зимний вечер. Скучно. Всю ночь будет бушевать метель и к рассвету нанесет высокий снежный сугроб.

1888

Без даты

Поезд, метель, линия сугробов и щитов.

Без даты

Изба полна баб и овец – их стригут.

На веретье на полу лежит на боку со связанными тонкими ногами большая седая овца. Черноглазая баба стрижет ее левой рукой (левша) огромными ножницами, правой складывая возле себя клоки сальной шерсти, и без умолку говорит с другими бабами, тоже сидящими возле связанных лежащих бокастых овец и стригущими их.

1891

26 июля

Церковь Спаса-на-бору. Как хорошо: Спас на бору! Вот это и подобное русское меня волнует, восхищает древностью, моим кровным родством с ним.

1893

В июле (?) приехала в Огневку В. [4]. С ней к Воргунину. Осенью в Полтаве писал «Вести с родины» и «На чужой стороне» (?).

Конец декабря – с Волкенштейном в Москву к Толстому [5].

3 июня 1893 г. Огневка.

Приехал верхом с поля, весь пронизанный сыростью прекрасного вечера после дождя, свежестью зеленых мокрых ржей.

Дороги чернели грязью между ржами. Ржи уже высокие, выколосились. В колеях блестела вода. Впереди передо мной, на востоке, неподвижно стояла над горизонтом гряда румяных облаков. На западе – синие-синие тучи, горами. Солнце зашло в продольную тучку под ними – и золотые столпы уперлись в них, а края их зажглись ярким кованым золотом. На юге глубина неба безмятежно ясна. Жаворонки. И все так привольно, зелено кругом. Деревня Басово в хлебах.

1894

В начале января вернулся из Москвы в Полтаву. "Аркадий". От Николаева (?).

В апреле в "Русском богатстве" "Танька" (?).

Вечер 19 мая.

Павленки (на даче под Полтавой), дождь, закат (запись: "Пришел домой весь мокрый…").

15 авг.

Павленки, сидел в саду художника Мясоедова (запись: "Солнечный ветреный день…") В«аря» в Ельце. Осенью квартира на Монастырской.

20 окт. (с. стиля)

В 2 ч. 45 м. смерть Александра III в Ливадии.

Привезен в Птб. 1 ноября. Стоял в Петропавловском соборе до 7 ноября (до похорон).

4 ноября.

Бегство В«ари» [6].

Вскоре приехал Евгений [7]. С ним и с Юлием в Огневку, Елец, Поповская гостиница.

Я остался в Огневке. До каких пор?

Вечер 19 мая 94 г.

Павленки (предместье Полтавы).

Пришел домой весь мокрый, – попал под дождь, – с отяжелевшими от грязи сапогами. Прошел сперва с нашей дачи к пруду в земском саду, – там березы, ивы с опущенными длинными мокрыми зелеными ветвями. Потом пошел по дороге в Полтаву, глядя на закат справа. Он все разгорался – и вдруг строения города на горе впереди, корпус фабрики, дым трубы – все зажглось красной кровью, а тучи на западе – блеском и пурпуром.

15 авг. 94.

Павленки.

Солнечный ветреный день. Сидел в саду художника Мясоедова [8]

(наш сосед, пишет меня), в аллее тополей на скамейке. Безоблачное небо широко и свежо открыто. Иногда ветер упадал, свет и тени лежали спокойно, на поляне сильно пригревало, в шелковистой траве замирали на солнце белые бабочки, стрекозы с стеклянными крыльями плавали в воздухе, твердые темно-зеленые листья сверкали в чаще лаковым блеском. Потом начинался шелковистый шелест тополей, с другой стороны, по вершинам сада, приближался глухой шум, разрастался, все охватывал – и свет и тени бежали, сад весь волновался… И снова упадал ветер, замирал, и снова пригревало.

1895

В январе в первый раз приехал в Птб. Михайловский [9], С. Н. Кривенко [10], Жемчужников [11].

Потом? Москва, Бальмонт, Брюсов, Эртель, Чехов (оба в Большой Московской гостинице).

Март: Москва, номера в конце Тверского бульвара, с Юлием. Солнце, лужи.

В "Русской мысли" стихи "Сафо", "Вечерняя молитва".

"Старая, огромная, людная Москва", и т.д. Так встретила меня Москва когда-то впервые и осталась в моей памяти сложной, пестрой, громоздкой картиной – как нечто похожее на сновидение…

Это начало моей новой жизни было самой темной душевной порой, внутренне самым мертвым временем всей моей молодости, хотя внешне я жил тогда очень разнообразно, общительно, на людях, чтобы не оставаться наедине с самим собой.

Летом– Полтава (?). Поездка на отправку переселенцев с Зверевым. Написал «На край света» (когда?). Напечатали в «Новом слове» в октябре.

В декабре – Птб., вечер в Кредитном Обществе. Номера на Литейном (?). Привез «Байбаки».

Федоров [12], Будищев [13], Ладыженский [14], Михеев [15], Михайловский, Потапенко [16], Баранцевич [17], Гиппиус [18], Мережковский [19], Минский [20], Савина [21] (это на вечере в Кред. О-ве); Сологуб (утром у Федорова), Елпатьевский [22], Давыдова [23] («Мир божий» на Лиговке). Муся [24], Людмила (дочь Елпатьевского). Васильевский Остров. Попова, ее предложение издать «На край света».

1896

Из Птб. был в Ельце на балу в гимназии (?) – уже "знаменитостью".

Когда познакомился и сошелся с М. В.?

29 мая вечером с М. В. приехал в Кременчуг. Почти всю ночь не спали. На другой день уплыл в Екатеринослав (она – в Киев?).

31 мая из Екатеринослава через «Пороги» по Днепру.

1 июня – Александровск – и вечером оттуда в Бахчисарай.

Бахчисарай, Чуфут, монастырь под Бахчисараем.

Байдары, ночевка в Кикинеизе. Ялта, Аю-Даг. В Ялте Станюкович [25], Миров [26].

Днепровские Пороги (по которым я прошел на плоту с лоцманами летом 1896 года).

Екатеринослав. Потанинский сад, где провел с час, потом за город, где под Ек., на пологом берегу Днепра, Лоцманская Каменка. В верстах в 5 ниже – курганы: Близнецы, Сторожевой и Галаганка – этот насыпан, по преданию, разбойником Галаганом, убившим богатого пана, зарывшим его казну в землю и затем всю жизнь насыпавшим над ней курган. Дальше Хортица, а за Хортицей – Пороги: первый, самый опасный, – Неяситец (или Ненасытец); потом, тоже опасные: Дед и Волнич; за Волничем, в 4 верстах, последний опасный – Будило, за Будилом – Лишний; через 5 верст – Вильный; и наконец – Явленный.

С 15 на 16 сент. из Екатеринослава в Одессу. Лунная ночь, пустые степи.

Вечером 16 Одесса, на извозчике к Федорову в Люстдорф.

Ночью ходили к морю. Темно, ветер. Позднее луна, поле лунного света по морю – тусклое, свинцовое. Лампа на веранде, ветер шуршит засохшим виноградом. (Киппен?)

17 сент. Проводил Федорова в Одессу, ветер, солнце, тускло-блестящее море, берег точно в снегу.

21 сент. Тишина, солнечное утро, пожелтевший плющ на балконе,

море ярко-синее, все трепещет от солнца. Хрустальная вода у берега. Сбежал к морю, купался.

26 сент. Уехал на Николаев. Синее море резко отделяется от красных берегов.

Птб., Литейный, номера возле памятника Ольденбургского в снегу. Горничная.

1897

Январь.

Петербург, выход "На край света". Именины Михайловского, потом Мамина [27] (в Царском Селе).

Михеев в снегу на вокзале.

Встреча с Лопатиной в редакции "Нового слова" [28].

Из Птб. в Ельце на балу.

Огневка.

11 марта– «еду из Огневки в Полтаву…» (по записи).

30 апр. – из Полтавы в Шишаки (по записи).

24 мая – из Полтавы в Одессу к Федорову через Кременчуг-Николаев, оттуда по Бугу.

*11.III.1897.*Еду из Огневки в Полтаву. Второй класс, около одиннадцати утра, только что выехал с Бабарыкиной. Ослепительно светлый день, серебряные снега. Ясная даль, на горизонте перламутрово-лиловые, точно осенние облака. Кое-где чернеют лесочки. Грустно, люблю всех своих.

30 апреля 1897 г. Полтава. Из Полтавы на лошадях в Шишаки. Овчарни Кочубея.

Рожь качается, ястреба, зной. Яновщина, корчма. Шишаки. Яковенко не застал, поехал за ним к нему на хутор. Вечер, гроза. Его тетка, набеленная, нарумяненная, старая, хрипит и кокетничает. Докторша, "хочет невозможного". Миргород. Там ночевал.

24 мая 1897 г. Из Полтавы в Одессу к Федорову.

Кременчуг, мост, солнце низкое, желто-мутный Днепр. За Кременчугом среди пустых гор, покрытых только хлебами. Думал о Святополке Окаянном [29].

Ночью равнины, мокрые после дождя. Пшеницы, черная грязь дорог.

Николаев, Буг. Ветрено и прохладно. Низкие глиняные берега. Буг пустынен. Устье, синяя туча, громадой поднявшаяся над синей сталью

моря. Из-под боков парохода развалы воды, бегут сквозь решетку палубы. Впереди море, строй парусов.

29 мая. Люстдорф. Рассвет, прохладный ветер, волнуется сиреневое море. Блеск взошедшего солнца начался от берега.

Днем проводил Федорова в Одессу, сидел на скалах возле прибоя. Море кажется выше берега, на котором сидишь.

Шел берегом – в прибое лежала женщина.

Вечером ходил в степь, в хлеба. Оттуда смотрел на синюю пустыню моря.

1898

Начало зимы, зима – где? Ранней весной, кажется, в Москве, в «Столице». Лопатина.

Где весной?

Начало лета – Царицыно.

Прощание поздним вечером (часу в одиннадцатом, но еще светила заря, после дождя), прощание с Лопатиной в лесу. Слезы и надела на меня крест (иконку? и где я ее дел?).

В конце июня уехал в Люстдорф к Федорову. Куприн, Карташевы [30], потом Цакни [31], жившие на даче на 7-й станции. Внезапно сделал вечером предложение. Вид из окон их дачи (со 2-го этажа). Аня [32] играла «В убежище сюда…» [33]. Ночуя у них, спал на балконе (это уже, кажется, в начале сентября).

23 сентября – свадьба.

Жили на Херсонской улице, во дворе.

Вуаль, ее глаза за ней (черной). Пароходы в порту. Ланжерон.

Беба [34], собачка. Обеды, кефаль, белое вино. Мои чтения в Артистическом клубе, опера (итальянская).

"Пушкин", Балаклава. Не ценил ничего!

Ялта, гостиница возле мола. Ходили в Гурзуф. На скале в Гурзуфе вечером.

Возвращение, качка.

В декабре (или ноябре?) в Москву с Аней. Первое представление «Чайки» (17 дек.), мы были на нем. Потом Птб., номера на Невском (на углу Владимирской). Бальмонт во всей своей молодой наглости.

Первое изд. "Гайаваты".

Лохвицкая? [35]

"Без роду-племени" – где и когда писал? Кажется, в Одессе, после женитьбы. В "нивском" издании этот рассказ помечен 97-м годом.

Когда с Лопатиной по ночлежным домам?

16 ноября – юбилей Златовратского [36] в Колонной зале в «Эрмитаже» (в Москве).

1899

Весной ездил в Ялту (?). Чехов, Горький, Муся Давыдова и Лопатина.

Летом – в «Затишье», в имении Цакни. Разрыв. Уехал в Огневку. Вернулся осенью (кажется, через Николаев, в солнечное раннее утро). Род примирения. Солнечный день, мы с ней шли куда-то, она в сером платье. Ее бедро.

1900

Зимой репетиции у Цакни «Жизни за царя».

В январе ее беременность.

В начале марта полный разрыв, уехал в Москву.
Доктор Рот [37].

Весна в Огневке. «Листопад».

Лето в Ефремове? Письмо Горькому из Ефремова в конце августа.
В Москве осенью дал ему "Листопад" для "Новой жизни". Поссе [38]. Писал «Антоновские яблоки».
"В Овраге" Чехова в "Новой жизни".

В октябре я в Одессе. Отъезд с Куровским [39] за границу:
Лупов-тори – Берлин – Париж – Женевское озеро – Вена – Петербург.
Потом я в Москве. "Среда" художников.

В конце декабря я у Чеховой. Чехов за границей. Ночь у какой-то.

1901

В "нивском" изд. помечены этим годом: "Новый год", "Тишина", "Осенью", "Новая дорога", "Сосны", "Скит", "Туман", "Костер", "В августе". Когда писал "Перевал"?

В январе 1901 г. я все еще жил у Чеховой. Моя запись:
"Зима 1901 г., я у Чеховой… Су-Ук-Су…"

31 янв. в Москве первое представление «Трех сестер». Арсений (чеховский слуга) из Ялты Марье Павловне по телефону: «Успех агромадный».

Числа 15 февр. Чехов вернулся из-за границы. Я переехал в гостиницу «Ялта». Покойница.

Как-то в сумерки читал ему его "Гусева". Он сказал: "я хочу жениться".

Кульман [40], Елпатьевский, Массандра. Вера Ивановна. (В сентябре, в Ялте.)

Паша-гречанка. "Грузинская царевна" (уже забыл, как звали!). Бегство в Москву через Симферополь (до С. на ямщицкой тройке). В ноябре в Крыму Толстой.

Крым, зима 1901 г. На даче Чехова.

Чайки как картонные, как яичная скорлупа, как поплавки, возле клонящейся лодки. Пена как шампанское. Провалы в облаках – там какая-то дивная, неземная страна. Скалы известково-серые, как птичий помет. Бакланы. Су-Ук-Су. Кучукой. Шум внизу, солнечное поле в море, собака пустынно лает. Море серо-лиловое, зеркальное, очень высоко поднимающееся. Крупа, находят облака.

Красавица Березина! [41].

Весной 1901 г. мы с Куприным были в Ялте (Куприн жил возле Чехова в Аутке). Ходили в гости к начальнице женской ялтинской гимназии. Варваре Константиновне Харкеевич, восторженной даме, обожательнице писателей. На Пасхе мы пришли к ней и не застали дома. Пошли в столовую, к пасхальному столу, и, веселясь, стали пить и закусывать.

Куприн сказал: "Давай напишем и оставим ей на столе стихи". И стали, хохоча, сочинять, и я написал:

В столовой у Варв. Константинны
Накрыт был стол отменно-длинный,
Была тут ветчина, индейка, сыр, сардинки,
И вдруг ото всего ни крошки, ни соринки:
Все думали, что это крокодил,
А это Бунин в гости приходил.

1902

В январе репетиция "Мещан" Горького. 20 янв. Чехов пишет кому-то: "Умер Соловцов… Оч. болен Толстой… Я привез "Детей Ванюшина"… [42]

Я в Ялте?

31 янв. Чехов кому-то: «Осенью» Бунина написано несвободно…" [43].

Я в Птб.? Предложение Куприна Мусе Давыдовой?

Февраль. Чехов кому-то: «Горький в Крыму» (кажется, у Токмаковых, на даче «Нюра»). Я в Одессе. Приезд туда «молодых» Андреевых (в конце февраля).

24 марта, Чехов: «В Ялту приезжают Бунин и Нилус» [44]. С нами в Ялте был Телешов. Нилус писал портрет Чехова. Художник Ярцев [45], Варв. Конст. Харкеевич. Привезли больную Книппер.

Июль. Я под Одессой, на даче Гернета (есть запись).

Когда Вера Климович?

В сентябре: умер Зола; в Одессе чума. Очевидно, это тогда (в августе, вероятно) уплыл от чумы на пароходе из Одессы в Ялту.

Чехов, *26 сент.:* «Был Куприн, женатый на Давыдовой. Жена беременна».

20 дек., Чехов: «На дне» имело большой успех". Я был на первом представлении. Был весь конец осени в Москве? Макс Ли? «Белый Негр»?

Карзинкин издал мои "Новые стихотворения". 2 1/2 часа. Моя беленькая каморка в мазанке под дачей. В окошечко видно небо, море, порою веет прохладным ветром. Каменистый берег идет вниз прямо под окошечком, ветер качает на нем кустарник, море весь день шумит; непрестанно понижающийся и повышающийся шум и плеск. С юга идут и идут, качаются волны. Вода у берегов зеленая, дальше синевато-зеленая, еще дальше – лиловая синева. Далеко в море все пропадает и возникает пена, белеет, как чайки. А настоящие чайки опускаются у берега на виду и качаются, качаются, как поплавки. Иногда две-три вдруг затрепещут

острыми крыльями, с резким криком взлетят и опять опустятся.

1903

1 янв., Чехов: "Бунин и Найденов в Одессе [46]. Их там на руках носят". Мы с Н. Жили в «Крымск. гост.» – Федоров и Лиза Дитерихс.

1 февр., Чехов: «Андреева „В тумане“ хорошая вещь». Когда Андреев рассказывал мне тему этого рассказа?

16 февр., Чехов: «Бунин почему-то в Новочеркасске» [47]. Я был там у матери и Маши.

Март – я в Ялте.

14 марта, Чехов: «Тут М-me Голоушева» [48]. Я там с Федоровым и Куприным.

В начале апреля я с Федоровым уплыл в Одессу. Чехов: "Куприн тоже уехал – в Птб." (кажется, в Ялте был и Андреев).

Когда Елена Васильевна?

9 апреля я уплыл из Одессы в Константинополь.

Где я весной и летом? В Огневке? Летом, конечно, в Огневке, переводил "Манфреда".

Конец сентября – я в Москве: Чехов из Ялты сестре (или Книппер?): «Скажи Бунину…»

В октябре – я тоже в Москве: Чехов 28 октября: «Бунину и Бабурину привет». Бабурин – Найденов.

«…» Мы познакомились с ним вскоре после того, как на него свалилась слава, – именно свалилась, – быстро стали приятелями, часто виделись, часто вместе ездили – то в Петербург, то на юг, то за границу… В нем была смесь чрезвычайной скрытности и чисто детской наивности. «…»

Любочка?

Декабрь – я в Москве, последние встречи с Чеховым. Репетиции «Вишневого сада». Макс Ли. (В номерах Гунста первая ночь – в это время

или раньше?) Тут, кажется, «Чернозем».

24 дек. мы с Найденовым уехали в Ниццу. Макс с нами – до Варшавы. Мы в Вену, она в Берлин.

1905

"Ксения", *18 октября 1905 года.*

Жил в Ялте, в Аутке, в чеховском опустевшем доме, теперь всегда тихом и грустном, гостил у Марьи Павловны. Дни все время стояли серенькие, осенние, жизнь наша с М. П. и мамашей (Евгенией Яковлевной) текла так ровно, однообразно, что это много способствовало тому неожиданному резкому впечатлению, которое поразило нас всех вчера перед вечером, вдруг зазвонил из кабинета Антона Павловича телефон, и, когда я вошел туда и взял трубку, Софья Павловна [[49]] стала кричать мне в нее, что в России революция, всеобщая забастовка, остановились железные дороги, не действует телеграф и почта, государь уже в Германии – Вильгельм прислал за ним броненосец. Тотчас пошел в город – какие-то жуткие сумерки, и везде волнения, кучки народа, быстрые и таинственные разговоры – все говорят почти то же самое, что Софья Павловна. Вчера стало известно, уже точно, что действительно в России всеобщая забастовка, поезда не ходят… Не получили ни газет, ни писем, почта и телеграф закрыты. Меня охватил просто ужас застрять в Ялте, быть ото всего отрезанным. Ходил на пристань – слава богу, завтра идет пароход в Одессу, решил ехать туда.

Нынче от волнения проснулся в пять часов, в восемь уехал на пристань. Идет "Ксения". На душе тяжесть, тревога. Погода серая, неприятная. Возле Ай-Тодора выглянуло солнце, озарило всю гряду гор от Ай-Петри до Байдарских Ворот. Цвет изумительный, серый с розово-сизым оттенком. После завтрака задремал, на душе стало легче и веселее. В Севастополе сейчас сбежал с парохода и побежал в город. Купил "Крымский вестник", с жадностью стал просматривать возле памятника Нахимову. И вдруг слышу голос стоящего рядом со мной бородатого жандарма, который говорит кому-то в штатском, что выпущен манифест свободы слова, союзов и вообще всех "свобод". Взволновался до дрожи рук, пошел повсюду искать телеграммы, нигде не нашел и поехал в "Крымский вестник". Возле редакции несколько человек чего-то ждут. В кабинете редактора (Шапиро) прочел наконец манифест! Какой-то жуткий восторг, чувство великого события.

Сейчас ночью (в пути в Одессу) долгий разговор с вахтенным на носу. Совсем интеллигентный человек, только с сильным малороссийским акцентом. Настроен крайне революционно, речь все время тихая, твердая,

угрожающая. Говорит не оборачиваясь, глядя в темную равнину бегущего навстречу моря.

Одесса, 19 октября.

Возле Тарханкута, как всегда, стало покачивать. Разделся и лег, волны уже дерут по стене, опускаются все ниже. Качка мне всегда приятна, тут было особенно – как-то это сливалось с моей внутренней взволнованностью. Почти не спал, все возбужденно думал, в шестом часу отдернул занавеску на иллюминаторе: неприязненно светает, под иллюминатором горами ходит зеленая холодная вода, из-за этих гор – рубин маяка Большого Фонтана. Краски серо-фиолетовые; рассвет, и эти зеленые горы воды, и рубин маяка. Качает так, что порой совсем кладет.

Пристали около восьми, утро сырое, дождливое, с противным ветром. В тесноте, в толпе, в ожидании сходен, узнаю от носильщиков, кавказца и хохла, что на Дальницкой убили несколько человек евреев, – убили будто бы переодетые полицейские, за то, что евреи будто бы топтали царский портрет. Очень скверное чувство, но не придал особого значения этому слуху, может и ложному. Приехал в Петербургскую гостиницу, увидал во дворе солдат. Спросил швейцара: "Почему солдаты?" Он только смутно усмехнулся. Поспешно напился кофию и вышел. Небольшой дождь, сквозь туман сияние солнца – и все везде пусто: лавки заперты, нет извозчиков. Прошел, ища телеграммы, по Дерибасовской. Нашел только "Ведомости градоначальства". Воззвание градоначальника, – призывает к спокойствию. Там и сям толпится народ. Очень волнуясь, пошел в редакцию "Южного обозрения". Тесное помещение редакции набито евреями с грустными серьезными лицами. К стене прислонен большой венок с красными лентами, на которых надпись: "Павшим за свободу". Зак, Ланде (Изгоев). Он говорит: "Последние дни наши пришли". – "Почему?" – "Подымается из порта патриотическая манифестация. Вы на похороны пойдете?" – "Да ведь могут голову проломить?" – "Могут. Понесут по Преображенской".

Пока пошел к Нилусу. Вдоль решетки городского сада висят черные флаги. С Нилусом пошел к Куровским. Куровский (который служит в городской управе) говорит, что было собрание гласных думы вместе с публикой и единогласно решили поднять на думе красный флаг. Флаг подняли, затем потребовали похоронить "павших за свободу" на Соборной площади, на что дума опять согласилась.

Когда вышел с Куровским и Нилусом, нас тотчас встретил один знакомый, который предупредил, что в конце Преображенской национальная манифестация уже идет и босяки, приставшие к ней, бьют

кого попало. В самом деле, навстречу в панике бежит народ.

В три часа после завтрака у Буковецкого [50] узнали, что грабят Новый базар. Уже образована милиция, всюду санитары, пальба… Как в осаде, просидели до вечера у Буковецкого. Пальба шла до ночи и всю ночь. Всюду грабят еврейские магазины и дома, евреи будто бы стреляют из окон, а солдаты залпами стреляют в их окна. Перед вечером мимо нас бежали по улице какие-то люди, за ними бежали и стреляли в них «милиционеры». Некоторые вели арестованных. На извозчике везли раненых. Особенно страшен был сидевший на дне пролетки, завалившийся боком на сиденье, голый студент – оборванный совсем догола, в студенческой фуражке, набекрень надетой на замотанную окровавленными тряпками голову.

20 октября.

Ушел от Буковецкого рано утром. Сыро, туманно. Идут кухарки, несут провизию, говорят, что теперь все везде спокойно. Но к полудню, когда мы с Куровским хотели пойти в город, улицы опять опустели. С моря повсюду плывет густой туман. Возле дома Городского музея, где живет Куровский, – он хранитель этого музея, – в конце Софийской улицы поставили пулемет и весь день стучали из него вниз по скату, то отрывисто, то без перерыва. Страшно было выходить. Вечером ружейная пальба и стучащая работа пулеметов усилилась так, что казалось, что в городе настоящая битва. К ночи наступила гробовая тишина, пустота. Дом музея – большой, трехэтажный – стоит на обрыве над портом. Мы поднимались днем на чердак и видели оттуда, как громили в порту какой-то дом. Вечером нам пришло в голову, что, может быть, придется спасаться, и мы ходили в огромное подземелье, которое находится под музеем. Потом опять ходили на чердак, смотрели в слуховое окно, слушали: туман, влажные силуэты темных крыш, влажный ветер с моря и где-то вдали, то в одной, то в другой стороне, то поднимающаяся, то затихающая пальба.

21 октября.

Отвратительный номер "Ведомостей одесского градоначальства". В городе пусто, только санитары и извозчики с ранеными. Везде висят национальные флаги.

В сумерки глядели из окон на зарево – в городе начальство приказало зажечь иллюминацию. Зарево и выстрелы.

22 октября.

От Буковецкого поехал утром в Петербургскую гостиницу. Извозчик

говорил, что на Молдаванке евреев "аж на куски режут". Качал головой, жалел, что режут многих безвинно-напрасно, негодовал на казаков, матерно ругался. Так все эти дни: все время у народа негодование на "зверей казаков" и злоба на евреев.

Солнце, влажно пахнет морем и каменным углем, прохладно.

В полдень пошел к Куровскому – город ожил, принял совсем обычный вид: идут конки, едут извозчики…

Часа в три забежала к кухарке Куровских какая-то знакомая ей баба, запыхаясь, сообщила, что видела собственными глазами – идут на Одессу парубки и дядьки с дрючками, с косами; будто бы приходили к ним нынче утром, – ходили по деревням и по Молдаванке, – "политики" и сзывали делать революцию. Идут будто и с хуторов, все с той же целью – громить город, но не евреев только, а всех.

Куровский говорит, что видел, как ехал по Преображенской целый фургон солдат с ружьями, – возле гостиницы "Империаль" они увидали кого-то в окне, остановили фургон и дали залп по всему фасаду.

– Я спросил: по ком это вы? – "На всякий случай". Говорят, что нынче будет какая-то особенная служба в церквах – "о смягчении сердец".

Был художник Заузе и скульптор Эдвардс. Говорили:

– Да, с хуторов идут…

– На Молдаванке прошлой ночью били евреев нещадно, зверски…

По Троицкой только что прошла толпа с портретом царя и национальными флагами. Остановились на углу, "ура", затем стали громить магазины. Вскоре приехали казаки – и проехали мимо, с улыбками. Потом прошел отряд солдат – и тоже мимо, улыбаясь.

"Южное обозрение" разнесено вдребезги, – оттуда стреляли…

Заузе рассказывал: ехал вчера на конке по Ришельевской. Навстречу толпа громил, кричат: "Встать, ура государю императору!" И все в конке подымаются и отвечают:

"Ура!" – сзади спокойно идет взвод солдат.

Много убито милиционеров. Санитары стреляют в казаков, и казаки убивают их.

Куровский говорит, что восемнадцатого полиция была снята во всем городе "по требованию населения", то есть думой по требованию ворвавшейся в управу тысячной толпы.

В городе говорят, что на слободке Романовке "почти не осталось жидов!".

Эдвардс говорил, что убито тысяч десять.

Поезда все еще не ходят. Уеду с первым отходящим.

Сумерки. Была сестра милосердия, рассказывала, что на слободке Романовке детей убивали головами об стену; солдаты и казаки бездействовали, только изредка стреляли в воздух. В городе говорят, что градоначальник запретил принимать депешу в Петербург о том, что происходит. Это подтверждает и Андреевский (городской голова).

Уточкин [51], – знаменитый спортсмен, – при смерти; увидал на Николаевском бульваре, как босяки били какого-то старика-еврея, кинулся вырывать его у них из рук… «Вдруг точно ветерком пахнуло в живот». Это его собственное выражение. Подкололи его «под самое сердце».

Вечер. Кухарка Куровских ахает, жалеет евреев, говорит: "Теперь уже все их жалеют. Я сама видела – привезли их целые две платформы, положили в степу – от несчастные, господи! Трусятся, позамерзли. Их сами козаки провожали, везли у приют, кормили хлебом, очень жалели…"

Русь, Русь!

1906

14 мая 1906 года. Глотово (Васильевское). Начинается пора прелестных облаков. Вечера с теплым ветром, который еще веет как бы несколько погребной сыростью недавно вышедшей Из-под снега земли, прелого жнивья. На востоке, за Островом, смутные, сливающиеся с несколько сумрачным небом облачные розоватые горы. Темнеет – в Острове кукушка, за Островом зарницы. И опять, опять такая несказанно-сладкая грусть от этого вечного обмана еще одной весны, надежд и любви ко всему миру (и к себе самому), что хочется со слезами благодарности поцеловать землю. Господи, Господи, за что Ты так мучишь нас!

Из окна кухни блестели куриные кишки – петух сорвался с места и, угнув голову, быстро, мелко, деловито подбежал, сердито рвет, клюет, отматывает кишку от кишки. Отбежал – и опять набежал, роет.

16 июня 1906 г. Ефремов.

Переезд с подворья Моргунова в дом Проселкова, который мы сняли весь за 18 рублей в месяц. От Моргунова впечатление гнусное. Двор в глубоком сухом навозе. Мрачная опухшая старуха, мать хозяина, в валенках… Такие горластые петухи, каких, кажется, нет нигде, кроме постоялых дворов.

Вечером в городском саду. Есть кавалеры и девицы с подвязанными гусками – зубы болят. Некоторые из девиц перед отправлением в сад моют полы, корову доят, а в саду для них гремит кекуок.

1907

До середины января я в Васильевском. Потом в Москве.

Вечер в Воронеже?

Сборники "Новое слово", Крашенинникова. Я их редактор. В феврале был в Птб. Зачем? Потом Москва. Вечер в Консерватории, читал "Джордано Бруно" и другое. Приезд Федорова. "Стена" Найденова (?).

Во второй половине февраля уехал в Васильевское.

В марте возвратился и ездил в Птб. Зачем?

10 апр. отъезд с Верой в Палестину [52].

Возвратились в конце мая.

23 апреля 1907 г.

На пути из Хеврона, в темноте, вдали огни Иерусалима. Часовня Рахили при дороге. Внутри висят фонарь, лампа и люстра с лампадками. Но горит, трещит только одна из них. Старик Шор зашел за большую гробницу, беленную мелом, прислонился к стене и начал, качаясь, молиться.

Наш извозчик еврей из Америки. Когда вышли, услыхали крик в темноте возле нашей повозки: он чуть не подрался с каким-то проезжим, дико ругался, не обращал ни малейшего внимания на гробницу своей праматери.

6 мая 1907 г.

В час дня от ст. Raijak. Подъем. Среди голых гор дико-кирпичного цвета. Вдоль пути шум потока, деревья в зелени. Идет дождь. Все время теснина. Высоко на горах точно развалины крепостей.

1 ч. 45 м., ст. Serehaya. Зеленая покатая круглая равнина. Деревья, посевы, деревни с плоскими глиняными крышками. Кругом горы. Сзади огромная голая гора на фоне дождевой тучи и далекая лиловая гора. Возле станции, налево, тоже горы, дико-фиолетовые, в пятнах снега. Прохладно, скоро перевал.

По долине в зеленых посевах. Справа глиняные холмы. Слева скалистые горы. Впереди – исполинский величавый кряж – серебро с

чернью. Перевалы пошли вниз…

Спуск. Земля кирпично-глинистая. В посевах – женщины в чем-то цвета мака.

Ст. Zebdani, вся в садах. Женщины в шароварах, в синих юбках и туфлях, на головы накинуты куски темно-лиловой материи.

3 ч. 15 м. Ст. Aiu Fijeh. Поразительная гора над нею. Сады. Перед станцией большие горы, каменно-серо-красноватые.

Тронулись. Теперь кругом горы даже страшные. Шумит зелено-мутная река. Мы едем – и она быстро бежит за нами.

Пошли сады, говорят – сейчас Дамаск.

4 ч. Дамаск.

Огромная долина среди гор, море садов, и в них – весь желто – «неразборчиво» город, бедный, пыльный, перерезанный серой, быстро бегущей мутно-зеленоватой Барадой, скрывающейся возле вокзала под землю. Остановились в Hotel Orient. После чая на извозчике за город. Удивительный вид на Дамаск. Я довольно высоко поднимался на один из холмов, видел низкое солнце и Гермон, а на юге, по пути к Ерусалиму, три сопки (две рядом, третья – дальше) синих, синих. Возвращались вдоль реки – ее шум, свежесть, сады.

7 мая, 9 ч. утра.

На минарете. Вся грандиозная долина и желто-кремовый город под нами. Вдали Гермон в снегу (на юго-западе). И опять стрижи – кружат, сверлят воздух. Город даже как бы светит этой мягкой глинистой желтизной, весь в плоских крышах, почти весь слитный. Безобразные длинные серые крыши галерей базара.

Потом ходили по этому базару. Дивный фон. Встретили похороны. Шор записал мотив погребальной песни, с которой шли за гробом.

Магазин Nassan'a.

В 3 часа поехали за город. Пустыни, глиняное кладбище. Большая мечеть – смесь прекрасного и безобразного, нового. Лучше всего, как всюду, дворы мечети. Зашли в гости к гиду.

Вечером на крыше отеля. Фиолетовое на Гермоне. Синева неба на востоке, мягкая, нежная. Лунная ночь там же. Полумесяц над самой головой.

8 мая.

Проснулся в 5. Выехали в 6.

Путь поразительно скучный – голые горы и бесконечная глинистая

долина, камень на камне. Ни кустика, ни травки, ни единого признака жизни.

9 ч. 30. Пустыня, усеянная темно-серыми камнями. Вдали фигура араба в черной накидке.

10 ч. Строящаяся станция. Пока это только несколько белых шатров. Очень дико. Три солдата-араба в синем, два бедуина, зверски черных, в полосатых (белое и коричневое) накидках, в синих бешметах, в белых покрывалах, на голове схваченных черными жгутами, босые. Потом опять глинистая пашня, усыпанная камнями. Порой тощий посев. Пашут на волах. И все время вдали серебро с чернью – цепь гор в снегу с Гермоном над ними. Нигде ни капли воды.

2 часа. Туннель. Потом все время спуск в ущелье, среди серо-желто-зеленоватых гор и меловых обрывов, вдоль какой-то вьющейся речки, по берегам которой розовые цветы дикого олеандра (дафля по-арабски) и еще какие-то дикие, голубые. Поезд несется шибко. Жарко, весело, речка то и дело загорается серебром.

6 часов. Самак. Пустынно, дико, голо, просто.

Нашли лодку с 4 гребцами (за 10 фр.). Пройдя по совершенно дикарской и кажущейся необитаемой глиняной деревушке, вышли к озеру. Скромный, маленький исток Иордана. Озеро бутылочного цвета, кругом меланхолические, коричневые в желтых пятнах горы. Шли сперва на веслах, потом подняли парус. Стало страшно – ветер в сумерках стал так силен, что каждую минуту нас могло перевернуть.

В Тивериаде отель Гросмана, оказалось, весь занят. Пошли ночевать в латинский монастырь. После ужина – на террасе. Лунно, полумесяц над головой, внизу в тончайшей дымке озеро. Ночью в келье-номере было жарко. Где-то кричал козленок.

9 мая.

Утром на лодке в Капернаум. Когда подходили к нему (в десятом часу), стало штилеть, желто-серо-зеленые прибрежные холмы начали отражаться в зеркалах под ними зеленоватым золотом. Вода под лодкой зеленая, в ней от весел извиваются зеленые толстые змеи с серебряными поблескивающими брюхами.

Капернаум. Жарко, сухо, очаровательно. У берега олеандры. Развалины синагоги. Раскопки. Монах-итальянец.

Из Капернаума в Табху, на лодке же. Из гребцов один молодой красавец, другой похож на Петра Ал. в валяной ермолке. Тишина, солнце, пустынно. Холмы между Капернаумом и Табхой сожженные, желтоватые,

Кое-где уже созревший ячмень. Возле Табхи что-то вроде водяной мельницы, домишко в ячмене, на самом берегу эвкалипты и два кипариса, молодых, совсем черных. Озеро млеет, тонет в сияющем свете.

В странноприимном немецком доме. Полный штиль. У берегов на востоке четкая, смело и изящно – сильно пущенная полоса, ярко-зеленая, сквозящая. Ближе – водные зеркала, от отраженных гор фиолетово-коричневые. Несказанная красота!

Завтрак, сон.

Три часа, сильный теплый западный ветер, зеленое озеро, мягко клонятся в саду мимозы в цвету, пальмочка.

На террасу вышел работник в черной накидке на голове и черных жгутах по ней (на макушке), в одной синей рубахе, которую завернул ветер на голых ногах почти до пояса.

Сейчас около шести вечера, сидим на крыше. Ветер стал прохладней, ласковей. Воркуют голуби. Все кругом пустынно, задумчиво, озеро бутылочное, в ряби, которую, сгущая, натемняя, ветер гонит к холмам восточного прибрежья, из-за которых встало круглыми купами и отсвечивает в озере кремовое облако. Там, с тех холмов, сверг Христос в озеро стадо бесноватых свиней [53]. Возле нас на жестких буграх пасутся козы, какой-то табор, совсем дикий, проехал на великолепной белой кобылице бедуин.

10 мая.

Утром в шесть часов купался. Бродяга с обезьяной. Приехал Шор. В девять выехали из Тапхи. Издали видел Магдалу. Дорога из Магдалы в Тивериаду идет вдоль берега. По ней часто ходил Христос в Назарет. Черные козы.

В Тивериаде очень жарко.

После завтрака выехали в Назарет. Гер Антон, милый Ибрагим. Подъем, с которого видно все озеро и Тивериада. На востоке синева туч слилась с синевой гор, и в ней едва видными серебряными ручьями означается Гермон. Перевал и снова подъем. Фавор слева, круглый, весь покрытый лесом. Длинная долина, посевы.

Кана. Кактусы, гранаты в цвету, фиговые деревья, женщины в кубовых платьях. Кана в котловине и вся в садах.

Подъем, снова долина, снова подъем, огромный вид на долину назад. Потом котловина Назарета. Отель "Германия". Мальчик-проводник в колпачке на макушке. Церковь и дом Богородицы. Потом лунная ночь.

11 мая.

Утром из Назарета. Необъятная долина и горы Самарии. Потом подъем, ехали дубовым лесом. Снова долина, и вдалеке уже полоса моря.

Удивительный цвет залива в Кайфе сквозь пальмы. В четыре на Кармель. Вид с крыши монастыря Ильи, виден Гермон. Лунный вечер, – это уже возвратясь в Кайфу, – ходил за вином.

12 мая.

Рано утром на пароходе. Жарко, тяжелое солнце. До Порт-Саида сто франков. В три часа снова Яффа. Опять Хаим и кривой. Закат во время обеда.

13 мая. Порт-Саид.

Купил костюм. В час из Порт-Саида, в экспрессе на Александрию. Озеро Мензалех. Вдали все розовое, плоский розовый мираж. В шестом часу Каир – пыльно-песчаный, каменистый, у подножия пустынного кряжа Мокатама.

Вечером на мосту. Сухой огненный закат, пальма, на мосту огни зеленоватые, по мосту течет река экипажей.

Ночью почти не спал. Жажда, жара, москиты. В час ночи ходил пить в бар. Проснулся в пять. К пирамидам. Туман над Нилом. Аллея к пирамидам – они вдали, как риги, цвета старой соломы. Блохи в могильниках за пирамидами. На возвратном пути Зоологический.

Вечером в цитадели. Новая, но прелестная мечеть. Вид на Каир, мутный и пыльный, ничтожный закат за великой Пирамидой.

15 мая.

Выехали в семь с половиной часов утра. Равнина. Рамле. Александрия. "Император Николай Второй". Все загружено русскими богомольцами из Палестины. Та же каюта.

16 мая, утром, в Средиземном море.

Опять эта поразительная сине-лиловая, густая, как масло, вода, страшно яркая у бортов.

Вчера вечером страшная резня кинжалами на палубе (самаркандские евреи).

Четыре часа. Слева волнистые линии Крита, в дымке. У подножия – светлый туман.

1908

24 апр. Так холодно, что полушубок.

29 апр. Холод, весь день дождь. Но все зелено и соловьи.

15 мая. Белые облака яблочного цвета с розовым оттенком на фоне нежной зелени. Во всех комнатах запах ландышей.

1909

26 мая 1909 г.

Перед вечером пошли гулять. Евгений, Петя и дьяконов сын пошли через Казаковку ловить перепелов, мы с Колей [54] в Колонтаевку. Лежали в сухом ельнике, где сильно пахло жасмином, потом прошли луг и речку, лежали на Казаковском бугре. Теплая, слегка душная заря, бледно-аспидная тучка на западе, в Колонтаевке цоканье соловьев. Говорили о том, как бедно было наше детство – ни музыки, ни знакомых, ни путешествий… Соединились с ловцами. Петя и дьяконов сын ушли дальше, Евгений остался с нами и чудесно рассказывал о Доньке Симановой и о ее муже. Худой, сильный, как обезьяна, жестокий, спокойный. «Вы что говорите?» И кнутом так перевьет, что она вся винтом изовьется. Спит на спине, лицо важное и мрачное, «кляп на животе, как двустволка». Потом перешли к мужицкой нищете, грязи, к мужицкому бессмысленному и грубому разврату с женами, следствие которого невероятное количество детей. «Конечно, каждую ночь. А то как же? Потушат огонь, сейчас за подол и пошел чесать…» Да, я пишу только сотую долю того, что следовало бы написать, но чего не вытерпит ни одна бумага в мире. Еще Евгений рассказывал, как какой-то новосельский мужик привязывал свою жену, всю голую, за косу к перемету и драл ее вожжами до потери сознания.

11 июня 1909 г., возвратясь из Скородного.

Утро, тишина, мокрая трава, тень, блеск, птицы и цветы. Преобладающий тон белый. Среди него лиловое (медвежьи ушки), красное (кашка, гвоздика, иначе Богородицына трава), желтое (нечто вроде желтых маргариток), мышиный розовый горошек… А в поле, на косогоре, рожь ходит зыбью, как какой-то великолепный сизый мех, и дымится, дымится цветом.

21 июня 1909 г.

Полмесяца грозы и холодные ливни, вчера и нынче первые хорошие дни.

Поразительная лунная ночь, светлый дым, туман в саду и на огороде, все мокро, коростель; под Колонтаевкой, на лугу – густой белый слой тумана. Двенадцатый час, на северо-востоке уже затеплилась розоватая Капелла, играет зеленым и красным. Петухи.

У лавочника Сафонова на ковре над постелью был изображен тигр, тело в профиль, морда en face – и подпись: Ягуар, краса лесов, Чует близость стаи псов.

Плотники часто пакостят при постройке домов: разозлятся на хозяина и вобьют, например, гвоздь от гроба под лавкой в переднем углу, а хозяину после того все покойники будут мерещиться.

1911

14 мая, село Васильевское-Глотово.

Приехали одиннадцатого.

Нынче прохладно. Еще по-ранневесеннему кричат грачи в глотовском саду на старых голых березах. Наш сад одевается. Зелень свежая, густая, мягкая даже на вид. На яблонях еще видны ветви, – не совсем еще опушились зеленью, особенно мягкой и сероватой (по сравнению с более зеленой и гораздо более яркой на кленах). Кисти сирени уже серо лиловеют. Густая трава усыпана голубенькими цветочками.

Весь день трезвонят на колокольне – лавочник Ив. Лаврентич нанял мальчишек и велел звонить с утра до вечера, чтобы прошел слух, что он, новый староста, чтит царские дни. Безобразит церковь, – обивает стены железом дикого цвета. «…»

Как дьявольски густы у некоторых мужиков бороды исподнизу! Что-то зоологическое, древних времен.

Царствие божье, радость внутри нас самих. Для радости порою надо удивительно мало. Бывало, в гимназии, зацепится у учителя панталона за заднее ушко штиблета, – какой смех!

20 мая 1911 г.

Молились о дожде мужики, потом Бахтеяров, было отдание Пасхи, Вознесение – по целым дням трезвон на колокольне. Так и свяжется в воспоминании эта весна с этим трезвоном. И станет все милым, грустным, далеким, невозвратным.

Был довольно молодой мужик из Домовин. Говорит, был 14 лет в Киеве, в Лавре, и хвастается: "выгнали за девочек, игумен поймал за работой… Я провиненный монах, значит". Почему хвастается? Думаю, что отчасти чтобы нам угодить, уверен, что это должно нам очень нравиться. Вообще усвоил себе (кому-то на потеху или еще почему-то?) манеру самой циинической откровенности. "Что ж, значит, ты теперь так и ходишь, не работаешь?" – "Черт меня теперь заставит работать!" В подряснике, в разбитых рыжих сапогах, женский вид, с длинными жидкими волосами, – и моложавость от бритого подбородка (одни русые усы). Узкоплеч и что-то в груди – не то чахоточный, не то слегка горбатый. "Нет ли, господа, старенькой рубашечки, брючишек каких-нибудь?" Я подарил ему синюю косоворотку. Преувеличенный восторг. "Ну, я теперь надолго житель!"

Ездили недавно в Скородное. Как чудесно! Был жаркий день, и какая свежесть и густота трав и зелени деревьев, какая прелесть полураспустившихся дубков! Великое множество мелких желтеньких цветов, – целые поляны ярко-желтые, – и желтых лилий, а больше всего все искраплено какими-то голубенькими, вроде незабудок. И уже много лиловых медвежьих ушек на их высоких стеблях.

Как-то вечером гуляли в Острове. Левитановские мягко-лиловые тучки, нежно-алые краски на закатном небе. И прелесть соединения свежести, сочности молодой зелени с запахом прошлогодней листвы. Необыкновенно тонкое время.

Вчера холод, осенние тучи. Ночь ледяная, с золотой крупной Венерой над закатом, с молодым месяцем.

Нынче ясно, весело, но ветрено и холодно.

Карпушка говорит вместо фокстерьер – фокстерьерц. Конечно, это гораздо более по-русски.

28 мая 1911 г.

Все последние дни лил дождь, холод ужасный.

Сейчас пять часов, резко потеплело. Заходила огромная лилово-синяя туча с юга, гремел гром. Против солнца она стала металлической, зелень сада на ее фоне необыкновенна. Мы с Колей смотрели к югу от людской. Глотовский сад, бахтеяровский, зеленая долина под Колонтаевкой – все образовывало чудеснейший пейзаж, теплый, весенний. Зелень кленов яркая, лозин и берез – нежная, бледная; на зеленях возле Колонтаевки – чуть синеватый налет. Прелестная серебристость старых тополей в лугу под глотовской усадьбой.

– Карпушка, а ты знаешь, что такое пейзаж?

Молчит.

– Ну что ж ты молчишь? Немой, что ли? Что такое пейзаж?

– А я знаю?

– Ну, все-таки? Помолчав:

– Лапша.

– Ты очумел!

– Ну матерком что-нибудь…

Стряпуха, его мать, ходила возле ограды, собирала в фартук желто-пуховых кривоногих утят, боясь нового дождя.

В церковной караулке часы часто останавливаются: мухи набиваются. Сторож бьет по ночам иногда черт знает что, – например, одиннадцать вместо двух.

5 июня 1911 г.

Настасья Петровна привезла в подарок Софье Петровне Ромашковой огромный белый платок, весь в черных изображениях черепов и костей, с черными надписями: "Святый Боже, Святый Крепкий".

Старуха Луковка; специальность обмывать покойников, быть при похоронах, и это уже давно, чуть не с молодости. "Сюжет для небольшого рассказа". На варке у нее одна овца. Хороша жизнь и овцы этой!

Мужик с култышкой (уродливый большой палец) и узким когтем вместо ногтя.

Ярыга, циник печник.

Дворянская близость с дворовыми и усвоенная, конечно, от них, дворовых, манера потешаться над собой, забавлять собой.

7 июня.

Приехал Юлий.

Первый хороший день, а то все лютые холода и проливные дожди.

8 июня.

Юлий привез новость – умер ефремовский дурачок Васька. Похороны устроили ему ефремовские купцы прямо великолепные. Всю жизнь над ним потешались, заставляли дрочить и покатывались со смеху, глядели, как он "старается", – а похоронили так, что весь город дивился: великолепный гроб, певчие… Тоже "сюжет".

Монахиня, толстая старуха, белое лицо обрезано черным клобуком; в очках, в новых калошах.

20 июня.

Третий день хорошая погода.

Вчера ездили кататься на Знаменское. Лощинки, бугор, на бугре срубленный лес, запах костра. Два-три уцелевших дерева, тонких, высоких; за листвой одного из них зеркальная луна бобом (половинкой боба). Ехали назад мимо знаменского кладбища – там старики Рышковы и уже Валентин с ними. А на кладбище возле Знаменской церкви – наши: дед, бабка, дядя Иван Александрович, на которого я, по словам матери, будто бы разительно похож.

Нынче опять катались, на Жадовку. Долгий разговор с Натахой о крепостной, старинной жизни. Восхищается.

3 июля.

Изумительно – за все время, кажется, всего два-три дня хороших. Все дождь и дождь.

Ездили с Юлием и Колей в Слободу.

Нынче опять был дождь, хотя клонит, видимо, на погоду. Сейчас 6 часов, светло и ветрено, по столу скользят свет и тени от палисадника. Речка в лугу как огромное ослепительное, золотое зеркало. Только что вернулись от Таганка, стовосьмилетнего старика. Весь его "корень" – богачи, но грязь, гнусность, нищета кирпичных изб и вообще всего их быта ужасающие. Возвращаясь, заглянули в избу Донькиной старухи – настоящий ужас! И чего тут выдумывать рассказы – достаточно написать хоть одну нашу прогулку.

Мужики "барские" называют себя, в противовес однодворцам, "русскими". Это замечательно.

Таганок милый, трогательный, детски простой [55]. За избой, перед коноплями, его блиндаж; там сани, на которых он спит, над изголовьем шкатулочка, где его старый картуз, кисет. Когда пришел, с трудом стащил перед нами шапку с голой головы. Легкая белая борода. Трогательно худ, опущенные плечи. Глаза без выражения, один, левый, слегка разодран. Темный цвет лица и рук. В лаптях. Ничего общего не может рассказать, только мелкие подробности. Живет в каком-то другом, не нашем мире. О французах слабо помнит – «так, – как зук находит». Ему не дают есть, не дают чаю, – «ничтожности жалеют», как сказал Григорий.

Говорит с паузами, отвечает не сразу.

– Что ж, хочется еще пожить?

– А бог е знает… Что ж делать-то? Насильно не умрешь.

– Ну, а если бы тебе предложили прожить еще год или, скажем, пять лет? Что бы ты выбрал?

– Что ж мне, ее приглашать, смерть-то? (И засмеялся, и глаза осмыслились.) Она меня не угрызет. Пускай кого помоложе, а меня она не угрызет – вот и не идет.

– Так как же? Пять лет или год?

Думает. Потом нерешительно:

– Через пять-то годов вошь съест…

15 июля.

Уже дней десять – и без перерыва – дождь.

Я уже с неделю болен – насморк, бронхит. Вообще, когда же это кончится, мое самоубийство, летняя жизнь в Васильевском?

Нынче Кирики, престольный праздник, ярмарка. Выходил. Две ужасных шеренги нищих у церковных ворот. Особенно замечателен один калека. Оглобли и пара колес. Оглобли наполовину заплетены веревкой, на оси – деревянный щиток. Под концами оглобель укороченная, с отпиленными концами дуга, чтобы оглобли могли стоять на уровне оси. И на всем этом лежит в страшной рвани калека, по-женски повязанный платком, с молочно-голубыми, почти белыми, какими-то нечеловеческими глазами. Лежит весь изломанный, скрюченный, одна нога, тончайшая, фиолетовая, нарочно (для возбуждения жалости, внимания толпы) высунута. Вокруг него прочая нищая братия, и почти все тоже повязаны платками.

Еще: худой, весь изломанный, без задницы, один кострец высоко поднят, разлапые ноги в сгнивших лаптях. Невероятно мерзки и грязны рубаха и мешок, и то и другое в запекшейся крови. В мешке куски сального недоваренного мяса, куски хлеба, сырые бараньи ребра. Возле него худой мальчишка, остроухий, рябой, узкие глазки. Весело: "Подайте, папашечки!" Еще: малый, лет двадцати пяти, тоже рябой и веселый. Сказал про одного нищего, сидевшего на земле, у которого ноги в известковых ранах, залепленных подорожником, и в лиловых пятнах: "Ето считается по старинному заведению проказа". Потом все нищие деловито двинулись на ярмарку. Прокаженный поехал, заерзал задницей по земле.

Кирюшка рассказывает, что его родственник, "Трегубый", уже лет двадцать пьет, собирая на Иерусалим. Говорят, что в Рождестве ребята страшно франтят и пьют? "По двадцати целковых сапоги. Теперь новый народ пошел!"

Мужик на ярмарке, держа елозившего у него под мышкой в мешке поросенка, целый час пробовал губные гармонии и ни одной не купил. Веселый, ничуть не смутился, когда торгаш обругал его.

Грязь страшная. Сейчас, после полдня, опять дождь. На гумне пахнет теплой и сырой землей и "бздюкой".

Для рассказа: бородатый, глаза блестящие, забитый курносый нос, говорит, говорит и налезает на человека.

19 июля.

Вчера и нынче первые хорошие дни, нынче особенно. Тихо, розоватое солнце сквозь голубой сухой тонкий туман.

Шесть часов. Все стало еще краснее от этого тумана. Река в лугу течет золотым красноватым пламенем.

Половина восьмого. Солнце в аспидной мути, малиново-огненное

(особенно сквозь ветки палисадника).

Без двадцати восемь. Совсем помутнело, малиновое.

Юлий и Коля уехали в Ефремов, Софья в Орел.

29 июля 1911 г.

Все время отличная погода.

Ездили с Юлием на Бутырки. О, какое грустное было мое детство! Глушь, Николай Осипович [56], мать…

25-го уехал Юлий.

Идешь вечерком к Пескам – из-за Острова большая луна, сперва малиновая, потом оранжевая, и все прозрачнее и прозрачнее.

Вчера вечером катались (с Верой и Колей), к лугам на Предтеченево. Что за ночь была! И вообще какое прелестное время – начало августа! Юпитер низко на юге. Капелла на севере. Лозинки вдоль дороги, за ними луна. Слева, сзади – чуть алеющий закат, бледно-бледно-синие, необыкновенной красоты облака. Справа жнивье, бледное в лунном свете, телесного цвета. Рисового цвета ряды. Думал о поздней осени: эти луга, очень высокая луна, тонкий туман в лугах… Потом с грустью вспомнил Бутырки, ужин, самоцветные глаза собак под окнами… отец ложится спать под окнами в телегу…

Нынче Вера уехала в Лазавку.

Перед вечером опять было оранжево-золотое солнце и оранжево-золотой блеск в реке.

Сейчас 10 часов. Луна уже высоко, но она на каком-то непрозрачном небосклоне. Ночь вообще странная – тени от меня нет. Луна очерчивается на этом небосклоне розово-желтым, без блеску диском.

Лежали с Колей на соломе. О Петре Николаевиче – как интересна психика человека, прожившего такую изумительно однообразную и от всех внутренне сокровенную жизнь! Что должен чувствовать такой человек?. Все одно и то же – дожди, мороз, метель, Иван Федоров… Потом о Таганке: какой редкий, ни на кого не похожий человек! И он – сколько этого однообразия пережил и он! За его век все лицо земли изменилось, и как он одинок! Когда умерли его отец и мать? Что это были за люди? Все его сверстники и все дети их детей уже давно-давно в земле… Как он сидел вчера, когда мы проходили, как головой ворочал! Сапсан! Из жизни долголетнего человека можно написать настоящую трагедию. Чем больше жизнь, тем больше, страшней должна казаться смерть. В 80 лет можно надеяться до 100 дожить. Но в 100? Больше не живут, смерть неминуема. А при таком долголетии как привыкает человек жить! «…»

30 июля.

Сейчас, перед обедом, ходили через деревню на кладбище. Пустое место среди изб – бугры глины, битого кирпича, заросшие лебедою, репьями. Двор Пальчикова, подсолнечники на гумне.

Кладбище все в татарках, ярких, темно-лиловых и розовых (другого сорта). И уже приметы осени – уже есть татарки засохшие, из одного шелковистого серого пуха, который будет осенью летать. В картофеле еще есть цветы. По валам чернобыльник.

"Наглый хохот черных женщин. Спросите ее об ее имени – хохот и вранье". Это из Гончарова. То же самое и в русской деревне.

"Голубое небо с белым отблеском пламени". Очень хорошо.

"Если вы ничего не знаете о жизни, что же вы можете знать о смерти?" Конфуций [57]. «…»

2 августа 1911 г.

Погода непрерывно чудесная. Особенно хороши лунные ночи. Вчера, от половины десятого, с час гулял. Обошел весь сад. Уже кое-где хрустит под ногами точно поджаренная листва, чуть пахнет яблоками (хотя их нет), корой, дымком, кое-где тепло, кое-где свежесть. Просветы между стволами на валу. Стоял у шалаша. Какой чудесный пролет на старое кладбище, на светлое поле! Светлый горизонт, розоватый. Сухая наглаженная солома кое-где блестит на земле.

На что похожи копны в поле? Обрывки цепи, гусеницы.

Страстное желание (как всегда в хорошую погоду) ехать. Особенно на юг, на море, на купанье.

8 августа.

Еду в Одессу, пишу под Киевом, в вагоне.

1912

9 мая 1912 г.

Юлий, Митя и я ездили в Симонов монастырь. Потом в 5-м часу были у Тестова. Говорили о Тимковском, о его вечной молчаливой неприязни к жизни. Об этом стоит подумать для рассказа.

Ресторан был совершенно пустой. И вдруг – только для нас одних – развеселый звон и грохот, кекуок.

19 мая.Глотово (Васильевское).

Приехали позавчера.

Пробыли по пути пять часов в Орле у Маши. Тяжело и грустно. Милая, старалась угостить нас. Для нас чистые салфеточки, грубые, серые; дети в новых штанишках.

Орел поразил убожеством, заброшенностью. Везде засохшая грязь, теплый ветер несет ужасную пыль. Конка – нечто совершенно восточное. Скучная жара.

От Орла – новизна знакомых впечатлений, поля, деревни, все родное, какое-то особенное, орловское; мужики с замученными скукой лицами. Откуда эта мука скуки, недовольства всем? На всем земном шаре нигде нет этого.

В сумерках по Измалкову. У одной избы стоял мужик – огромный, с очень обвислыми плечами, с длинной шеей, в каком-то высоком шлыке. Точно пятнадцатое столетие. Глушь, тишина, земля.

Вчера перед вечером небольшой теплый дождь на сухую сизую землю, на фиолетовые дороги, на бледную, еще нежную, мягкую зелень сада. Ночью дождь обломный. Встал больным. Глотово превратилось в грязную, темную яму. После обеда пошли задами на кладбище. Возвращались по страшной грязи по деревне. Мужик покупал на улице у торгаша овечьи ножницы. Долго, долго пробовал, оглядывал, торгаш (конечно, потому, что надул в цене) очень советовал смазывать салом.

Мужик опять точно из древности, с густой круглой бородой и круглой густой шапкой волос; верно, ходил еще в извоз, плел лапти, пристукивал их кочедыгом при лучине.

Перед вечером пошли на луг, на мельницу. Там Абакумов со своими ястребиными глазами (много есть мужиков, похожих на Удельных Великих Князей). Пришел странник (березовский мужик). Вошел, не глядя ни на

кого, и прямо заорал:

Придет время,
Потрясется земля и небо,
Все камушки распадутся,
Престолы Господни нарушатся,
Солнце с месяцем примеркнут,
И пропустит Господь огненную реку
И поморит нас, тварь земную,
Михаил Архангел с небес сойдет,
И вострубит у трубы,
И возбудит всех мертвых от гроба,
И возглаголет:
Вот вы были – жили
Вольной волей,
В ранней обедне не бывали,
Поздние обедни прожирали:
Вот вам рай готовый, Огни невгасимые!
Тады мы к матери сырой земле припадем
И слезно восплачем, возрыдаем [58].

(Я этот стих слыхал и раньше, немного иначе.)

Потом долго сидел с нами, разговаривал. Оказывается, идет "по обещанию" в Белгород (ударение делает на "город"), к мощам, как ходил и в прошлом году, дал же обещание потому, что был тяжко болен. Правда, человек слабый, все кашляет, борода сквозная, весь абрис челюсти виден. Сперва говорил благочестиво, потом проще, закурил. Абакумов оговорил его. Иван (его зовут Иваном) в ответ на это рассказал, почему надо курить, жечь табак: шла Богородица от Креста и плакала, и все цветы от слез Ее сохли, один табак остался; вот Бог и сказал – жгите его. Вообще оказалось, любит поговорить. Во дворе у него хозяйствует брат, сам же он по слабости здоровья даже не женился. Был гармонистом, то есть делал и чинил гармонии. Сидел в садах, на огородах. Разговор начал певуче, благочестиво, тоном душеспасительных листков, о том, что "душа в волнах, в забытищах".

Потом Иван зашел к нам и стал еще проще. Хвалился, что он так забавно может рассказывать и так много знает, что за ним, бывало, помещики лошадь присылали, и он по неделям живал в барских домах, все

рассказывал. Прочитал, как слепые холстину просят:

Три сестры жили, три Марии Египетские были,
На три доли делили, то богаты были.
Одну долю отделили, незрящее тело прикрывали,
А другую долю отделили по тюрьмам-темницам,
Третью долю отделили по церквам-соборам.
Не сокращайте свое тело хорошим нарядом,
А сокрасьте свою душу усердным подаяньем.
Ето ваше подаяние будет на первом присутствии
Как свеча перед образом-Богом.
Не тогда подавать, когда соберемся помирать,
А подавать при своем здоровье,
Для своей души спасенья,
Родителям повиновенья.
На том не оставьте нашей просьбы!

Рассказывал, что если слепым не подают, они проклинают:

Дай тебе, Господь, два поля крапивы
Да третье лебеды,
Да 33 беды!
Новая изба загорись,
Старая провались!

Вечером гуляли. Когда шли на Казаковку, за нами шла девочка покойного Алешки-Барина, несла пшено. "На кашу, значит?" – "Нет, одним цыплятам мать велит, а нам не дает". Мать побирается, девочка все одна дома, за хозяйку, часто сама топит. "У нас трусы есть, два, цыплят целых двенадцать…"

21 мая.

Еще лучше день, хотя есть ветерок. Ходили на кладбище. Назад через деревню. Как грязны камни у порогов! Солдат, бывший в Манжурии. Море ему не нравится. "Японки не завлекательны".

Иван рассказывал, что в Духовом монастыре (под Новосилем) есть такой древний старец, что, чтобы встать, за рушник, привязанный к

костылю в стене, держится. "И очень хорошо советует".

Шкурка змеи – выползень.

Перечитываю Куприна. Какая пошлая легкость рассказа, какой дешевый бойкий язык, какой дурной и совершенно не самостоятельный тон.

23 мая.

Встретил Тихона Ильича. Говорит, что чудесно себя чувствует, несмотря на свои 80 лет, только "грызь живот проела". Сам себе сделал деревянный бандаж. "О! Попробуй-ка! Так и побрехивает!" И заливается счастливым смехом.

Мужик Василий Старуха похож на Лихунчанга, весь болен – астма, грыжа, почки. Побирается, а про него говорят:

"Ишь войяжирует!"

Ездили через Знаменье к Осиновым Дворам.

Дьяконов сын. Отец без подрясника, в помочах, роет вилами навоз, а сын: "Ах, как бы я хотел прочитать "Лунный камень" Бальмонта!"

Из солдатского письма: "Мы плыли по высоким волнам холодного серого моря".

25 мая.

Все зацвело в садах.

Вчера ездили через Скородное. Избушка на поляне, вполне звериное жилье, крохотное, в два окошечка, из которых каждое наполовину забито дощечками, остальное – кусочки стекол и ветоши. Внутри плачет ребенок Марфутки, дочери Федора Митрева, брошенной мужем. А лес кругом так дивно зелен. Соловьи, лягушки, солнце за чащей осинника и вся белоснежная большая яблоня "лесовка" против избушки.

Нынче после обеда через огороды. Нищая изба Богдановых, полная детей, баб, живут вместе два брата. Дети идиоты. На квартире Лопата. Любовница Лопаты со смехом сказала, что он очень болен. Он вышел пьяный. Вид – истинный ужас. Разбойник, босяк, вся морда в струпьях, – дрался с любовницей. Пропивает землю и мельницу.

Был на мельнице. Разговор с Андреем Симановым. По его словам, вся наша деревня вор на воре. Разговор о скопцах. Мужик сказал про лицо скопца: "голомысый". Малый, похожий на скопца, жует хлеб и весело: "Вот выпил, хлебушка закусил, оно и поблажало". «…»

27 мая. 12 ч.

Ждем Юлия.

Сплю плохо, вчера проснулся очень рано от тоски в животе и душе. Было дивное утро. Свежесть росы, ясность всего окружающего и мысли. Пять часов, а уже все давно проснулось. Все крыши дымились – светлым снизу, тонко и ярко голубым дымом. Нынче опять проснулся около пяти. День дивный, но не выходил до обеда, немного повышена температура. После обеда, часа в два – часто, часто: бам-бам-бам-бам! – набат. Побежали за сад – горит глотовская деревня. Огромный извивающийся столб дыма прелестного цвета, а ниже, сквозь дым, огромное пламя цвета уже совсем сказочного, красно-оранжевого, точно яркой киноварью нарисованного. На деревне творилось нечто ужасающее. Бешено, с дикарской растерянностью таскали из всех изб скарб необыкновенного дикарского убожества. Бабы каждая точно десять верст пробежала, бледны смертельно, жалкие безумные лица, даже и кричать не могут, только бегают и стонут. Жара – сущий ад, конец улицы совершенно застлан дымом. В один час сгорело девять дворов. Народ со всех деревень все бежит и бежит. Бежит баба, за ней коза. Остановится, ударит козу и опять бежит, а коза за ней.

Перед вечером ходили опять на деревню. Встретили рыжего мужика, похожего на Достоевского: "Мой двор девка отстояла, я был в волости. Одна отстояла: ходит и поливает, только и всего. Ходит и поливает, ходит и поливает". И оттого, что выпивши, и от умиления – слезы на глазах. "Мне давно один человек говорил: ваша деревня процветает, говорит". Подозревают, что деревню сожгли те три двора, что общество хотело выселить в Сибирь (да не выслало, ибо на высылку нужно было 900 рублей). Один из этих дворов – двор тех, что убили Ваньку Цыпляева. Возле песков встретили отца этого Ваньки. Шея клетчатая, пробковая. Рот – спеченная дыра, ноздри тоже, в углах глаз белый гной. Лысый. Потом нас нагнал еще какой-то мужик, а с ним кузнец, он же и сельский писарь, маленький, говорливый, знаменитый тем, что он всю жизнь посвятил сутяжничеству. К каждому слову: "согласно статье" (не говоря, какой именно) и "глазомерно" (ни к селу ни к городу).

Все последние дни цвели яблони и сирень. Из зала через гостиную в окне моей комнаты – ярко-темная зелень, ниже как бы зимний вид – белизна яблонь, еще ниже купы цветущей сирени.

28 мая.

Прелестнейшая погода, и все слава богу – и Юлий, и Евгений с нами. Евгений рассказывал об отце Николки Мудрого, которого звали Хмеру, за привычку его говорить к каждому слову "к хмеру", т.е. "к примеру". Он

пьянствовал совершенно как одержимый, старуху-жену убивал каждый день до полусмерти. Наконец она сказала ему, что идет к земскому, просить, чтобы у него отобрали все имущество. И ушла к соседкам. Он посидел, посидел на пороге, потом встал, вошел в избу, взял веревку, поцеловал дочь-девчонку, пошел в закуту и удавился. Когда Николка (который убивал его страшно, каждый праздник) вернулся под вечер домой, он уже давно был мертв. Николка перерезал веревку, на которой он висел, вытащил его из закуты и положил на навоз возле ворот. Лапти Хмеру зачем-то снял, был в одних онучах. И они торчали серыми трубками.

Ходили в Колонтаевку. Говорили, что хорошо бы написать историю Е. с Катькой. Как он потребовал, чтобы она, его любовница, подвела ему Настьку, – "а не то брошу тебя". Лунная ночь, он с Катькой в копнах. Мать подсматривает, а разогнать боится – барин, дает денег. Коля говорил о босяках, которые перегоняют скотину, покупаемую мещанами на ярмарках. Я подумал: хорошо написать вечер, большую дорогу, одинокую мужицкую избу; босяк – знаменитый писатель (Н. Успенский или Левитов)… Евгений рассказывал: у него в саду сидели два босяка, часто ссорились, и один, бывший солдат, наконец застрелил другого (с мыслью сказать, что тот сам застрелился). Холод, поздняя осень. Он перемыл в пруде рубашки, портки, снятые с убитого, надел их. Варил кашу, ночевал от холода под ящиком для яблок…

Потом о последнем дне нашего отца. Исповедуясь, он лежал. После исповеди встал, сел, спросил: "Ну, как по-вашему, батюшка, – вы это знаете, – есть во мне она?" Робко и виновато. А священник резко, грубо: "Да, да, пора собираться".

31 мая.

Прекрасная погода.

Вчера ездили осматривать жадовскую землю, по межам, среди хлебов.

Нынче часов в пять пришел какой-то нищий солдат, пьяный, плакал, ругал и дворян и забастовщиков, а царя то ругал, то говорил, что он, батюшка, ничего не видит. «…»

А через час еще один бродяга, в скуфье. Поразительно играл глазами, речь четкая, повышенная, трагическая: "Бог есть добро, добро в человеколюбии!" «…»

7 июня 12 г.

«….» Читал биографию Киреевского [59]. Его мать – Юшкова, внучка Бунина, отца Жуковского.

Поездка в Гурьево. На обратном пути ливень. Оборвался гуж, мучительно тащились по грязи.

Разговаривал с Илюшкой о казнях. Говорил, что за сто рублей кого угодно удавит, "только не из своей деревни". "Да чего ж! Ну, другие боятся покойников, а я нет".

К Андрею Сенину приблудилась собака. "Пожила, пожила, вижу – без надобности, брехать не брешет, ну, я ее и удавил".

В избе у Абакумова показывал фокусы заезжий бродячий фокусник. В избе стояла корова. Ее "для приличия" отделили от публики "занавесом" – веретьями.

Гуляли с Юлием. Грязь, сырость, холодно. Перебирали ефремовскую компанию. Знаменитый по дерзости еврей Николаев, бивший всех в морду, Анна Михайловна, помощник податного инспектора, сборы Маши в городской сад… Ужасно!

13 июня.

Все эти дни то хорошо, то дождь.

Вчера ездили в Осиновые Дворы.

Сырой, с тучами вечер. Прошли до песков, оттуда через деревню. Стояли возле избы Григория, бывшего церковного сторожа. Сдержан в ответах. Очень вообще скрытны, хитры мужики.

У старух, когда они молятся, кладут поклоны, трещат коленки.

– Что это ты, Тихон Ильич, грустный стал?

– Чем грузный?

16 июня 12 г.

Поездка в лес Буцкого. Выгоны в селе Малинове. Мужик точно древний великий князь. Много мужиков, похожих на цыган.

Ребенок, заголив белое пузо с большим пупком, заносит через порог кривую ножку.

За Малиновым – моря ржей, очаровательная дорога среди них. Лужки, вроде бутырских. Мелкие цветы, беленькие и желтые. Одинокий грач. Молодые грачи на косогоре, их крики. Пение мошкары, жаворонков – и тишина, тишина…

Потом большая дорога – и пение косцов в лесу: "На родимую сторонушку…" В лесу усадьба, полумужицкая. Запах елей, цветы, глушь. Огромные собаки во дворе. Говорят, как-то разорвали человека.

На большой дороге деревушка.

Шла отара, – шум от дыхания щиплющих траву овец.

Вечер, половина одиннадцатого. Гроза, ливень, буря. Слепит белой молнией, сполохом с зеленоватым оттенком, – в общем остается впечатление жести и лиловатого. Туча с запада. А за садом полный оранжевый месяц (очень низкий) за мотающимися ветвями сада. Небо возле него чисто. Выше красивые облака, точно из размазанных и засохших чернил.

Сейчас опять глядел в окно: месяц прозрачный и все-таки нежный, молния ослепляет белым, в последний миг оставляя в глазах лиловое.

17 июня.

Ночь провел плохо, – всю ночь гроза. Просыпался в четыре. Был страшный удар.

После обеда сидел в шалаше. Что за прелестный человек Яков [60], как приятно слушать его. Всем доволен. «И дожжок хорошо! Все хорошо!» Был женат, пять человек детей; с женой прожил 21 год, потом она умерла, и он был семь лет вдовцом. Жениться второй раз уговорили. Был у родных, пришла дурочка «хлебушка попросить». – «А хочешь замуж?» – «За хорошую голову пошла бы». – «Ну, вот тебе и хорошая голова», – сказал ей Яков про себя. Повенчались, а она «прожила с после Успенья до Тихвинской – и ушла. Меня, говорит, прежние мужья жамками, канахфектами кормили; а ты кобель, у тебя ничего нету…» Земли у него полторы десятины. «Да что ж, я не жадный, я добродушный».

Вечером были на выезде из Глотова, в крохотной избушке, где молнией убило малого лет 15 и девочке-ребенку голову опалило.

Видел сына Таганка – страшный, седой, древний старик.

20 июня.

Не мог заснуть до 2 ночи. Встал в полдень. Холодновато, хмуро, дождь. Страшно ярка зелень деревьев. Сев.-зап. ветер.

Перечитывал "Путешествие в Арзрум", – так хорошо, что прочел вслух Вере и Юлию первую главу. Перечитывал Баратынского (прозу). "Перстень"-старинка и пустяки. Как любили прежде рассказывать про чудаков, про разные "странности"!

21 июня.

Много ветвей с зелеными листьями нарвало, накидало по аллее холодным ураганом.

Яков: "Ничаго! Не первой козе хвост ломать! Мы этих бурей не боимся!"

Читаю "Былины Олонецкого края" Барсова. Какое сходство в языке с языком Якова! Та же криволапая ладность, уменьшительные имена…

На деревне слух – будто мужиков могут в острог сажать за сказки, которые мы просим их рассказывать.

Пришел Алексей (прообраз моего Митрофана из "Деревни"). Жалкий, мокрый, рваный, темный, глаза слабые, усталые. Все возмущается, про что-нибудь рассказывает и – "вот бы что в газетах-то пронесть!". Жил зимой в Липецке, в рабочем доме, лежал больной, 41 градус жару. Ужасно!

Холод нынче собачий. У меня болит все тело, жилы под коленками.

Яков в непрестанном восхищении перед своим хозяином, – в холопском умилении. Часто представляет его, – у того будто бы отрывистый говор, любовь к странным выходкам, к тому, чтобы озадачить человека чем-нибудь неожиданным.

– Придешь к нему, взлохматишь нарочно голову. "Ай ты с похмелья, Яков?" – С похмелья, Александр Григорич… – "Ну на, выпей сотку! Живо!" – А то сидишь – удруг мальчишка бежит: "Скорей, хозяин кличет!" Я со всех ног к нему: "Что такое, А. Г., что прикажете?" – "Садись!" Сел. "Пей!" И ставит на стол бутылку, и с торжеством: "А ведь сад-то я снял!" «….»

У Якова один сын в солдатах (его жена и правит домом летом), другой хромой, пьяница, сапожник, "отцу без пятака латки не положит", а как нужда – к отцу: "Батя, помоги!"

23 июня.

В 6 1/2 утра уехал Юлий. Скучно и жалко его. Стареет, слабеет.

Вчера северная холодная погода. Прошли в Остров, вернулись через деревню. Пьяный, довольно молодой мужик, красное лицо, губы спеклись, ругает своего соседа. Вид разбойника, того гляди убьет.

Рагулин рассказывал, как их бил Гришка Соловьев. Один из них схватил черпак и ударил Гришкину беременную мать по животу, хотя она-то была совсем ни при чем. Скинула.

Были с Колей на Казаковке, в той избе, куда ударило грозой. Никого нету – мать в поле навоз "бьет", отец в Ливнах – пропал, спился, – девка "на месте"; в избе два ребенка – одному мальчишке 3 года, другому лет 10. Этот трехлетний (идиот) сидит без порток, намочил их, "в чугун с помоями вляпался". Изба крохотная, и мерзость в ней неописуемая – на лавке разбитые, гнилые лапти и заношенные до черноты, залубеневшие онучи, на полу мелкая гниющая солома, зола, на окне позеленевший самоварчик…

24 июня.

Проснулся поздно. С утра был дождь.

Все грустно об Юлии, ужасно жаль его. Вот уехал – и точно не бывало ни его, ни времени с ним.

После обеда прошли через кладбище на деревню. Изба Федора Богданова, выглядывает баба. Коля зашел раз в рабочую пору к ней, а она лежит среди избы на соломе – вся черная, глаза огненные – рожает. Четыре дня рожала – и ни души кругом! Вот это "рождение человека"!

Посидели с Яковом.

– Яков Ехимыч!

– Аюшки?

– Ты что любишь из кушаний?

– Моя душа кривая, все примая. И мед – и тот прет. А я всего раз сытый был – когда на сальнях, на бойнях под Ельцом жил.

Потом разговор о старости, о смерти. Я рассказал ему о Мечникове.

– Да, конечно, стараются, жалованье получают…

26 июня.

Холода, сумрачно, нынче несколько раз принимается дождь. Сидели опять с Яковом, он начал было рассказывать "Конька-горбунка" – чудесно путает чепуху – потом надоело, бросил.

Были на мельнице. Грязь, дождь, скука, один Абакумов не унывает, энергия неугасимая.

Мужик, поднимая меру с рожью, прижимая ее к животу, высоко задирает голову.

7 июля 12 г.

Клеевка, Себежский уезд.

Гостим у Черемнова.

В Глотове замучил дождь. Выехали оттуда 29 июня в Москву. В Москве пробыли до утра 4-го. Здесь тоже дождь.

Перебирали с Юлием сумасшедших, вернее "тронувшихся", в нашем роду: дед Ник. Дм., Олимпиада Дмитриевна, Алексей Дм., Ольга Дм., Владимир Дм., Анна Вл. (Рышкова). Варвара Никол, (сестра нашего отца), Анна Ивановна (Чубарова, урожденная Бунина). Впрочем, все они "трогались" чаще всего только в старости [61].

Наше родословие: прадед – Дм. Семеныч, его дети – Ник. Дм., Олимпиада Дм., Алексей, Ольга, Владимир. У Дм. Сем. был брат Никифор Семен., его сын – Аполлон, а у Аполлона – Влад. и Федор. Дмитрий Сем. служил в гвардии в Петербурге.

Яков Ефимыч рассказывал, что он иногда и теперь "кой с кем" занимается ("займается"), – с какой-нибудь "пожилой бабочкой":

– Ну, сделаешь ей там валек (валек для битья белья) – вот и расход весь…

Про смерть:

– Вона, чего ее бояться! Схоронят з'ызбой (за избой), помянут п…ой.

Про облака:

– Облака, они толстые, напревают, выспарение делают.

Ходил перед отъездом к Рогулину, записывать его сказки.

Хозяева пьют чай, их мальчишка конфоркой от самовара об стену – и с радостно-жуткой улыбкой к уху ее: она гудит и щекочет.

12 августа 12 г., Клеевка. Девятого ходили перед вечером, после дождя, в лес.

Бор от дождя стал лохматый, мох на соснах разбух, местами висит, как волосы, местами бледно-зеленый, местами коралловый. К верхушкам сосны краснеют стволами, – точно озаренные предвечерним солнцем (которого на самом деле нет). Молодые сосенки прелестного болотно-зеленого цвета, а самые маленькие – точно паникадила в кисее с блестками (капли дождя). Бронзовые, спаленные солнцем веточки на земле. Калина. Фиолетовый вереск. Черная ольха. Туманно-синие ягоды на можжевельнике.

Десятого уехали в дождь Вера и Юлий; Вера в Москву, Юлий в Орел.

Нынче поездка к Чертову Мосту. В избе Захара. Угощение – вяленые рыбки, огурцы, масло, хлеб, чай. Дождь в дороге.

С необыкновенной легкостью пишу все последнее время стихи. Иногда по несколько стихотворений в один день, почти без помарок.

1913

26 июля 1913 г., дача Ковалевского (под Одессой). Нынче уезжает Юлий. А наступила дивная погода.

Страшно жалко его.

Каждое лето – жестокая измена. Сколько надежд, планов! И не успел оглянуться – уже прошло! И сколько их мне осталось, этих лет? Содрогаешься, как мало. Как недавно было, напр., то, что было семь лет тому назад! А там еще семь, ну 14 – и конец! Но человек не может этому верить.

Кончил "Былое и думы". Изумительно по уму, силе языка, простоте, изобразительности. И в языке – родной мне язык – язык нашего отца и вообще всего нашего, теперь почти уже исчезнувшего племени.

1914

Капри, 1/14 янв. 14 г.

Позавчера с Верой и Колей приехали на Капри. Как всегда, отель "Квисисана".

Горький и Кат. Павл. с Максимом уехали в Россию, он на Берлин, она на Вену.

Вчера встречали Нов. год: Черемновы, вдова революционера и "историка" Шишко с психопаткой своей дочерью, Иван Вольнов [62], Янина и мы.

Ныне весь день проливной дождь. Кляну себя, что приехал. Италия зимой убога, грязна, холодна, и все давно известно-переизвестно здесь.

2.1.14.

Проснулся необычайно поздно – в 9: дождь, буря (со стороны Амальфи).

Потом временами солнечно, временами сыро. Очень прохладно. «…»

Вечером на даче у Горького – там живет Шишко и мать Катерины Павл. – старозаветнейшая старуха: воображаю, каково ей жить ни с того ни с сего среди эмигрантов, бунтарей! И с трепетом в душе: шутка ли, за какую знаменитость попала ее дочка!

4.1.13(14)

Весь день мерзкая погода. В газетах о страшных метелях в России. Землетрясение на итальянских озерах.

Лень писать, вялость – и беспокойство, что ничего не делаю.

5.1.14.

Отчаяние – нечего писать!

Солнечно и холодно.

6.1.14.

То же. А день прелестный.

7.1.14.

Пасмурно, прохладно. Пожар в "Квисисане".

8.1.14.

Ужасная погода. Опять боль в боку (в правом) ниже ребер, возле кости таза.

9.1.14.

Весь день дождь. Боль.

Старухи (мать К. П. и Шишко) – "сюжет для маленького рассказа". Шишко была в дружбе с Э. Реклю, с Кропоткиным.

11.1.14.

Прохладно, но чудесно.

Начал "Человека" (Цейлонский рассказ). «…»

23.1.14.

Едем с Колей в Неаполь.

24.1.14.

Вчера из Неаполя ездили в Салерно. Удивительный собор. Пегий-белый и черно-сизый мрамор – совсем Дамаск. Потом в Амальфи.

Ночевали в древнем монастырском здании – там теперь гостиница. Чудесная лунная ночь.

Необыкновенно хорошо, только никаких муратовских сатиров [63].

25.1.14.

Выехали из Амальфи на лошадях. «…» Дивный день.

19.VI.1914.

На корме грязь, вонь, мужики весь день пьют. Какой-то оборванный мальчишка бесстрастно поет: Запала мысль злодейская: Впотьмах нашел топор…

Приземистый, пузатый монах в грязном парусиновом подряснике, желтоволосый, с огненно-рыжей бородой, похожий на Сократа, на каждой пристани покупает ржавые таранки, с золотисто-коричневой пылью в дырах выгнивших глаз.

Вечер, Жигули, запах березового леса после дождя. На пароходе пели молебен.

20.VI. 1914.

Половина девятого, вечер. Прошли Балахну, Городец. Волга впереди –

красно-коричнево-опаловая, переливчатая. Вдали, над валом берега в нежной фиолетовой дымке, – золотое, чуть оранжевое солнце и в воде от него ослепительный стеклянно-золотой столп. На востоке половинка совсем бледного месяца.

Одиннадцать. Все еще не стемнело как следует, все еще спереди дрожат в сумраке в речной ряби цветистые краски заката. Месяц справа уже блещет, отражается в воде – как бы растянутым, длинным китайским фонарем.

21.VI.14.

В поезде под Ростовом Великим. Ясный, мирный вечер – со всей прелестью июньских вечеров, той поры, когда в лесах такое богатство трав, зелени, цветов, ягод. Бесконечный мачтовый бор, поезд идет быстро, за стволами летит, кружится, мелькает-сверкает серебряное лучистое солнце.

28. VII. 1914.

Дача Ковалевского, под Одессой. Половина двенадцатого, солнечный и ветреный день. Сильный, шелковистый, то затихающий, то буйно возрастающий шум сада вокруг дома, тень и блеск листвы в деревьях, волнение зелени, мотанье туда и сюда мягко гнущихся ветвей акаций, движущийся по подоконнику солнечный свет, то яркий, то смешанный с темными пятнами. Когда ветер усиливается, он раскрывает зелень, и от этого раскрывается я тень на меловом потолке комнаты – потолок, светлея, становится почти фиолетовый. Потом опять стихает, опять ветер уходит куда-то далеко, шум его замирает где-то в глубине сада, над морем…

Написать рассказ "Неизвестный" [64]. – «Неизвестный выехал из Киева 18 марта в 1 ч. 55 дня…» Цилиндр, крашеные бакенбарды, грязный бумажный воротничок, расчищенные грубые ботинки. Остановился в Москве в «Столице». На другой день совсем тепло, лето. В 5 ч. ушел на свадьбу своей дочери в маленькую церковь на Молчановке. (Ни она и никто в церкви не знал, что он ее отец и что он тут.) В номере у себя весь вечер плакал – лакей видел в замочную скважину. От слез облезла краска с бакенбард…

1915

Москва, 1 янв. 1915.

Позавчера были с Колей в Марфомариинской обители на Ордынке [65]. Сразу не пустили, дворник умолял постоять за воротами – «здесь великий князь Дмитрий Павлович». Во дворе – пара черных лошадей в санях, ужасный кучер. Церковь снаружи лучше, чем внутри. В Грибоедовском переулке дома Грибоедова никто не мог указать. Потом видели безобразно раскрашенную церковь Ивана Воина. Там готовились крестить ребенка. Возвращались на пьяном извозчике, похожем на Андреева. От него воняло денатуратным спиртом, который пьют с квасом. Он сказал: «Дед на бабку не пеняет, что от бабки воняет».

Вчера были на Ваганьковском кладбище. Вся роща в инее. Грелись на Александровском вокзале. Лакей знакомый, из Лоскутной, жалеет о ней – "привык в кругу литераторов жить", держал чайную возле Харькова, но "потерпел фиаско". Потом Кремль, долго сидели в Благовещенском соборе. Изумительно хорошо. Слушали часть всенощной в Архангельском. Заехали в Зачатьевский монастырь [66]. Опять восхитили меня стихиры. В Чудове, однако, лучше.

В 12 ночи поехали в Успенский собор. Черный бесконечный хвост народа. Не пустили без очереди. Городовой не позволил даже в дверь боковую, в стекла заглянуть – "нечего там смотреть!".

Нынче часа в 4 Ново-Девичий монастырь. Иней. К закату деревья на золотой эмали. Очень странны при дневном свете рассеянные над могилами красные точки огоньков, неугасимых лампад.

2 января 1915 г.

Иней, сумерки. Розовеют за садом, в инее, освещенные окна.

3 января.

В 2 часа поехали с Колей в Троице-Сергиеву Лавру. Были в Троицком соборе у всенощной. Ездили в темноте, в метель, в Вифанию [67]. Лавра внушительна, внутри тяжело и вульгарно.

4 января.

Были в Скиту у Черниговской Божьей Матери. Акафисты в подземной церковке. Поп выделывал голосом разные штучки. Вернулись в Москву

вечером. Федоров.

5 января.

Провожал Федорова на Николаевский вокзал – поехал в Птб., а потом в Варшаву. Вечером у нас гости, Любочка. Был на заседании. Князь Евг. Трубецкой. «…»

7 января.

Поздно встал. Читаю корректуру. Серый день. Все вспоминаются монастыри – сложное и неприятное, болезненное впечатление.

8 января.

Завтракал у нас Горький. Все планы, нервничает. Читал свое воззвание о евреях [68].

9 января 15 г.

Отдал в наборе свою новую книгу.

Кончил читать Азбуку Толстого. Восхитительно. «…»

11 января.

Была Авилова [69]. Говорила, м. пр., что она ничего не знает, ничего не видала – и вот уже седая голова. «…»

14 января.

Все мерзкая погода. Телеграмма от Горького, зовет в Птб. «…»

16 января.

Непроглядный мокрый снег к вечеру. Поехали с Колей в Птб; Страшно ударила меня в левое плечо ломовая лошадь оглоблей. Едва не убила.

17 января 15 г.

Птб., гост. "Англия".

Дивная морозная погода.

Заседание у Сологуба. Он в смятых штанах и лакированных сбитых туфлях, в смокинге, в зеленоватых шерстяных чулках.

Как беспорядочно несли вздор! "Вырабатывали" воззвание в защиту евреев.

18 янв.

Поездка на панихиду по Надсону. Волкове кладбище. Розовое солнце.

Был в Куоккале у Репина и Чуковского. Вечером обедал у Горького на квартире Тихонова [70]. Хорош Птб.!

19 янв.

Вечером с курьерским уехали из Птб. Хотели ехать в Новгород, но поезда ужасно неудобны (в смысле расписания).

28 янв.

Чествование Юлия. Почтили память худ. Первухина – нынче его похоронили.

20 янв.

Завтрак с Ильей Толстым [71] в «Праге». «…»

7 февраля 15 г.

Вышла "Чаша жизни". Заседание у Давыдова об ответе английским писателям,

18 февраля.

Отпевание Корша [72] в университетской церкви. Два епископа. Сильное впечатление.

Вчера ночью в 12 ч. 52 м. кончил "Грамматику любви". "Среда". Читали Шкляр, Зилов, Ляшко [73].

22.2.15.

Наша горничная Таня очень любит читать. Вынося Из-под моего письменного стола корзину с изорванными бумагами, кое-что отбирает, складывает и в свободную минуту читает – медленно, с напряженьем, но с тихой улыбкой удовольствия на лице. А попросить у меня книжку боится, стесняется…

Как мы жестоки!

29 марта 1915.

«…..» Слушал "Всенощное бдение" Рахманинова [74]. Кажется, мастерски обработал все чужое. Но меня тронули очень только два-три песнопения. Остальное показалось обычной церковной риторикой, каковая

особенно нетерпима в служениях Богу. «…»

«…» Рыба кета запала мне в голову. Я над этим и прежде много думал. Все мы такая же рыба. Но помни, о поэт и художник! – мы должны метать икру только в одно место. «…»

С корректурой для "Нивы" стало легче. Пишу для "Истории русской литературы" Венгерова автобиографию. Это мука. Кажется, опять ограничусь заметкой. «…»

9 мая, ресторан «Прага».

Рядом два офицера, – недавние штатские, – один со страшными бровными дугами. Под хаки корсет. Широкие, колоколом штаны, тончайшие в коленках. Золотой портсигар с кнопкой, что-то вроде жидкого рубина. Монокль. Маленькие, глубокие глазки. Лба нет – сразу назад от раздутых бровных дуг.

У метрдотелей от быстрой походки голова всегда назад.

Для рассказа: сильно беременная, с синими губами.

Все газеты полны убийствами, снимками с повешенных. А что я написал, как собаку давят, не могут перенести!

Вторник 30 июня, Глотово.

Уехал из Москвы 9 мая. Два дня был в Орле. Сюда приехал 12.

1 июля 15 г.

Погода прекрасная. Вообще лето удивительное. Собрать бы все людские жестокости из всей истории. Читал о персидских мучениках Даде, Тавведае и Таргала. Страшное описание Мощей Дмитрия Ростовского [75]. «…»

3 июля.

Читал житие Серафима Саровского [76]. Был дождь.

4 июля.

Житие юродивых. Дождь. Записки Дашковой [77].

1 августа, Глотово.

Позавчера уехал Юлий, утром в страшный дождь. Кажется, что это было год тому назад. Погода холодная и серая. Вечером позавчера долго стояли возле избы отца так страшно погибшей Доньки. Какие есть

отличные люди! "Жалко дочь-то?" – "Нет". Смеется. И потом: "Я через нее чуть не ослеп, все плакал об ней". Нынче вечером сидели на скамейке в Колонтаевке. Тепло, мертвая тишина, запах сырой коры. Пятна на небе за березами. Думал о любви.

2 августа 15 г.

Серо и холодно. Проснулся рано, отправил корректуру "Суходола". Во втором часу газеты. Дикое известие: Куровский застрелился. Не вяжется, не верю. Что-то ужасное – и, не знаю, как сказать: циническое, что ли. Как я любил его! Не верю – вот главное чувство. Впрочем, не умею выразить своих чувств.

3 августа.

«…» Все же я равнодушен к смерти Куровского. Хотя за всеми мыслями все время мысль о нем. И умственно ужасаюсь и теряюсь. Что с семьей? Выстрелил в себя и, падая, верно, зацепился шпорой за шпору.

Вечером были в Скородном. Заходил в караулку. Окна совсем на земле. 5 шагов в длину, 5 в ширину. Как ночевать тут! Даже подумать жутко. Возвращались – туманно, холодно. Два огня на Прилепах, как в море.

Неужели это тот мертв, кто играл в Мюррене? С кем столько я пережил? О, как дико!

Веры все еще нет, уехала через Вырыпаевку в Москву еще 10-го июля.

Долго не мог заснуть от мыслей о Куровском.

4 августа.

С утра дождь и холод. Страшная жизнь караульщика сада и его детей в шалаше, с кобелем. Варит чугун грибов. «…»

Послал телеграмму Нилусу, спрашивал о Куровском.

6.VIII.

Приехала Вера. Привезла "Одесские новости". Там о Куровском. Весь день думал о нем.

7.VIII.

Тихий, теплый день. Пытаюсь сесть за писание. Сердце и голова тихи, пусты, безжизненны. Порою полное отчаяние.

Неужели конец мне как писателю? Только о Цейлоне хочется написать.

8 ч. 20 м. Ужинал, вошел в свою комнату – прямо напротив окно, над купой дальних лип – очень темно-зеленой – на темной, мутной, без цвета

синеве (лиловатой) почти оранжевый месяц.

21 августа.

Две недели не записывал. Время так летит, что ужас берет. 14 – 19 писал рассказ "Господин из Сан-Франциско". Плакал, пиша конец. Но вообще душа тупа. И не нравится. Не чувствую поэзии деревни, редко только. Вижу многое хорошо, но нет забвенности, все думы от уходящей жизни.

Годные гуляют, три-четыре мальчишки. Несчастные – идут на смерть, и всего удовольствия – порычать на гармонии.

В Москве, в Птб. – собственно говоря, "учредительное собрание".

Все глотовские солдаты – в плену.

«…» Вчера снимали Тихона Ильича. "Вот и Николаю Алексеевичу может идти в солдаты… Да ему что ж, хоть и убьют, у него детей нету". К смерти вообще совершенно тупое отношение. А ведь кто не ценит жизни – животное, грош тому цена. «…»

1916

23.II.16.

Милый, тихий, рассеянно-задумчивый взгляд Веры, устремленный куда-то вперед. Даже что-то детское – так сидят счастливые дети, когда их везут. Ровная очаровательная матовость лица, цвет глаз, какой бывает только в этих снежных полях.

Говорили почему-то о Коринфском [78]. Я очень живо вспомнил его, нашел много метких выражений для определения не только его лично, но и того типа, к которому он принадлежит. Очень хорошая фигура для рассказа (беря опять-таки не его лично, но исходя из него и сделав, например, живописца-самоучку из дворовых). Щуплая фигурка, большая (сравнительно с нею) голова в пошло-картинном буйстве коричневых волос, в которых вьется каждый волосок, чистый, прозрачный, чуть розовый цвет бледного лица, взгляд как будто слегка изумленный, вопрошающий, настороженный, как часто бывает у заик и пьяниц, со стыдом всегда чувствующих свою слабость, свой порок. Истинная страсть к своему искусству, многописание, вечная и уже искренняя, ставшая второй натурой, жизнь, в каком-то ложнорусском древнем стиле. Дома всегда в красной косоворотке, подпоясанной зеленым жгутом с низко висящими кистями. Очень религиозен, в квартирке, бедной и всегда тепло-сырой, всегда горит лампадка, и это опять как-то хорошо, пошло связывается с его иконописностью, с его лицом христосика, с его бородкой (которая светлее, русее, чем волосы на голове). И жена, бывшая проститутка, настоящая, кажется, прямо с улицы. Он ее, вероятно, страстно любит, при всей ее вульгарности (которой он, впрочем, не замечает). Она его тоже любит, хотя втайне порочна (чем сама мучается) и поминутно готова изменить ему хоть с дворником, на ходу, на черной лестнице.

Потом я вспомнил и рассказывал о Лебедеве [79], о Михееве, о Случевском [80] (вот страшная истинно петербургская фигура). «…»

На возвратном пути я говорил о том, какую огромную роль в жизни деревни сыграют пленные. Еще о том, что дневник – одна из самых прекрасных литературных форм. Думаю, что в недалеком будущем эта форма вытеснит все прочие.

17.III.16.

«…» Нынче именины отца [81]. Уже десять лет в могиле в Грунине –

одинокий, всеми забытый, на мужицком кладбище! И уж не найти теперь этой могилы – давно скотина столкла. Как несказанно страшна жизнь! А мы все живем – и ничего себе!

К вечеру свежей. В небе, среди облаков, яркие прогалины лазури. Мокрый блеск на коре деревьев.

Вечер очень темный. От темноты, грязи и воды нельзя никуда пойти. До одиннадцати ходили по двору, от крыльца до скотного двора. Говорили о Тургеневе. Я вспомнил, как Горький басил про него со своей лошадиной высоты: "Парное молоко!" Я говорил еще, что Пушкин молодым писателям нравственно вреден. Его легкое отношение к жизни безбожно. Один Толстой должен быть учителем во всем. «…»

21 марта 16 г.

Вечером гуляли по задворкам, возле кладбища. Темь, туман. Сад виден неясно, рига совсем не видна, только когда подошли к ней, обозначилась ее темная масса.

Говорили об Андрееве. Все-таки это единственный из современных писателей, к кому меня влечет, чью всякую новую вещь я тотчас же читаю. В жизни бывает порой очень приятен. Когда прост, не мудрит, шутит, в глазах светится острый природный ум. Все схватывает с полслова, ловит малейшую шутку – полная противоположность Горькому. Шарлатанит, ошарашивает публику, но талант. Впрочем, м. б., и хуже – м. б., и самому кажется, что он пишет что-то великое, высокое. А пишет лучше всего тогда, когда пишет о своей молодости, о том, что было пережито.

Дома нашли газеты и "Современный мир". Задирчивая статья Чирикова о Тальникове – Чириков "верит в русский народ!" [82]. В газетах та же ложь – восхваление доблестей русского народа, его способностей к организации. Все это очень взволновало. «Народ, народ!» А сами понятия не имеют (да и не хотят иметь) о нем. И что они сделали для него, этого действительно несчастного народа?

22 марта.

Коля записал то, что я вчера говорил с ним, и принес мне эту запись: "Ив. Алекс. статьей Чирикова и газетами так взволнован, что до поздней ночи, уже сидя и ежеминутно куря в постели, говорил:

– Нет, с какой стати он так его оскорбляет? Кто дал ему на это право? Ах уж эти русские интеллигенты, этот ненавистный мне тип! Все эти Короленки, Чириковы, Златовратские! Все эти защитники народа, о котором они понятия не имеют, о котором слова не дают сказать. А это

идиотское деление народа на две части: в одной хищники, грабители, опричники, холопы, царские слуги, правительство и городовые, люди без всякой чести и совести, а в другой – подлинный народ, мужики, "чистые, святые, богоносцы, труженики и молчальники". Хвостов, Горемыкин [83], городовой – это не народ. Почему? А все эти начальники станций, телеграфисты, купцы, которые сейчас так безбожно грабят и разбойничают, что же это – тоже не народ? Народ-то – это одни мужики? Нет. Народ сам создает правительство, и нечего все валить на самодержавие. Очевидно, это и есть самая лучшая форма правления для русского народа, недаром же она продержалась триста лет! Ведь вот газеты! До какой степени они изолгались перед русским обществом. И все это делает русская интеллигенция. А попробуйте что-нибудь сказать о недостатках ее! Как? Интеллигенция, которая вынесла на своих плечах то-то и то-то, и т.д. О каком же здесь можно думать исправлении недостатков, о какой правде писать, когда всюду ложь! Нет, вот бы кому рты разорвать! Всем этим Михайловским, Златовратским, Короленкам, Чириковым!.. А то: «мирские устои», «хоровое начало», «как мир батюшка скажет», «Русь тем и крепка, что своими устоями» и т.д. Все подлые фразы! Откуда-то создалось совершенно неверное представление о организаторских способностях русского народа. А между тем нигде в мире нет такой безорганизации! Такой другой страны нет на земном шаре! Каждый живет только для себя. Если он писатель, то он больше ничего, кроме своих писаний, не знает, ни уха ни рыла ни в чем не понимает. Если он актер, то он только актер, да и ничем, кроме сцены, и не интересуется. Помещик?.. Кому неизвестно, что представляет из себя помещик, какой-нибудь синеглазый, с толстым затылком, совершенно ни к чему не способный, ничего не умеющий. Это уж стало притчей во языцех. С другой же стороны – толстобрюхий полицейский поводит сальными глазками – это «правящий класс».

24 марта 16 г.

Яркий, настоящий весенний день. Крупные облака в серых деревьях, серые стволы имеют необыкновенно прелестный тон и глянец. Напоминает картины Бэклина [84].

После обеда стреляли в галок. «….» Какое-то приторное, гадкое впечатление. Мы еще совершенные звери. А из-за вала мрачно – равнодушно глядел какой-то рыжий малый. Собирается идти добровольцем на войну. Почему? Целый рассказ! – "А если убьют?" – "Ну, что ж. Все равно". «…»

25 марта.

Облачный день, на черно-жирных буграх остатки талого снега – что-то траурное. Опять видели возле попа мужика, утопившего лошадь и розвальни в колдобине, полной воды и снега. Лошадь серая, лежит на животе, вытянув передние ноги и карабкается ими, а мужик бьет ее кнутовищем по голове, из которой смотрят человеческие глаза. На помощь ему подошел другой, и оба долго, раздумывая и заходя с разных сторон, пытались ее вытащить.

Пьеса А. Вознесенского "Актриса Ларина". Я чуть не заплакал от бессильной злобы. Конец русской литературе! Как и кому теперь докажешь, что этого безграмотного удавить мало! Герой-Бахтин – почему он с такой дворянской фамилией? – называет свою жену Лизухой. "Бахтин, удушливо приближаясь…" – "Вы обо мне не тужьте…" (вместо "не тужите") и т.д. О, Боже мой, Боже мой! За что Ты оставил Россию!

Вечером на кладбище. Месяц блестит в перепутанных сучьях, большая Венера, но все-таки как-то сумрачно и траурно от земли и кое-где лежащего снега.

Потом небо стало туманиться и деревья стали еще тоньше и красивее.

Перечитал "Дядю Ваню" Чехова. В общем, плохо. Читателю на трагедию этого дяди, в сущности, наплевать.

26 марта.

После обеда были на Казаковке, на мужицкой сходке. Изба полна. За столом несколько замечательных лиц. Лысый, с острым черепом старик в розовом полушубке; старик со вздернутым носом и хитрыми глазами; старик с желто-кафейным, морщинистым лицом; мужик с черной курчавой бородкой и ярко-румяными щеками, все время игравший как на сцене. Очень хорош, как всегда для меня, запах полушубков. «…»

27 марта.

После обеда сидели в избе Ивана Ульянова. Очень милый старик с постоянным приятным смехом. Две половины. Первая маленькая, с мокрым земляным полом. Тут всегда сидит полуслепая старуха. Во второй – с выбеленными стенами и горшочками для цветов на окнах – живет он сам и его жена, пожилая и уже вянущая. Вошли – она за работой возле окна, он на хорах в полушубке, курит. Солнце ярко освещает часть избы. «…»

А как влияет литература! Сколько теперь людей, у которых уже как бы две души – одна своя, другая книжная! Многие так и живут всю жизнь

начитанной жизнью.

30 марта.

На крыльце у Александра Пальчикова. Богат, а возле избы проходу нет от грязи и навозу. Полушубок, кубовая рубаха, видная из расстегнутого ворота, серо-серебристая борода. Весеннее небо, жидкие облака, ветер дует в голые деревья, качает их, а он говорит: "Ничего не будет после войны, все брешут. Как же так? Если у господ землю отобрать, значит, надо и у царя, а этого никогда не допустят". С большим удовольствием рассказывал, как ему на службе полковник раз "засветил пощечину". Крепостного права не хочет, но говорит, что "в крепости" лучше было: "Нету хлеба – идешь на барский двор… Как можно!"

Роман Григорьевой в "Совр. мире". Ее героиня, "легкая, воздушная", "затесалась в толпу…". Кончена русская литература!

1 апреля.

«…» Больной старик греется на солнце возле избы. Задыхается. В нашу победу не верит. "Куда нам!" «…»

Коля рассказывал, что встретил в "Острове" двух почти голых ребятишек – в рваных лохмотьях, в черных и мокрых, сопревших лаптях. Тащили хворост, увидали Колю – испугались, заплакали… И для этого-то народа требуют волшебных фонарей! От этого-то народа требуют мудрости, патриотизма, мессианства! О разбойники, негодяи!

2 апреля.

Фельетон Сологуба: "Преображение жизни". Надо преображать жизнь, и делать это должны поэты. А так как Сологуб тоже причисляет себя к поэтам, то и он преображает, пиша. А писал он всегда о гнусностях, о гадких мальчиках, о вожделении к ним. Ах, сукины дети, преобразители.

5 апреля.

Жаркий последождевой день.

Охота в Скородном на вальдшнепов. «…» В лес пошли от караулки. В редких жидких верхушках деревьев белые глыбы грозовых облаков. Гремел гром. По низам прохлада, колокольчиками звенят птицы. Кое-где снег, ослепительный на солнце, на нем легкие лазурные отблески неба.

Возле караулки Настька моет калоши, собирается в церковь. Желтое страшно яркое на солнце платье. В избе дышать нечем, натоплено, все купались. Федор с мокрыми волосами, розовый.

При возвращении домой на несколько минут густой быстрый дождь. Все думаю о той лжи, что в газетах насчет патриотизма народа. А война мужикам так осточертела, что даже не интересуется никто, когда рассказываешь, как наши дела. "Да что, пора бросать. А то и в лавках товару стало мало. Бывало, зайдешь в лавку…" и т.д.

8 апреля.

Уезжаем в Москву, на Становую, на тройке. «…»

Никогда в русской литературе не было ничего подобного. Прежде за одну ошибку, за один неверный звук трепали по всем журналам. И никогда прежде русская публика не смотрела на литературу такими равнодушными глазами. Совершенно одинаково она восхищается и Фра Беато и Анжелико, и Барыбой Городецкого [85]. «…»

23 мая 16 г. Елец.

У парикмахера. Стрижет, и разговариваем. Он про женский монастырь (оговорился от привычки быть изящным): дамский монастырь.

Для рассказа: встречный пароход на Волге всегда страшно быстр; ночь, уездн. город. Крепкий костяной стук колотушки.

Беллетрист. Пошлость "Белая, как дебелая купчиха". «…»

Пьяный мужик шел и кричал: Проем усе именье. Сам зароюсь у «неразборчиво».

В этом вся Русь. Жажда саморазорения, атавизм.

26. VI. 16.

Гнало ветром дождь. Сейчас – 7 часов вечера – стихло. Все мокро, очень густо-зелен сад. За ним, на пыльной туче, бледная фиолетово-зеленая радуга. Хрипел гром. «….»

27 октября 1916 г.

Читаю записки В. Бертенсона "За тридцать лет". Еще раз убеждаюсь в ничтожестве человеческих способностей – сколько их, людей, живших долго, видевших очень многое, вращавшихся в обществе всяких знаменитостей и обнаруживших в своих воспоминаниях изумительное ничтожество. Вспоминаю книгу Н. В. Давыдова-то же думал и ее читая [86].

Прочел (перечел) "Дневник Башкирцевой" [87]. «…» Все говорит о своей удивительной красоте, а на портрете при этой книжке совсем нехороша. Противное и дурацкое впечатление производит ее надменно-

вызывающий, холодно-царственный вид. Вспоминаю ее брата, в Полтаве, на террасе городского сада. Наглое и мрачное животное, в башке что-то варварски-римское. Снова думаю, что слава Б. (основанная ведь больше всего на этом дневнике) непомерно раздута. Снова очень неприятный осадок от этого дневника. Письма ее к Мопассану задирчивы, притязательны, неуверенны, несмотря на все ее самомнение, сбиваются из тона в тон, путаются и в конце концов пустяковы. Дневник просто скучен. Французская манера писать, книжно умствовать; и все – наряды, выезды, усиленное напоминание, что были такие-то и такие-то депутаты, графы и маркизы, самовосхваление и снова банальные мудрствования. «…»

Мой почерк истинное наказание для меня. Как тяжко и безобразно ковыляю я пером. И всегда так было – лишь иногда немного иначе, легче.

Душевная и умственная тупость, слабость, литературное бесплодие все продолжается. Уж как давно я великий мученик, нечто вроде человека, сходящего с ума от импотенции. Смертельно устал, – опять-таки уж очень давно, – и все не сдаюсь. Должно быть, большую роль сыграла тут война, – какое великое душевное разочарование принесла она мне!

24 уехала Вера, на тройке, на Становую. Мы с Колей на бегунах провожали ее до поворота на Озерскую дорогу. «…»

Коля по вечерам мне читает. «…» Продолжаем "Мелкого беса". Тоже хорош! Не запомню более скучной, однообразной книги. «…» В стихах у него был когда-то талант. «…»

28 октября 16 г.

Почти весь день тихо, тепло, туман. Ходил с ружьем за голубями. Кисловато пахнет гнилью трав и бурьянов, землей.

Ночь изумительная, лунная. Гуляли, дошли до пушешниковского леса. Вдали, низко по лесной лощине, туман – так бело и густо, как где-нибудь в Нижегородской губ.

29 октября 16 г.

Не запомню такого утра. Ездили кататься – обычный путь через пушешниковский лес, потом мимо Победимовых. С утра был иней на деревьях. Так удивительно хорошо все, точно это не у нас, а где-нибудь в Тироле.

Писать не о чем, не о чем!

4 декабря 16 г.

Четыре с половиной часа. Зажег лампу. За окнами все дивно посинело.

Точно вставлены какие-то сказочные зелено-синие стекла.

Вчера прекрасный морозный вечер. Кривоногие китайцы-коробейники. Называли меня "дядя".

1917

11 июня 17 г.

Все последние дни чувство молодости, поэтическое томление о какой-то южной дали (как всегда в хорошую погоду), о какой-то встрече…

В ночь на пятое Коля уехал в Елец – переосвидетельствование белобилетчиков. Все набор, набор! Идиоты. «…»

Шестого телеграмма от Веры. Седьмого говорил с ней по телефону в Елец. Условились, что я приеду за ней и Колей, а по дороге заеду к Ильиным. Вечером Антон (австриец) отвез меня на Измалково. На станции "революционный порядок" – грязь, все засыпано подсолнухами, не зажигают огня. Много мужиков и солдат; сидят на полу, и идиотски кричит Анюта-дурочка. В сенях вагона 1-го класса мешки, солдаты. По поезду идет солдатский контроль. Ко мне: сколько мне лет, не дезертир ли? Чувство страшного возмущения. Никаких законов – и все власть, все, за исключением, конечно, нас. Волю "свободной" России почему-то выражают только солдаты, мужики, рабочие. Почему, напр., нет совета дворянских, интеллигентских, обывательских депутатов? «…»

15 июня 1917 г.

10 часов веч. Вернулись из Скородного. Коля, Евгений (который приехал вчера с Юлием из Ефремова) и Тупик ездили в усадьбу Победимовых, я, Юлий и Вера пошли к ним навстречу. День прекрасный, вечер еще лучше. Особенно хороша дорога от Крестов к Скородному – среди ржей в рост человека. В лесу птичий звон – пересмешник и пр. Возвращались – уже луна над морем ржей.

У Бахтеяровой сейчас хотели отправить в Елец для Комитета 60 свиней. Пришли мужики, не дали отправить.

Коля рассказывал, что Лида говорила: в с. Куначьем (где попом отец Ив. Алексеевича, ее мужа) есть чудотворная икона Николая Угодника. Мужики, говоря, что все это "обман", постановили "изничтожить" эту икону. Но 9-го мая разразилась метель – испугались.

Тупик говорит, что в с. Ламском мужики загалдели, зашумели, когда в церкви запели: "Яко до царя": "Какой такой теперь царь? Это еще что такое?"

В Ефремове в городском саду пьяный солдат пел: Выну саблю, выну вострy И срублю себе главу – Покатилася головка Во зеленую траву.

Замечательно это "себе".

В Ефремове мужики приходили в казначейство требовать, чтобы им отдали все какие есть в казначействе деньги: "Ведь это деньги царские, а теперь царя нету, значит, деньги теперь наши". «…»

7 июля.

«….» О бунте в Птб. мы узнали еще позавчера вечером из "Раннего утра", нынче вести еще более оглушающие. Боль, обида, бессильная злоба, злорадство.

Бунт киевский, нижегородский, бунт в Ельце. В Ельце воинского начальника били, водили босого по битому стеклу.

13 июля 17 г.

Все еще мерзкая погода. Холодно, тучи, сев.-западный ветер, часто дождь, потом ливень. Газетами ошеломили за эти дни сверх меры. Хотят самовольно объявить республику. «…»

27 июля 17 г.

Счастливый прекрасный день.

Деревенскому дому, в котором я опять провожу лето, полтора века. И мне всегда приятно вспоминать и чувствовать его старину. Старинный, простой быт, с которым я связан, умиротворяет меня, дает отдых среди моих постоянных скитаний. А потом я часто думаю о всех тех людях, что были здесь когда-то, – рождались, росли, любили, женились, старились и умирали, словом, жили, радовались и печалились, а затем навсегда исчезали, чтобы стать для нас только мечтою, какими-то как будто особыми людьми старины, прошлого. Они, – совсем неизвестные мне, – только смутные образы, только мое воображение, но всегда со мною, близки и дороги, всегда волнуют меня очарованием прошлого.

Еще утро, легкий ветерок проходит иногда по комнате, – открыты все окна. Которое нынче число? Если бы я даже не знал какое, я бы и так, кажется, мог сказать, что это конец июля, – так хорошо знаю я все малейшие особенности воздуха, солнца всякой поры года. В то окно, что влево от меня, косо падает на подоконник радостный и яркий солнечный свет и глядит зеленая густота сада, блестящая под солнцем своей несметной листвой, в глубине своей таящая тень и еще свежую прохладу и то замирающая, затихающая, то волнующаяся и тогда доходящая до меня шелковистым, еще совсем летним шорохом. В другие окна я вижу прежде всего ветви и сучья старых деревьев – серебристого тополя, сосен и пихт, –

и бледно-голубое небо среди них, а ниже, между стволами, деревенскую даль: слегка синеющий на горизонте вал леса, желтизну уже скошенных и покрытых копнами полей, ближе – раскинувшееся по склону к мелкой речке поместье Бахтеярова, а затем, уже совсем близко, – старую низкую ограду нашей усадьбы, молодые елки, идущие вдоль нее, и часть двора, густо заросшую крапивой, – и глухой и жгучей, – которую припекает солнце и над которой реет крупная белая бабочка. Уже по одному тому, как высока крапива, мог бы я безошибочно определить, какое сейчас время лета. А кроме того, сколько едва уловимых, но мне столь знакомых, родных с детства, совсем особых запахов, присущих только рабочей поре, косьбе, ржаным копнам!

И течет, течет мое спокойное, родное, счастливое деревенское летнее утро. Смотрю на пятна тени, косо испещрившей под елками ограду, на крапиву, на бабочку; потом на тихо колеблющуюся возле окон серо-зеленую бахрому корявых горизонтальных сучьев пихты, на воробьев, иногда садящихся на солнечный подоконник и с живым, милым, как будто чуть-чуть насмешливым любопытством оглядывающих мою комнату. Не слушая, я слышу то непередаваемое, летнее, как будто слегка завораживающее, что производят летающие вокруг меня и роящиеся на подоконнике мухи, слышу шорох сада, отдаленные крики петухов – и чуть внятную детскую песенку кухаркиной девочки, которая все бродит под моими окнами в надежде найти что-нибудь, дающее непонятную, но великую радость ее маленькому бедному существованию в этом никому из нас не понятном, а все-таки очаровательном земном мире: какой-нибудь пузырек, спичечную коробку с картинкой… Я слушаю эту песенку, я думаю то о том, как вырастет эта девочка и узнает в свой срок все то, что когда-то и у меня было, – молодость, любовь, надежды, – то о том, где теперь косят работники, – верно уже у Крестов, – то о Тиверии, о Капри… Почему о Тиверии? Очень странно, но мы не вольны в своих думах. И я представляю себе вот такое же, как сейчас, летнее утро, с тем же самым солнцем, что горит на моем подоконнике, и совершенно ясно вижу белый мраморный дворец на горном обрыве острова, столь знакомого мне, и этого человека, которого называли императором и который жил, в сущности, очень недавно, – назад тому всего сорок моих жизней, – и очень, очень немногим отличался от меня; вижу, как сидит он в легкой белой одежде, с крупными голыми ногами в зеленоватой шерсти, высокий, рыжий, только что выбритый, и щурится, глядя на блестящий под солнцем, горячий мозаичный пол атрия, на котором лежит, дремлет и порой встряхивает головой, сгоняя с острых ушей мух, его любимая собака…

Во втором часу вышел из дому, пошел в сад по липовой аллее, в конце которой, за воротами, светлело, белело небо. Земля суха и тверда, приятно идти, на земле лежат уже кое-где палевые листья. Солнце скрылось, потускневший сад был под синеватой тучей, заходившей с юга, – очень хорошо. За воротами серо-зеленые бугры кладбища (давно упраздненного), дальше открытое поле, желтое, покрытое где-то копнами, кое-где рядами. Удивительная бирюза между ними на севере, сладкий, еще совсем летний ветер дует с юга из-под тучи, и еще по-летнему доносится хлопанье перепела.

Четвертый час. Крупный ливень, град, – даже крыша от него дымилась как будто. К северу из-за тучи белая гора другой тучи и млеющий синий яхонт неба. В комнате с решетчатыми окнами сырая свежесть, запах дождя, мокрой крапивы, травы.

Пять часов. Сад на низком фоне свинцово-синей тучи. Высовывался из окна под редкие капли дождя на эту сырую пахучую свежесть, в одной рубашке – необыкновенно приятно, но почему-то страшно напомнило детство, свежесть и радость первых дней жизни.

Все дождь – до заката. К закату стало на западе, под тучей, светиться. Сейчас шесть. В комнате от заката, сквозь ветки палисадника, пятно странного зелено-желтого света.

Опять прошел день. Как быстро и как опять бесплодно!

Глотово. 1 августа 1917 г.

Хорошая погода. Уехала Маня. Отослал книгу Нилуса Клестову [88]. Письмо Нилусу. Низом ходил в Колонтаевку. Первые признаки осени – яркость голубого неба и белизна облаков, когда шел среди деревьев под Колонтаевкой, по той дороге, где всегда сыро.

Слух от Лиды Лозинской, – Ив. С. в лавке говорил, что на сходке толковали об "Архаломеевской ночи" [89] – будто должна быть откуда-то телеграмма – перебить всех «буржуев» – и что надо начать с Барбашина. Идя в Колонтаевку, зашел на мельницу-то же сказал и Сергей Климов (не зная, что мы уже слышали, что говорил Ив. С.): на деревне говорили, что надо вырезать всех помещиков.

Позавчера были в Предтечеве – Лихарев сзывал земельных собственников, читал устав "Союза земельных собственников", приглашал записываться в члены. Заседание в школе. Жалкое! Несколько мальчишек, Ильина с дочерью (Лидой), Лихарев (Коле сказал – "риторатор"), Влад. Сем., Коля, я (только в качестве любопытного), что-то вроде сельского

учителя в старой клеенчатой накидке и очках (черных), худой старик (вроде начетчика), строгий, в серой поддевке, богач мужик (Коля сказал – Саваоф), рыжий, босый, крепкий сторож училища. У всех последних страшное напряжение и тупость при слушании непонятных слов устава. Приехал Абакумов, привез бумаги на свои владения, все твердил, что его земля закреплена за ним, "остолблена его величеством". Думал, что членские взносы пойдут на "аблаката" (долженствующего защищать интересы земельных собственников).

Генерал Померанцев, гостящий у Влад. Сем., замечательная фигура.

Абакумов вернулся вместе с нами, возбужденный. "Ну, записались! Теперь чтой-то даст бог!"

2 августа.

Очень холодное, росистое утро. Юлий и Коля ездили в Измалково.

День удивительный. В два часа шли на Пески по саду, по аллее. Уже спокойно, спокойно лежат пятна света на сухой земле, в аллее, чуть розоватые. Листья цвета заката. Оглянулся – сквозь сад некрашеная железная, иссохшая крыша амбара блестит совершенно золотом (те места, где стерлась шелуха ржавчины).

Перечитывал Мопассана. Многое воспринимаю по-новому, сверху вниз. Прочитал рассказов пять – все сущие пустяки, не оставляют никакого впечатления, ловко и даже неприятно щеголевато – литературно сделанные.

Был Владимир Семенович. Отличный старик! Как Абакумов, не сомневается в своем пути жизненном, в своих правах на то и другое, в своих взглядах! Жалуется, что революция лишила его прежних спокойных радостей хозяйства, труда.

3 августа.

Снова прекрасный день, ветер все с востока, приятно прохладный в тени. На солнце зной. Дальние местности в зеленовато-голубом тумане, сухом, тончайшем.

Продолжаю Мопассана. Места есть превосходные. Он единственный, посмевший без конца говорить, что жизнь человеческая вся под властью жажды женщины.

В саду по утрам, в росистом саду уже стоит синий эфир, сквозь который столбы ослепительного солнца. До кофе прошел по аллее, вернулся в усадьбу мимо Лозинского, по выгону. Ни единого облачка, но горизонты не прозрачные, всюду ровные, сероватые. Коля, Юлий, я ездили в Кочуево к Ф«едору» Д«митриевичу» за медом. Возвращались (перед

закатом), обогнув Скородное. Разговор, начатый мною, опять о русском народе. Какой ужас! В такое небывалое время не выделил из себя никого, управляется Гоцами [90], Данами [91], каким-то Авксентьевым [92], каким-то Керенским [93] и т.д.!

4 августа. Ночью уехал (в Ефремов) Женя [94]. Почти все утро ушло на газеты. Снова боль, кровная обида, бессильная ярость! Бунт в Егорьевске Рязанской губернии по поводу выборов в городскую думу, поднятый московским большевиком Коганом, – представитель совета крестьянско-рабочих депутатов арестовал городского голову, пьяные солдаты и прочие из толпы убили его. Убили и товарища городского головы.

"Новая жизнь" по-прежнему положительно ужасна! Наглое письмо Троцкого из "Крестов" «?» – напечатано в "Новой жизни" [95].

День – лучше желать нельзя.

Если человек не потерял способности ждать счастья – он счастлив. Это и есть счастье.

8 августа.

Шестого ездил в Каменку к Петру Семеновичу. Когда сидели у него, дождь. Он – полное равнодушие к тому, что в России. "Мне земля не нужна". "Реквизиция хлеба? Да тогда я и работать не буду, ну его к дьяволу!"

Погода все время прекрасная.

Нынче ездили с Колей в Измалково. Идеальный августовский день. Ветерок северный, сушь, блеск, жарко. Когда поднимались на гору за плотиной Ростовцева, думал, что бывает, что стоит часа в четыре довольно высоко три четверти белого месяца, и никто никогда не написал такого блестящего дня с месяцем. Люблю август – роскошь всего, обилие, главное – огороды, зелень, картошка, высокие конопли, подсолнухи. На мужицких гумнах молотьба, новая солома возле тока, красный платок на бабе…

Колю подвез к почте, сам ждал его возле мясной лавчонки. Возле элеватора что-то тянут – кучка людей сразу вся падает почти до земли. Из южного небосклона выступали розоватые облака.

Поехали домой – встретили на выгоне барышню и господина из усадьбы Комаровских. Он весь расхлябанный по-интеллигентски: болтаются штаны желтоватого цвета, кажется, в сандалиях, широкий пояс, рубаха, мягкая шляпа, спущены поля, усы, бородка – a la художник.

9 августа.

Ездили с Верой в Предтечево. Жаркий дивный день. Поехали к Романовским за медом, не доехали – далеко чересчур мост, повернули назад, поехали к Муромцевым. «…»

11 августа.

С утра чудесный день. Вера не совсем здорова, опять боль, хотя легкая, там же, где в прошлом году, и под ложкой. Беспокойное темное чувство.

Перед вечером к Федору Дмитриевичу на дрожках – я, Коля, Юлий. Потом кругом Колонтаевки. Тучи с запада. В лесу очень хорошо, я чувствовал тайный восторг какой-то, уже чувствуется осенняя поэзия. Дорога в лесу и то уже осенняя отчасти. Когда выехали на дорогу – грандиозная туча с юга, синяя. Ливень захватил уже на дворе.

Дней десять тому назад начал кое-что писать, начинать и бросать. Потом вернулся к делу Недоноскова. Нынче уже опять почувствовал тупость к этой вещи.

13 августа.

Как и вчера, день с разными тучками и облаками, – небом «?» необыкновенной красоты. Вчера опять ездили с Колей к Федору Дмитриевичу за медом. Умиляющее предчувствие осени.

Нынче Коля уехал в Ефремов. Совсем уехала кухарка с детьми, с Жоржиком. Я возле телеги шутил с ним, целовал (как не раз и прежде) – они уехали, даже головой не кивнув. Животные!

Ходили с Юлием к Вас… Дежурному. Заходили тучи, была жара. Потом разошлось, прелестная погода. Сидели в лощинке, читали газету. Потом по деревне. Грязь, все развалено. Собственно, никто ничего не делает почти круглый год. А Шмелевы лгут, лгут про русский народ! [96]

Кажется, одна из самых вредных фигур – Керенский. И направо и налево. А его произвели в герои.

Читал "Наше сердце".

"Хвост и ухи отрубить (собаке) – злей будет". Как глупо!

14.VIII.

Проснулся от юношески сильной эр«отики», – сон, что мне отдалась в первый раз какая-то девушка, чарующая какой-то простой прелестью.

Девка на варке что-то работает лопатой железной – заносит высоко и ставит ногу на лопату – видел это, выйдя на двор днем, и волновался.

Кончил "Наше сердце". Искусно, местами очень хорошо, но остался

холоден. Так длинно и все об одном и в конце концов пустяковом. Герой совсем не живой и не заражает сочувствием, героиня видна, но тоже как будто неживая.

Утром немного «работал» над "Любовью", немного так – одесское утро (начало – чего, еще не знаю).

Облака и солнце. После обеда я, Юлий и Вера в Колонтаевку. Жара. Вера после болезни еще – прозрачней, что ли. Зашел в контору, там наговорил глупостей с Каблуковым и Дм. Алекс., взял "Раннее утро". Прочел первый день московского совещания [97]. Царские почести Керенскому, его речь – сильно, здорово, но что из этого выйдет? Опять хвастливое красноречье, «я, я» – и опять и направо и налево. Этого совместить, вероятно, нельзя. Городской голова – Руднев! до сих пор не могу примириться! – приветствует совещание, а управские курьеры хулиганят в знак протеста против этого «контрреволюционного» совещания – вылили чернила из всех чернильниц – и управа не работала! Зайчик (солдат наш), «как капля солнца», отражает в себе все главное русской демократии (тот, что прогнал девиц из Ельца, переписывавших хозяйство мужиков, и кричал, чтобы мужики, выбиравшие представителей на выборы в церковный собор, не подписывались – «вас в крепостное право хотят обратить»).

К вечеру свежий ветер с юга, тучи. Лежал на соломе. Облака на восточном горизонте изумительны. Гряды, горы бледно, дымчато-лиловатые (сквозь них бледность белизны внутренней) – краски невиданной у нас нежности, южности.

15 августа.

Весь день с небольшими перерывами сильный прямой дождь (обрушивался еще ночью, я слышал сквозь сон). Бахтеяровская сторона как в дымке. Все еще очень зелено и густо, поэтому похоже на летний дождь.

Засыпая вчера, обдумывал рассказ. Конец 20-х годов, Псковская губерния, приезжает из-за границы молодой помещик, ездит к соседу, влюбляется в дочь. Она небольшая, странная, ко всему безучастная. Чувствует, и она его любит. Объяснение. "Не могу". Почему? Была в летаргии, побывала в могиле. Нынче другой рассказ. А«н»гличанка с термосом. Всюду встречаю – Бренер – Пасс, Алжир, Сицилия, Рим, потом Асуан. Умирает на Элефантине (остров на Ниле) в чахотке. Всю жизнь мыкалась, весь мир "very nice" (очень мил – англ.). Нехороша; как ребенок, радостна.

На висячей зелени-хвое за окном висят бисером стеклянные капли.

Плещет желоб. Статья Кусковой [98]. «Репрессиями не поможешь. Нужно просвещать деревню. Футбол и т.д.».

16 августа.

Шипит сад, волнует, шумит дождь. Ветер, дождь часто припускает. Читал Мопассана, потом Масперо о Египте, – волновался, грезил, думая о путешествии Бауку в Финикию, потом читал Вернон Ли и думал о Неаполе, Капри, вспоминал Флоренцию.

Высунулся в окно. Сорочка со скребом когтей перебралась через потемневший от дождя забор из сада и пробежала мимо окна, улыбнувшись мне дружески, сердечно и замотав хвостом. Как наши души одинаковы!

17 августа.

День прекрасный. Много гуляли с Юлием. Часу в пятом пошли мимо кладбища, потом по лугу в лес, называемый нами "Яруга".

Ночь лунная. Гуляли за садом. Шел по аллее один – соломенный шалаш и сад, пронизанный лунным светом, – тропики. Лунный свет очень меняет сад. Какое разнообразие кружевной листвы, ветвей – точно много-много пород деревьев.

18 августа.

В час уехал Юлий – в Москву. Лето кончилось! Грусть, боль, жаль Юлия, жаль лета, чувство горькой вины, что не использовал лета лучше, что мало был с Юлием, мало сидел с ним, катался. Мы вообще, должно быть, очень виноваты все друг перед другом. Но только при разлуке чувствуешь это. Потом – сколько еще осталось нам этих лет вместе? Если и будут эти лета еще, то все равно остается их все меньше и меньше. А дальше? Разойдемся по могилам! Так больно, так обострены все чувства, так остры все мысли и воспоминания! А как тупы мы обычно! Как спокойны! И неужели нужна эта боль, чтобы мы ценили жизнь?

Читаю эти дни Вернон Ли [99] «Италия». Все восторгается, все изысканно и все только о красивом, о изящном – это скоро начинает приводить в злобу.

20 августа.

Большинство женщин беспокойно мучается недовольством своей жизнью, ищет "цели жизни", изменяет или ждет любовников в надежде, что тогда придет счастье – почему? Оне растут, оне воспитываются в

сознании, им всячески внушают, что оне непременно должны быть счастливы, любимы и т.д.

Чем я живу? Все вспоминаю, вспоминаю. Случалось – увидишь во сне, что был близок с какой-нибудь женщиной, с которой у тебя в действительности никогда ничего не было. После долго чувствуешь себя связанным с нею жуткой любовной тайной. Не все ли равно, было ли это в действительности или во сне! И иногда это передается и этой женщине.

Вчера ездили с Верой на шарабане кататься – к Крестам, потом в Скородное, и вокруг него – обычная дорога, только наоборот. День был прекрасный. Когда выехали, поразила картина (как будто французского художника) жнивья (со вклиненной в него пашней и бархатным зеленым кустом картофеля) – поля за садом, идущего вверх покато – и неба синего и великолепных масс белых облаков на небе – и одинокая маленькая фигура весь день косящего просо (или гречиху красно-ржавую) Антона; и все мука, мука, что ничего этого не могу выразить, нарисовать!

Читал (и нынче читаю) "Завоевание Иерусалима" Гарри. Много времени, как всегда, ушло на газеты. Керенский невыносим. Что сделал, в сущности, этот выскочка, делающийся все больше наглецом? Как смел он крикнуть на Сахарова "трус"?

Все читаю Мопассана. Почти сплошь – пустяки, наброски, порой пошло.

Нынче серо, прохладно, прохлада уже осенняя. Все утро звон – кого-то хоронят. Поминутно, с промежутками: "блям!" Вот кого-то несут закопать… как мы равнодушны друг к другу! Ведь, в сущности, я к этому отношусь как к смерти мухи.

Все гул, гул молотилки паровой последние дни – у Барбашина.

21 августа.

Серый, со многими осенними чертами, с много раз шедшим дождем день.

Пели петухи, ветер мягкий, влажный, с юга, открыта дверь в амбар, там девки метут мучной пол, – осень! Свежая земля в аллеях уже сильно усыпана желтой листвой. Листья вяза шершавые, совсем желтые.

Перечитываю "Федона" [100]. Этот логический блеск оставляет холодным. Как много сказал Сократ того, что в индийской, в иудейской философии!

В девять вечера вышли с Верой – ждали Антона и Колю со станции, пошли к бывшей монополии. Луна была еще низко над нашим садом. Многое еще в очень длинных тенях. Над бахтеяровской стороной ужасное

и мрачное величие сгрудившихся туч, облаков (против луны). Белизна домов там – точно это итальянский городок. Коля опять не приехал.

Газеты. Большевики опять подняли голову. Мартов [101]… требует отмены смертной казни.

В 10 1/2 вышел один гулять по двору. Луна уже высоко – быстро неслась среди ваты облаков, заходя за них, отбрасывала на них круг еле видный, красновато-коричневый (не определишь). За чернотой сада облака шли белыми горами. Смотрел от варка: расчистило, деревья возле дома и сада необыкновенны, точно беклиновские, черно-зеленые, цвета кипарисов, очерчены удивительно.

Ходил за сад. Нет, что жнивье желтое, это неверно. Все серо. На северо-востоке желтый раздавленный бриллиант. Юпитер? Опять наблюдал сад. Он при луне тесно и фантастично сдвигается. Сумрак аллеи, почти вся земля в черных тенях – и полосы света. Фантастичны стволы, их позы (только позы и разберешь).

11 1/2 ч. Лежал в гамаке, качался – белая луна на пустом синем небе качалась как маятник. В спину дуло.

22 августа.

Дождь льет, но день вроде вчерашнего. Начал читать Н. Львову – ужасно [102]. Жалкая и бездарная провинциальная девица. Начал перечитывать «Минеральные воды» Эртеля – ужасно! Смесь Тургенева, Боборыкина, даже Немировича-Данченко и порою Чирикова. Вечная ирония над героями, язык пошленький. Перечитал «Жестокие рассказы» Вилье де Лиль Адана [103]. Дурак и плебей Брюсов восхищается. Рассказы – лубочная фантастика, изысканность, красивость, жестокость и т.д. – смесь Э. По и Уайльда, стыдно читать.

Дочь Аннета. Какая-то почти жуткая девочка, очень крупная, смесь девочки и женщины, – оттого что очень рано стала б…, должно быть?

"Учение есть припоминание". Сократ.

Последние минуты Сократа, как всегда, очень волновали меня.

Вечером приехали Коля с Евгением. Коля в Ефремове все задыхался.

Взята Рига. Орлов рассказывал Коле – где-то церковный сторож запретил попу служить, запер церковь – поп "буржуй", "ездил в гости к Стаховичу".

23 августа.

Вчера после обеда дождь лил до восхода луны, часов до десяти. Нынче

часов с двенадцати опять то же. Похолоднело. Лес за Бахтеяровым в тумане.

Думал о Львовой, дочитав ее книгу. Следовало бы написать о ней рассказ.

Читаю "Стихи духовные" (со вступительной статьей Ляцкого).

Почти весь день нельзя выйти – очень часто осенний ливень.

Вечером Антон привез газеты, письмо Юлия. Юлий с вокзала заплатил извозчику одиннадцать рублей. В газетах – ужас: нас бьют и гонят, "наши части самовольно бросают позиции". Статья Кусковой – "Русские кошмары" – о мужиках, как они не дают хлеба и убивают агентов правительства, разъясняющих необходимость реквизиции хлеба. "Разруха ли"!

24 августа.

С утра сильный ветер, часто припускает дождь.

Перечитываю стихи Гиппиус. Насколько она умнее (хотя она, конечно, по-настоящему не умна и вся изломана) и пристойнее прочих – "новых поэтов". Но какая мертвяжина, как все эти мысли и чувства мертвы, вбиты в размер!

6 ч. 20 м. Свет солнца с заката в комнате – на правой притолоке двери, кусок на красной материи на отвале кровати и на стене над кроватью (на южной стене) – желтый с зеленоватым оттенком. Эти светлые места все испещрены колеблющейся тенью деревьев палисадника, волнуемых ветром. Кажется, переходит в погоду. Читаю стихи Гиппиус "Единый раз вскипает пеной…".

26 августа.

Позавчера вечером были с Верой у Лозинских, – у них оказалось "Русское слово" за двадцать третье. Мы ходили при луне (уже невысокой, три четверти), ждали, пока они дочитают, потом взяли. Аресты великих князей [104], ужасы нашего бегства от Риги, корпус бежал от немецкого полка, переходившего Двину.

Вчера было прохладно и серо, вид уже совсем осенний. Нынче поминутно дождь, ветер косо гонит его, мелкий, с северо-запада, бахтеяровская сторона часто в тумане.

Вчера мы с Колей ходили к Пантюшку. Он ничего, но подошли бабы. Разговор стал противный, злобный донельзя и идиотский, все на тему, как господа их кровь пьют. Самоуверенность, глупость и невежество непреоборимые – разговаривать бесполезно.

Нынче читаю о Владимирско-Суздальском царстве в книге Полевого [105]. Леса, болота, мерзкий климат – и, вероятно, мерзейший, дикий и вульгарно-злой народ. Чувствую связь вчерашнего с этим – и отвратительно.

Дочитал Гиппиус. Необыкновенно противная душонка, ни одного живого слова, мертво вбиты в тупые вирши разные выдумки. Поэтической натуры в ней ни на йоту.

27 августа.

День серый и холодный. Вечером приехал Митя. Его рассказ о трех юнкерах.

28 августа.

Солнечный прохладный день.

29 августа.

День еще лучше. Ходили в контору – я, Вера, Митя. Жуткая весть из Ельца – Митя говорил по телефону: Корнилов восстал против правительства. В четыре часа пошли низом в Колонтаевку. Возвратясь, опять зашли в контору. Весть подтверждается. «…»

30 августа.

Ездили с Митей в Измалково. На почте видел только "Орловский вестник" 29-го. Дерзкое объявление Керенского и еще более – социалистов-революционеров и социал-демократов – "Корнилов изменник". Волновался ужасно [106].

31-го. Телефон из Ельца – Орлов и Арсик – что "состоялось соглашение". Дико! Вера утром уехала с М. Н. Рышковой в Предтечево. Поехали за ней с Митей. Там "Новое время" и "Утро России". Ошалел от волнения. Воззвание Корнилова удивительно! [107]. Вечером газеты – «Русское слово» от 29 и «Р„усский“ г„олос“» «?» от 30-го. Последняя поразила: истерически-торжественное воззвание Керенского: «Всем! всем! всем!» Таких волнений мало переживал в жизни. Просто пришибло.

Нынче весь день угнетен, как не запомню. Снова звонил Митя в Елец. Оказывается, нет, не все еще кончено, "только ночи настали", сказал К., будто взят Курск Калединым [108].

В пятом часу поехал в Жилых за рисом. Дни были хорошие, нынче серо, прохладно, все беззвучно, неподвижно.

В Жилых у плотины девочка навстречу. "Где потребиловка?" – "Вон на той стороне, где камни на амбаре". Двойная изба, в сенцах свиньи. Грязь, мерзость запустения. В одной половине пусто, в углу на соломе хлебы. Милая баба, жена Семена, торгующего. Ждал его. Но сперва пришел пьяный мужик, просил что-то "объяснить". На взводе затеять скандал. Потом старик, которого Семен назвал "солдатом", и молодой малый с гармонией, солдат, гнусная тварь, дезертир, ошалевший, уставший от шатанья и пьянства. Молчал, потом мне кратко, тоном, не допускающим возражений: "Покурить!" Мужиков это возмутило – "всякий свой должен курить!". Он: "Тут легкий". Я молча дал. Когда он ушел, "Солдат" рассказывал, что дезертира они не смеют отправить: пять раз сходку собирали – и без результату: "Нынче спички дешевы… сожжет, окрадет". Вечером газеты, руки дрожат.

2 сентября.

С половины дня ливень и до ночи. И ночью, хотя уже не такой – до утра. "Русское слово" от первого.

3 сентября.

Утром "Русское слово" от 2-го. Опять подлая игра в смену кабинета. Где Корнилов? Все-таки, видимо, ужасно испугались. Первый день я сравнительно спокойней. С утра дождь, потом распогодилось. Но все насыщено водой.

4 сентября.

Письмо от Юлия. Он еще лечится. Это ужасно. Неужели это не придет в норму или будет повторяться?

"Русское слово" от 31-го и 1-го. В совете рабочих депутатов Каменев [109] и Стеклов [110] говорят, что «снесут голову с Корнилова». «Голос народа» от 2-го: Корнилов будто арестован.

Серо, потом то дождь, то солнце. Сейчас полдень. Уехал Евгений.

К вечеру распогодилось.

В десятом часу вечера – газеты. Государственный переворот! Объявлена республика. Мы ошеломлены. – Корнилов арестован.

Воля Гоца, Дана, Либера [111] и т.д. восторжествовала – Россия в их руках! Что же значили эти переговоры Керенского с Кишкиным [112]?! – Авксентьев, Либер в ужасе: «Каледин!».

Заснул почти в два часа.

Ночь была очень светлая, небо засыпано чистейшими звездами.

С неделю уже ровно ничего не делаю.

7 сентября.

Уехал Митя. Мы с Колей ездили по предтечевским лугам, потом через Победимовых и Скородное домой, было солнечно, лес уже по-осеннему в свете и волнении. Мужики все рубят и рубят леса. К вечеру опять на дождь, ехали назад, на севере – мертв«енно»-синеватые облака.

8 сентября.

Погода светлая, хорошая. К вечеру приехал Мишка, возивший Митю: опоздали на поезд, поехали в Елец.

Был в конторе. Сын медника, рабочий, приятный, хорошо осведомлен, но кое в чем путается. И против большевиков, и "Новую жизнь", увидав у меня, назвал "хорошей газетой". Я послал с Митей отказ в "Новую ("Свободную") жизнь".

9 сентября.

Ночью была ужасная гроза, ураган. Нынче хорошо, ветрено, солнечно.

Были на Жадовке, у Сергея Климова. Все в один голос одно: "Корнилов нарочно выпущен немцами" и т.д. В этом и весь призыв его.

Клен в жадовском саду – цвета кожи королька, по оранжевому темно-красное.

Изумительны были два-три клена и особенно одна осинка в Скородном позавчера: лес еще весь зеленый – и вдруг одно дерево, сплошь все в листве прозрачно, багряно-розовой с фиолетовым тоном крови.

Читал Жемчужникова. Автобиография его. Какой такт, благородство!

Сейчас пишу – по рукам, тетради желтый свет заходящего солнца. Оно садится за бахтеяровской усадьбой, как раз против спуска с той горы. По моим часам около шести.

Сергей Климов: "Да Петроград-то мать с ним. Его бы лучше отдать поскорей. Там только одно разнообразие".

11 сентября.

Все пустые дни! Читал Жемчужникова, "Анну Каренину". Приехала М. Ник. Рышкова. Погода холодная, переменчивая, дурная.

12 сентября.

Очень холодно. Кажется, вчера утром – косые космы пухлых низких

облаков грязно-лиловатых, северных, морских по западному горизонту (утром часов в восемь). Среди дня много солнечных моментов, но ветер, прохладно. К вечеру очень холодно – впору полушубок. Луна уже три четверти.

13 сентября.

С утра очень холодно, был за садом, летели листья с кленов, взял один.

Коля в астме. Вечером поехал со мной в Знаменье. Серо, потеплело – дочитал Жемчужникова. В общем, серо, риторика.

14 сентября.

Теплый прелестный день, солнечный. Ездил с Верой в Измалково, перед вечером. Луна три четверти стала видна с пяти часов.

15 сентября.

Проснулся в 6 1/2, еще солнце не показалось; утро удивительное, росистое. День еще лучше. Совсем лето. Все аллеи усыпаны листвой. Читал Минского. Прочел сорок восемь страниц. Ужасная риторика!

Коля все еще болен. Еле выбрался в сад, сидел на скамейке с Верой. Алекс. Петр. плача рассказывал про Ваню.

Газеты. На советы наросла, видимо, дикая злоба у всех. Разъяснение Савинкова [113]. Да, «совершена великая провокация». Керенского следовало бы повесить. Бессильная злоба.

В пять поехали с Верой в Скородное и вокруг него. По дорожке среди осинок. Еще не желтые осинки, но дорога вся усыпана их листвой круглой – сафьян малиновый, лимонный, палевый, почти канареечный есть. Когда выехали, чтобы повернуть направо, кто-то среди деревьев на опушке что-то делал лежа; красного солнца осталось уже половина. Месяц довольно высоко, зеленовато-белый, небо под ним гелиотроповое почти. Хороша та дорога, где всегда грязь! Глубокие колеи – все возят тяжелое, все воруют лес. Возле места, где была Караулка, стояли, вертел курить, дивились на красоту: месяц впереди, в левом направлении, над лесом, кое-где желтые высокие, стройные деревца (кажется, клены), закат направо совсем бесцветный, светлый. Под месяцем «?» опять гелиотропы, ниже и левее синева цвета сахарной бумаги. Вера смотрела направо – дивилась, как зубчата линия леса – на закате. Дальше по просеке – дороге трудно ехать – так много сучьев. Уже темнело (в глубине-то леса). Выехали на опушку, чтобы повернуть направо (караулка), постояли, опять подивились – хорош был кровавый клен. Я взял листок. Он сейчас передо мной, точно его,

бывший светло-палевым, обмакнули в воду с кровью.

Как осенью в лесу, в чаще, вдруг видишь: светит желтизной, выдвинулась ветка орешника. Даже жутко. Когда проехали Победимовых, повернули направо, стали спускаться с горы, закат уже краснел, а луна (направо, над лощиной, полной леса) была на сером, освещенном ею небе. Вообще небо было почти все серое, чуть в глубине синеватое.

Как странно все освещает осенняя заря! – сказал Вере, поднимаясь в гору.

16 сентября.

Все то же: пустота ума, души, довольно тупое спокойствие. Дочитываю "Каренину". Последняя часть слаба, даже неприятна немного; и неубедительна. Помнится, и раньше испытывал то же к этой части. Читаю Минского. Есть хорошее. Все же у него была душевная жизнь.

Ездили кататься. (День прекрасный.) Возле того места, где была караулка, крякнула задняя ось. Дошли пешком. Спеша за мерином, запотел, устал. «…»

Чуть не все за садом засыпано желтой листвой кленов. Уже очень много вершин зарыжело, зажелтело. Как поражает всегда этот цвет! Остров почти весь зелен. Но, едучи кататься, видел осинку в этой зелени – совершенно малиновая!

Луна ночью была необыкновенно ясна. Совсем полная.

17 сентября.

Довольно сильный и прохладный ветер. Сад сипит, кипит. Почти все небо в грифельной мути, облачности. Светлее, где солнце. Еще больше желтых, краснеющих, красно-оранжевых вершин.

Гляжу на бахтеяровский сад: местами – клубы как будто цветной капусты этого цвета.

Вчера, едучи мимо пушешниковского леса, видел вдали, в Скородном (на косогоре, где дорога к Победимовым), целый островок желтого (в которое пущена красная краска – светлая охра? Нет, не то!) – особый цвет осенних берез.

11 1/2 ч. дня. Дочитал "Каренину". Самый конец прекрасно написан. Может быть, я ошибаюсь насчет этой части. Может быть, она особенно хороша, только особенно проста? Были облака, ветер. Ночь была поразительно ясная, луна чиста необыкновенно, в небе ни единого облачка, так все продрал резкий ветер.

22 сентября.

Ездили с Верой в Озерки. Хороший день, но ветер, довольно прохладно, а когда возвращались зарей, то и совсем.

26 сентября.

Два дня были необыкновенно хороши – солнечные, теплые. Вчера отправил письмо Кусковой. Был дождь!

Нынче холодно, низкие синеватые небосклоны с утра. После обеда гуляли втроем. Дивились на деревья за сараем, с поля из-за риги – на сад: нельзя рассказать! Колонтаевка – и желтое, и черно-синее (ельник), и что-то фиолетовое. Зеленее к Семен«о»вкам – биллиардное сукно. Клены по нашему садовому… необыкновенные. – Сказочный – желтый, прозрачные купы. Ели темнеют – выделились. Зелень непожелтевшая посерела, тоже отделяется. Вал весь засыпан желтой листвой, грязь на дороге – тоже. Ночью позавчера поразила аллея, светлая по-весеннему сверху – удивительно раскрыта.

Вообще – листопад, этот желтый мир непередаваем. Живешь в желтом свете.

Сейчас ночь темная, дождь. Был нынче на мельнице. Злобой мужики тайно полны. Разговаривать бессмысленно!

27 сентября.

Абакумов: нет, жизнь при прежнем правительстве – куда красней была! Теперь в… нельзя – того гляди голова слетит.

День несколько раз изменялся. С утра было холодно. Все вспоминаю противный разговор на мельнице – Л«неразборчиво», придирающийся к винокуру, к монопольщику, лгавший, что его мальчишку бросил австриец в окно завода, грозивший "убить" – теперь это слово очень просто! – солдат Алешка…

Ездил с Колей кататься. Лес все рубят.

28 сентября.

Почти летний день. Разговор за «в автографе описка: на – А.Б.» мельницей с "Родным" и другими, шедшими из потребиловки.

Вечером что-то горло.

29 сентября.

Не выхожу. Больно железу, в горле что-то есть. Летний день. Все читаю Фета. Как много…!

30 сентября.

Горло ничего, слава богу. Гуляли. На гумно Андрея С. – там молотьба. А. Пальчиков в очках черных в кожаном футляре подает, серо-бурая борода, темна по окраинам на щеках (как… – «неразборчиво» – как многие старики), бабы одно и то же: "что гуляете, идите к нам солому тресты". По деревне к лесу. День летний. Поразил осинник на мысу – совершенно оранжевый, и так выделилось каждое дерево и выпуклость бугра, и до неприятности похоже на гигантского ужа. Извив тропинки по бугру. Поразителен и осинник в лощине в начале леса, такой же. Все, весь лес необыкновенно сух, шуршит, и непередаваемо прекрасный западе подожженных сушью, солнцем листьев. Блеклая трава засыпана листвой, дубовая листва коричневая на опушке, – дубы все шуршат, все бронзово-коричневые. Говорил, как ничтожно искусство! Поразила декларация правительства, начало: анархия разлилась от Корнилова! О негодяи! И все эти Кишкины, Малянтовичи! Ужасны и зверства и низость мужиков, легендарны.

1 октября.

Утром вышел – как все бедно стало: сад, солнце, бледное небо. Потом день превосходный. Ездили с Колей к Победимовым.

И снова мука! Лес поражает. Как он в два дня изменился: весь желто порыжел (такой издали). Вдали за Щербачевкой шапка леска буро-лиловата, точно мех какой на звере облезает. А какой лес по скату лощины! Сухая золотая краска стерта с коричневой, кленоватой.

2 октября.

Проснулся в шесть. Лежал час. Душа подавлена. Юлий, думы о том, что, может, скоро опустеет совсем мир для меня – и где прежнее – беспечность, надежда на жизнь всего существа! И на что все! И еще – совсем отупела, пуста душа, нечего сказать, не пишу ничего, пытаюсь – ремесло, и даже жалкое, мертвое.

Вчера воззвание Брешко-Брешковской [114] к молодежи – «идите, учите народ!».

Ночью гулял – опять все осыпано бриллиантами сквозь голые ветви. Григорий идет от кума – "пять бутылочек на двоих выпили". "И ты не выпивши?" – "Да нет, ведь я ее чаем гоню…"

Нынче еще беднее утро, хотя прелестное и свежее, бодрое. Уже на кленах на валу на немногих и местами желтая, еще густая листва.

3 октября.

Вчера в три часа с Колей в Осиновые Дворы.

Скородное издали – какой-то рыже-бурый медведь. Ехали через Ремерский лес. Дубки все бронзовые. Сквозь него изумительный пруд, в одном месте в зеркало льется отражение совершенно золотое какого-то склоненного деревца. Караулка, собачонка так зла, что вся шерсть дыбом, – знакомая; выскочил тот старик, радостно-шальной, торопливый, бестолковый, что видел в Скородном. Федор Митрофаныч, конечно, солгал, что у Ваньки отняли ружья, был скандал, он стрелял уток барских на пруде возле этой караулки, но не отняли. "Как ты попал сюда?" – "Позвольте, сейчас…" Страшно-радостно и таинственно: "Поросенка пошел куплять, у Борис Борисыча… Борис Борисыч отвечает…" (вместо "говорит" и очень часто не кстати: хотя). Были в Польском (деревушке). Два совершенно синих пруда – сзади нас, как въезжали на гору – предвечернее солнце. Поразили живописность и уединение Логофетовой усадьбы. Сад, да и ближе деревья – главное рыже-бронзовое, бронзовое. Наше родовое. Охватила мысль купить. Стекла горят серебряной слюдой, луч«езарными» звездами в доме, издали. В Осиновых Дворах два мужика: один рыжий, нос картошкой, ласково-лучистый, профессор, другой – поразил: IV «?» в., Борис Годунов, крупность носа, губ, толстых ноздрей, профиль почти грозно-грубый, черные грубые волосы, под шапкой смешаны с серебром. Должно быть, древние люди, правда, не те были. Какое ничтожество и мелкость черт у ребят молодых! Говорили эти мужики, что они про новый строй смутно знают. Да и откуда? Всю жизнь видели только Осиновые Дворы! И не может интересов«аться» другим и своим государством. Как возможно народоправство, если нет знания своего государства, ощущения его, – русской земли, а не своей только десятины!

Шесть часов вечера. Сейчас выходил. Как хорошо. Осеннее пальто как раз в пору. Приятный холодок по рукам. Какое счастье дышать этим сладким прохладным ветром, ровно тянущим с юга вот уже много дней, идти по сухой земле, смотреть на сад, на дерево, еще оставшееся в коричневатой листве, краснеющей не то от зари (хотя заря почти бесцветна), не то своей краской. Вся аллея засыпана краснеющей, сухой, сморщенной листвой, чем-то сладко пахнущей. Как нов вид на сквозной сад, сквозь который за долиной воздух чуть з«е»леноват, и заря наполняет весь сад розоватым светом. Почти все голо, почти все клены на валу и аллея и т.д., лишь яблони «в» золотисто-бронзоватой мелкой мертвой листве.

Правительство "твердо решило подавить погромы". Смешно! Уговорами? Нет, это не ему сделать! "Они и министры-то немного почище нас!" Вчера в полдень разговор с солдатом Алексеем – бешено против Корнилова, во всем виноваты начальники, "мы большевики, протолериат, на нас не обращают внимания" «…».

Нынче хорошее настроение, написал два стихотворения «неразборчиво.»

Гулял в Колонтаевку, послал утром книгу Белевскому (последний том "Нивы" в переплете).

Нет никого материальней нашего народа. Все сады срубят. Даже едя и пья, не преследуют вкуса – лишь бы нажраться. Бабы готовят еду с раздражением. А как, в сущности, не терпят власти, принуждения! Попробуй-ка введи обязательное обучение! «…» А как пользуются всяким стихийным бедствием, когда все сходит с рук, – сейчас убивать докторов (холерные бунты), хотя не настолько идиоты, чтобы вполне верить, что отравляют колодцы..Злой народ! Участвовать в общественной жизни, в управлении государством – не могут, не хотят за всю историю.

Прогулка в Колонтаевку была дивна: какая сине-темная зелень пихт не пожелтевших! (Есть еще такие, хотя большинство все дорожки усыпали своими волосами.) Шли дорожкой – впереди березы, их стволы, дальше трубы тонкие пихт, серая тьма и сквозь это – сине-каменное небо (солнце было сзади нас, четвертый час). Беклин поймал новое, дивное. А как качаются эти тонкие трубы в острых сучках на стволах! Как плавно, плавно и все в разные стороны!

Возле бахтеяровского омета сквозь голый сад видна уже церковь. Как ново после лета!

Интеллигенция не знала народа. Молодежь Эрфуртскую программу учила! [115]

4 октября.

Вчера было радостное возбуждение – подумал: будет дождь. Так и есть. С утра очень тихо, дождь. Щеглы на "главном" клене. Потом ветер. Часов с трех повернул – с северо-запада. Образовалась грязь. Заходили на мельницу, к Колонтаевке. Листва (почти не изменилась) на сирени. Про яблони, кажется, неверно записал вчера – оне… ну, грязная золотистая охра, что ли, с зеленоватым оттенком. Яблони еще все в листве (такой).

Все читаю Фета (море пошлого, слабого, одно и то же), пытаюсь писать стихи. Убожество выходит! «…»

5 октября.

Вчера вечером около одиннадцати ветер повернул, – с северо-запада. Вызвездило. Я стоял на последней ступеньке своего крыльца – как раз против меня был (на садом) Юпитер, на его левом плече Телец с огоньком Альдебарана, высоко над Тельцом гнездо бриллиантовое – Плеяды.

Нынче очень холодно, ветер почти с севера, солнечный день. Ездил с Колей к Муромцевым. Как хороша его усадьба с этими деревьями в остатках осенней листвы (когда ехали, поразило Скородное далекое «неразборчиво», мех (пух, что ли) зверя – дымчато-серых, кое-где клоки рыжеватой шерсти еще не ощипаны. Далекий лесок под Щербачевкой – цвета сухой малины. Прочие лесочки за «неразборчиво» – все бурое «…»

Петруха, кучер Муромцевых: "Все начальники продают… Мне племянник пишет, он брехать не будя". – Послал книгу Милюкову [116]. (Дня три тому назад – Белоруссову.)

6 октября.

Рано, в шесть, проснулся. Подавленное состояние. Отупел я, обездарел, как живу, что вижу! Позор!

Туман, вся земля белая, твердая. Пошел гулять – кладбище (оно еще в траве) теперь под сединой изморози – малахитовое, что ли.

Лозинский едет в Измалково. Зашел к нему. Сиденье тележки, козлы – как мукой осыпаны. Сад Бахтеярова в тумане грязно темнеет.

Послал книгу Бурцеву (всем одно – 5-6 томы "Нивы") [117].

Вчера читали записку Корнилова. И Керенский молчок! И общество его терпит!

Почти полдень. Горизонт туманен. Тихий, тихий беззвучный день. Так мертва, тупа душа, что охватывает отчаяние.

Десять часов вечера. Гуляли немного за садом, потом по двору. В сущности, страшно. Тьма, ледяная мгла вдали едва различима, но все-таки видна.

Днем выходил: все былинки, полынки седые от инея. Туман (холодный «неразборчиво» весь день). Остров – грязноватое что-то, цвета приблизительно охры, что ли. Лозины деревни вдали – зеленовато-серые… «неразборчиво». Бахтеяровский сад и темно-желтоват и буроватое и т.д. У нас в саду возле вала листва – цвета мути, немного желтее.

Записка Алексеева [118]. Что же русское общество не тянет за усы Керенского?! «…».

7 октября.

Заснул вчера в 11, проснулся нынче в восемь. Несмотря на это, чувство тупости, растерянности еще сильнее. Утром письмо Юлия к Вере от 27 сентября. Мы все очень огорчились: каждый день будни… Ужасно!

День дивный, солнечный, бодрый; ходили в Колонтаевку – похоже все на то, как мы видели в прошлую прогулку туда. – Письмо от Кусковой. Отвечаю.

Сейчас около двенадцати ночи. Изумительная ночь, морозная, тихая, тихая, с великолепнейшими звездами. Мертвая тишина. Юпитер, Телец, Плеяды очень высоко. (Над юго-западом.) На юго-западе Орион. Где Сириус? Есть звезда под Орионом, но низко и слабо видна.

Листва точно холодным мылом потерта. Земля тверда, подмерзла. Ходил за валом. Идешь к гумну мимо вала (по направлению от деревни) – деревья на валу идут навстречу, а небо звездное за ними сваливается, идет вместе со мною, вперед. Сзади идет за мной Юпитер и пр. Идешь назад – все обратно. То же и на аллее. А я писал в "Таньке": "звезды бежали навстречу". Глупо.

Аллея голая стройна, выше и стройнее, чем в листопад.

О, какая тишина всюду, когда я ходил! Точно весь мир прервал дыхание, и только звезды мерцают, тоже затаив дыхание.

8 октября, 11 ч. утра.

Вчера долго не мог заснуть – ужасная мысль о Юлии, о Маше, о себе – останусь один в мире, если Юлий не выздоровеет, и кажется: если даже будет успех, сделаю что-нибудь – для кого, если Юлия не будет! Заснул почти в два.

Нынче проснулся в 8 1/2. Бешенство на Софью – уехали в Измалково! На меня внимания не обращают. Послал с Лозинским: Кусковой, Бунину, Нилусу, Черемнову, Колино письмо к Мите о въезде в Москву (запретили!). Поехал один на дрожках в Скородное – круг обычный (начиная со стороны северной). Утро изумительное. Все крыши, вся земля были белые. Поехал через аллею, ветер вычистил ее середину, вся листва сметена на бока. Думал: "Могучим блеском полон голый сад, синим и сияющим эфиром". В поле дорога еще тверда, кое-где начинает потеть. В каждой колее, где тень, голубая сахарная пудра. По жнивью под солнцем блеск алмазов по остаткам изморози. В лесу светлей, чем думалось. Иногда улавливал горечь листвы мокрой. Повернул по опушке мимо северной стороны леса – тени осинок по блестящей мокрой листве. В лощинке, полной деревьев, блеск мелкого стекла – сучки, оставшиеся листики. Вдоль восточной стороны,

там, где всегда грязь и ухабы по кусочку дороги между деревьями, грязь салится, под салом земля еще твердая; бледно-водянистые зеленя налево, за лугом направо лес по косогору лежащий – веет сизоватый дым, весь почти голый – осинник, среди этого верхушки берез удлиненными купами желтеют (неярко, грязно, темная охра, что ли), выделяются. На просеке снова вдали дроги, лошадь – рубят! «…» Думал о своей "Деревне". Как верно там все! Надо написать предисловие: будущему историку – верь мне, я взял типическое. Да вообще пора свою жизнь написать, спустить шкуру со всей сволочи, какую видел, со всех этих Венгеровых и т.д.

Свернул на лесную дорогу, идущую от Победимовых, – направо. Вся в ухабах глубоких грязи, засыпанной листвой (перед этим все глядел на верхушки берез, сохранивших розовато– и рыжевато-желтую мелкую листву на изумительном небе). Дубы все в коричневой сухой листве. Среди стволов блеклая, вялая сырая, зелень под листвой. Думал – здесь особенно похоже на весну. Если бы ехал весной, тут, в затишье, среди стволов, на спуске с горы, было бы жарко, птицы были бы, сладость, мука радостная, полная надежд на что-то – и на любовь, как всегда! – были бы. Въехал на гору – еще среди стволов четыре подводы, баба с топором, мальчишка. Выехал из лесу – далеко-далеко налево, на юго-востоке, над лугами возле Предтечева светлый белесый пар под солнцем, над ним полный света горизонт. В голове – Одесса, Керчь, утро в ней, солнце, синь густая моря, белый город…

Понемножку читал эти дни "Село Степанчиково" [119]. Чудовищно! Уже пятьдесят страниц – и ни на йоту, все долбит одно и то же! Пошлейшая болтовня, лубочная в своей литературности! «…» Всю жизнь об одном, «о подленьком, о гаденьком»!

В три часа поехали с Колей на Прилепы за конопляным маслом для замазки. Хозяин маслобойки – богач, большой рост, великий удельный князь, холодно серьезен, застали среди двора, ноль внимания. "Масло – два рубля фунт". Пошли в маслобойку, заговорили – и вдруг чудесная добрая улыбка. Вот кем Русь-то строилась. О своих односельчанах как о швали говорил.

Закат с легчайшим, чуть фиолетовым туманом за бахтеяровской усадьбой на зеленях и по бахтеяровскому саду и Колонтаевка в нем. Солнце за бахтеяровским садом садилось огромным расплавленным шаром из золотого, чуть шафранового стекла. Пошел в контору. Там безобразничал негодяй Зайчик.

Ночью гуляли. Туман находил на нас холодный. Вверху звезды.

В двенадцать часов вышел – там вяз смутной массой. Звезды туманны.

Юпитер распустил пленку голубоватую.

9 октября.

Снова такой же дивный день. В три поехали с Колей в Гурьевку, были у Дмитрия Касаткина – "рушник", рушит просо и гречиху. Хозяин – "видно, опять кичится Николаем". Солдат стерва, дурак необыкновенный. "Солдаты зимней одежи не принимают – не хотят больше воевать. Два месяца дали сроку правительству – чтобы сделало мир. Немцы бедным не страшны – черт с ними, пускай идут. Богатые – вот это дело другое. За границу не уедешь – все дороги в один час станут, всех переколем штыками. Начальства мы слушаемся, если хорошее, а если он не так командует, как же ему голову не срезать? Корнилов виноват, семьдесят пять тысяч с фронта взял. Керенский – «…» не лезь, когда не умеешь править. Зачем он умолял наступление сделать?". И т.д.

Старик мужик худой, болезненный, милый и разумный. Баба-мощи, зло (про нас): "Это они все немцами пугают чернородие". – Да, вот что К«еренский» негодяй сделал!

Немцы завладели Рижским заливом.

12 октября.

Позавчера мне исполнилось сорок семь лет. Страшно писать, но порой и утешение мелькает – а, может быть, это еще ничего, может быть, я преувеличиваю значение этих лет?

Позавчера утром поехал с Колей и Мишкой (полуидиот и плут, но ничего себе малый, на старый деревенский лад) в Ефремов. Было похоже, что погода портится, сперва шли лиловатые облака – туман по небу – потом затянуло, день стал серый, ехали на Волжанку, Лебяжку, Березовку и т.д. Дорога по горам и однообразным деревням бесконечна. Деревня тонет в благополучии, – сколько хлеба везде, скотины, птицы и денег! Пусто очень, почти ни души не встретили, и на улицах ни души, только молотят кое-где молотилки. Паровая молотилка в имении на Голицыне. И как никто не интересуется ни немцами, ни "Сов. Рос. Ре«с»п." – и не знает ничего.

Приехали часа в четыре. Евгений в кухне на печке со своим Арсиком. Когда зажгли огонь, прибежали дети Елизаветы Ильинишны Добровольской (Победимовой) – мальчик и девочка, мальчик хотел страстно видеть "живого писателя"; рассказали, что уже начался погром, которого давно ждали в Ефремове. Я пошел в парикмахерскую – слух вздорный, хотя действительно ждут с часу на час. Отврат«ительный» "демократ" завивался самым бл…м образом, завился на 1 р. 75 к. Малый,

что стриг меня, вежливейше спросил: "Под полечку прикажете?" Светила луна (почти 1/2). Ночевал не во флигеле, а в доме, долго разговаривал через дверь с Елизаветой Ильинишной. Она разошлась с мужем, выходит за другого, за пожилого. Я очень удивил ее, угадав, что у него слабые волосы (он довольно большой, блондин, "ждет его десять лет") и что он очень любит ее детей. Не физически, но все-таки волновался близостью женщины за дверью, с которой мы одни в доме, за исключением крепко спящих детей. В три часа проснулся, не спал до шести, приехала в четыре старуха Победимова – я испугался, думал, она на лошадях, бежала от мужиков.

Утро с большой изморозью. Ходили с Евгением за покупками. В 1 ч. уехали. Светлый, прохладный, по свету похожий на летний день, – превосходный. Оглянулся – нежно и грустно защемило сердце – там, в роще лежит мама, которая так просила не забывать ее могилы и у которой на могиле я никогда не был.

Коля задохнулся; всю дорогу молчал. Ехали на Боборыкино, потом на Кожинку, не доезжая Кожинки, свернули, мимо Новиковой, потом под гору, на гору, на мельницы и на Веригину. В Веригине пруд посредине, очень старые избы, богатая деревня. За Веригиной – под гору. За лугами напротив – лес коричневый в лощине, над ним высоко луна (ровно 1/2), профиль бледный, лес весь дубовый, весь в коричневой листве – листва точно в паутине. Боже, какая пустыня! А какая пустыня, какой дикарский поселок – хутор Лукьяна Степанова! Никто не представит себе через сто, двести лет. По лиловому пруду золотая (от месяца) зыбь.

Опять восхитила логофетовская усадьба. Только миновали дом, луна за дубами, горизонт под ней – розовый. Потом быстро ехали, светало, ветреная ночь. Приехали домой в семь.

В Ефремове газеты за девятое и десятое. Открытие "Совета Республики", пошлейшая болтовня негодяя Керенского, идиотская этой стервы-старухи Брешко-Брешковской ("понятно, почему анархия – борьба классов, крестьяне осуществляют свою мечту о земле"). Мерзавец «…» Троцкий призывал «…» к прямой резне.

Нынче ветрено, светлый, прекрасный день. Убирался, запаковывал черный сундук. На полчаса выходил с Верой по направлению к Колонтаевке.

13 октября.

Вот-вот выборы в Учредительное собрание [120]. У нас ни единая душа не интересуется этим.

Русский народ взывает к Богу только в горе великом. Сейчас счастлив – где эта религиозность! А в каком жалком положении и как жалко наше духовенство! Слышно ли его в наше, такое ужасное время? Вот церковный собор – кто им интересуется и что он сказал народу? Ах, Мережковские м…!

Понемногу читаю "Леонардо да Винчи" Мережковского [121]. Ужасный «народился» разговор. Длинно, мертво, натащено из книг. Местами недурно, но почем знать, может быть, ворованное! Несносно долбленье одного и того же про характер Леонардо, противно – слащаво, несносно, как он натягивает все на свою идейку – Христос-Антихрист!

"Нигде не видал таких красок – темных и в то же время таких ярких, как драгоценные камни" (стекла в соборе). "Монах откинул куколь с головы".

"Побледневшее на солнце, почти не видное пламя". "Пахло чадом оливкового масла, тухлыми яйцами, кислым вином, плесенью погребов". "Ненавидящий проницательней любящего" (Леонардо). "У художников подражание друг другу, готовым образцам" (Леонардо). "Для великого содержания нужна великая свобода" (Леонардо).

Quant'e bella giovenezza.
Ma si fugge tuttavia
Chi vuol esser lieto, sia:
Di doman' non c'e certezza [122].

День темный, позднеосенний, хмурый. Ветер шумит, порою дождь.

Как нежны, выбриты бывают лица итальянских попов! Вечером и ночью ветер, дождь.

14 октября.

С утра серо, ветер с северо-запада, холодный, сейчас три, мы с Верой гуляли, облака, светит солнце.

На низу сада, возле плетня, слышу матерную брань. Вижу – Савкин сын (кривой), какой-то пьяный мужик лет двадцати пяти, долговязый малый лет двадцати, не совсем деревенского вида.

– Когой-то ругает? Пьяный:

– Да дьякона вашего.

– Какой же он мой.

– Как же так не ваш? А кто ж вас хоронить будет, когда помрете? Вот

П. Ник. помер – кто его хоронил? Дьякон.

– Ну, а вот ты-то дьякона ругаешь, тебя-то кто ж будет хоронить?

– Он мне керосину (в потребиловке) не дает… и т.д. Говорил, что мы рады, что немцы идут, они мужиков в крепостное право обратят нам.

15 октября.

Утро было все белое – вся земля, все крыши, особенно наш двор. Утро и день удивительные.

В школе выборы в волостное земство. Два списка – № 1 и № 2. Какая между ними разница – ни едина душа не знает, только некоторые говорят, что разница в том, что No1 "больше за нас". Это животное, сын Андриана, когда я спросил про эту разницу, закричал: "Да что вы его слушаете, что он дурака валяет!" – с большой злобой. За что? Почему он злобен и на меня? Помимо бессмысленной злобы, убежден, что я не могу не знать этой разницы – думает, что все эти номера для всей России одинаковы. Гурьбой идут девки, бабы, мужики, староста сует им номер первый, и они его несут к "урне". Заходил и вечером – там крик, возмущение, что мужики друг у друга лес рубят, Петр Ар., Сергей Климов за то, чтобы солдат взять. Матрос молодой (Милонов, с Майоровки) кронштадтский сказал: "Не в том суть, чтобы осинку как-нибудь срубить, а в организации, чтобы не к именно капиталистам власть перешла, но народу…" Большевик, йота в йоту повторяет дудочку "Новой жизни" и т. п.

В головах дичь, тьма, – ужас вообще! В "Совете Российской республики" говорят больше всего "евреи".

Вчера ужасное письмо Савинкова.

16 октября.

Мужик: "Нет, и господ нельзя тоже оставить без последствий, надо и их принять к сведению".

Проснулся в шесть. С утра темновато, точно дождь шел. Потом превосходный, хотя сыро-холодный день. (Вчера, гуляя вечером. Вера обиделась, мы стали шутить – "Фома Фомич" – она плакала одна, в саду.)

Вечер поразительный. Часов в шесть уже луна как зеркало сквозь голый сад (если стоять на парадном крыльце – сквозь аллею, даже ближе к сараю), и еще заря на западе, розовооранжевый след ее – длинный – от завода до Колонтаевки. Над Колонтаевкой золотистая слеза Венеры. Луна ходит очень высоко, как всегда в октябре, и как всегда в октябре – несколько ночей полная. Сейчас гуляли, зашли с Верой в палисадник, смотрели на тени в нем, на четкость людской, крыша которой кажется

черной почти, – вспомнился Цейлон даже.

Про политику и не пишу! Изболел. Главное – этот мерзавец, которому аплодируют даже кадеты.

17 октября.

Дни похожи по погоде один на другой – дивная погода. Ни единого облачка ни днем, ни ночью. Все время с вечера – луна и полоса красноватая на закате. Пришла Вера Семеновна с Измалкова. Я отвозил ее в школу. Смотрел с дороги, уже близко от школы – вдали на реке что-то вроде коричневого острова камышей, дальше – необыкновенно прелестная синь речной заводи. По дороге отпотевшая грязь. Ночью подмораживает, морозная роса, тугая земля.

Вечером Вл. Сем. провожал до кладбища Надю. Письмо от Шмелева.

18 октября.

Та же погода. Чувствую себя, дай бог не сглазить, все время хорошо, но пустота, бездарность – на редкость.

Пять с половиною часов вечера. Зажег лампу. В окне горизонт – смуглость желтая, красноватая (смуглая, темная желтизна?), переходящая в серо-зеленое небо, – выше синее – сине-зеленое, на котором прекрасны ветки деревьев палисадника – голого тополя и сосны. Краски чистейшие. Пятнадцать минут тому назад солнце уже село, но еще светло было, сад коричневый.

Прочел Лескова "На краю света". Страшно длинно, многословно, но главное место рассказа – очень хорошо! Своеобразный, сильный человек!

20 октября.

Девять с половиною часов вечера. Прочел статью из "Русской мысли" какой-то Глаголевой: "Раб (Бенедиктов), Эллин (Щербина), Жрец (Фет)". Наивная дурочка.

Критики говорят о поэте только то, что он им сам надолбит.

"Любовь – высшее приближение к духовности" – правда ли это?

Вчера прошел слух (от Лиды), что хотят громить Бахтеяровых. Стал собирать корзину в Москву. Потом поехал с Верой в Измалково отправлять. Погода дивная. Кричал на Веру дорогой – нехорошо! Коля рассказывал, как солдат Федька Кузнецов разговаривал с офицерами, что охраняют бахтеяровское имение, – на "ты" и т.д.

Когда вчера Вера ходила на почту в Измалково, я сидел ждал, всходила раскаленная луна, возле нее небо мрачное, темное. Нынче ездили с Колей в

Предтечево – . говорить по телефону в Елец с комиссаром о въезде в Москву (наш телефон все портят). День поразительный. Дали на юге в светлом тумане (нет, не туман). Были в потребиловке (мерзко!), в волости. Воззвания правительства на стенах. О, как дико, как не связано с жизнью и бесполезно!

Что за цвета были леса, когда мы возвращались! Щербачевка (дубовая) светло – коричневая, поляны (березы) еще есть грязное золото, Скородное – не умею определить.

Десять часов вечера. Густой туман – вот неожиданно! Не выхожу, что-то опять горло.

В Предтечеве возле потребиловки встреча с девицами Ильиными. Леля сказала, что на "Среде" Зилов читал на меня пародию. Гадина!

Читаю "Волхонскую барышню" Эртеля. Плохо. Мужицкий язык по частностям верен, но в общем построен литературно, лживо. И потом, эта тележка, ныряющая по грязи, лукавая пристяжная, и заспанный мальчик, ковыряющий в носу… Никогда не скажет: "надел пальто", а всегда – "облачившись в пальто".

21 октября.

Не выходил – немного горло. День сперва серый, потом с солнцем. Возился весь день – укладывался. Завтра Казанская, могут напиться – вся деревня варит самогонку – все может быть. Отвратительное, унизительное положение, жутко.

В языке и умах мужиков все спуталось. – Никто, впрочем, не верит в долготу этого "демократического рая".

В 1905 году поэты все писали стихи про кузнецов.

Читал отрывки из Ницше – как его обворовывают Андреев, Бальмонт и т.д. Рассказ Чулкова "Дама со змеей". Мерзкая смесь Гамсуна [123], Чехова и собственной глупости и бездарности. Как Сибирь, так «паузка», «пали» и т.д., еще «заимка»…

22 октября.

Все бело от изморози. Чудеснейшее тихое солнечное утро. Звон.

"Забота" – Капри, 24 января – 6 февраля 1913 г.

Это ли не "Петлистые уши". «…»

Мужики и теперь твердят, что весь хлеб "везут" (кто? Неизвестно) немцам.

Радость жизни убита войной, революцией.

Как гадки Пшибышевский, Альтенберг [124]!
Луна – зеркало солнца. Сердцевина мака черная.
Жизнь Фофанова – "сюжет для небольшого рассказа".
Одиннадцать часов утра. Коля напевает под пианино:
"Жил был в Фуле…"
Нет, в людях все-таки много прекрасного!

30 октября.

Москва, Поварская, 26. Проснулся в восемь – тихо. Показалось, все кончилось. Но через минуту, очень близко – удар из орудия. Минут через десять снова. Потом щелканье кнута – выстрел. И так пошло на весь день. Иногда с час нет орудийных ударов, потом следуют чуть не каждую минуту – раз пять, десять. У Юлия тоже.

Горький, оказывается, уже давно (должно быть, с неделю) в Москве. Юлий мне сказал позавчера, что его видели в "Летучей мыши", – я не поверил. Вчера Вера говорила с Катериной Павловной [125], по телефону. Катерина Павловна – «обе стороны ждут подкреплений». Затем сказала, что Алексей Максимович у нее, что если я хочу с ним поговорить и т.д. «…»

Часа в два в лазарет против нас пришел автомобиль – привез двух раненых. Одного я видел, – как его выносили – как мертвый, голова замотана чем-то белым, все в крови и подушка в крови. Потрясло. Ужас, боль, бессильная ярость. А Катерина Павловна пошла нынче в Думу (Вере нынче опять звонила) – она гласная, верно, идет разговор, как ликвидировать бой. Юлий сообщает, что Комитет общественного спасения послал четырех представителей на Николаевский вокзал для переговоров с четырьмя представителями Военно-революционного комитета – чтобы большевики сдали оружие, сдались. Кроме того, идут будто бы разговоры между представителями всех соц«иалистических» партий вкупе с большевиками, чтобы помириться на однородном социал«истическом» кабинете. Если это состоится, значит, большевики победили. Отчаяние! Все они одно. И тогда снова вот-вот скандалы, война и т.д. Выхода нет! Чуть не весь народ за "социальную революцию".

22-го – во втором часу пленный из Предтечева, верхом – громят Глотово. Я ждал Казанской, многое убрал, – самогонка, праздник и слух о 20-м октября, о выступлении большевиков – все предвещало, что многое может быть. Через час – пьяный мужик из Предтечева: "Там все бьют, там громят, мельницу Селезневскую разнесли… Уезжайте скорее!" Цель – разносит слухи, оповещает всех, хотя прикидывается возмущенным, и

кроме того всюду берет на водку. Мой рубль швырнул – "я тебе сам пять целковых дам!". Я заорал, он струсил, взял рубль. С двух с половиною дня до трех ночи я убирался, заснул «в» два часа, в пять встал, в семь выехали – я, Коля, Вера. Мишка и Антон сзади на телеге с вещами. Туман, дорога вся в ухабах из застывшей грязи, лошади ужасные. До большой дороги была мука. Под Становой остановились, закусывали, баб тридцать из Кириловки, идут в Становую что-то получать (солдатки, кажется). Завязался разговор. Я выпил – иначе такой глупости не сделал бы. Злоба – "вы, буржуи, капиталисты, войну затеяли". Да, началось с насмешки над нами: "А плохо вам теперь!" Я сказал – "погоди, через месяц и вам будет плохо". – "А! вот как! Значит, ты знаешь! Почему же это нам будет плохо? Говори!" Я стал говорить как елецкий мещанин (плюс мой полушубок и весь наш вид жалкий). Подошел кто-то, что-то "товарищеское", хотя мужик (молодой)… (Ох! ужасный удар!) (Сейчас пять дня.) (Опять!) "Что? Плохо? Вы почему ж это знаете?" (Очень строго.)

О, позор, о, жуткое чувство! (Опять удар.) Я вильнул – "через месяц Учредительное собрание" – собрал вожжи и поскорее ехать. Возле шлагбаума колесо рассыпалось. До Ельца пешком – тяжко! Жутко! Остановят, могут убить. В Ельце все полно. Приютили нас Барченко. Вечером (опять удар!) у нас гости, я говорил лишнее, – выпил. 24-е пробыли в Ельце. Отовсюду слухи о погромах имений. Вл«адимира» Сем«еновича» все Анненское разгромили. Жгут хлеб, скотину, свиней жарят и пьют самогонку. (Опять!) У Ростовцева всем павлинам голову свернули. (Опять!) 25-го выехали вместе с Б. П. Орловым. В вагоне в проходе – солдаты, солдат из Ламского весело и хорошо рассказывал, как Голицыны с тремя – четырьмя ингушами и попом (опять!) отбивались от мужиков и солдат. Голицына П. А. ранили. 26-го на Курском вокзале узнали, что в Москве готовят бинты, кареты скорой помощи и т.д. – будет бой с большевиками. Два извозчика – сорок рублей. 27-го был в городе – везде равнодушие – "а, вздор, это уже давно говорят". Какие-то два солдата мне (опять!) сказали, что начнется часов с семи. В пять – к Телешовым. Мимо трамвая – поп, народ, несли чудотворную икону. На углу Пречистенки бабы – "большевики стреляли в икону". От Телешовых благополучно дошли, хотя казалось, по городу уже шла стрельба. 28-го мы стрельбы почти не слыхали, выходили.

Все было ожидание «…» Слухов – сотни (опять!). "Каледин диктатор, идет в Москву" и т.д. "Труд" (газетка Минора) врала, что в Петербурге все (о, ужас, какой удар, всего потрясло) кончено – большевики разбиты. Вчера уже нельзя было выходить – стрельба. Близко Александровское юнкерское

училище. О сегодня я уже писал. С фронта никого, хотя поминутно слух – "Москва окружена (опять!) правительственными войсками" и т.д. Ясно, дело плохо, иначе давно бы пришли. Сейчас Вере сказали слух: "Железнодорожники согласились пропустить войска с фронта, если будет социалистический кабинет". У нас в вестибюле дежурство, двери на запоре, все жильцы и "дамы" целый день галдят, врут, женщины особенно. Много евреев, противных. Изнурился от безделья, ожиданья, что все кончится вот-вот, ожиданья громил, – того, что убьют, ограбят. Хлеба дают четверть фунта. А что на фронте? Что немцы? Боже, небывалое в мире зрелище – Россия!

Десять часов вечера (30 октября). В десять часов погасло электричество и у Зои и у Юлия. У Телешова нет. Юлий сказал, что Т«елешов» передал – подписано соглашение большевиков и прочих партий. Но б«ольшевики» не могут унять солдат. Озлоблены и юнкера. К«атерина» П«авловна» говорила с Митей – Максимка в плену. (Клестов скрывается у «неразборчиво».) Все слухи: четыре тысячи казаков пришли, не могут войти, их не пускают большевики на Казанский вокзал, пришел ударный батальон, тоже не может войти, где-то под Москвой дикая дивизия и т.д. Я дежурил от шести до семи. Большевистский студент собрал прислугу со всего дома – "она волнуется, говорит, зачем мы ворота бревнами закладываем, действуем против своих товарищей, надо с прислугой объясниться…". И объяснился:

"Стрелять будем, если вы пойдете против нас". Возмущение.

В вестибюле сидел какой-то полурабочий, к каждому слову "в обчем".

31 октября.

Проснулся «в» восемь. Думал, все кончено (было тихо). Но нет, кухарка говорит, только что был орудийный удар. Теперь слышу щелканье выстрелов. Телефон для частных лиц выключен. Электричество есть. Купить на еду ничего нельзя. «Неразборчиво» сказал, ударный батальон пришел, часть переправилась в лодках, швейцар будто бы видел – человек двести пошло к юнкерскому училищу.

Двенадцать часов дня. Прочел "Соц. демократ" и "Вперед". Сумасшедший дом в аду.

Один час. Орудийные удары – уже штук пять, близко. Снова – в минуту три раза. Опять то же. Два рода ударов – глуше и громко, похоже на перестрелку.

Семь с половиною часов вечера. За день было очень много орудийных ударов (вернее, все время – разрывы гранат и, кажется, шрапнелей), все

время щелканье выстрелов, сейчас где-то близко грохотал по крышам тяжкий град – чего? – не знаю.

От трех до четырех был на дежурстве. Ударила бомба в угол дома Казакова возле самой панели. Подошел к дверям подъезда (стеклянным) – вдруг ужасающий взрыв – ударила бомба в стену дома Казакова на четвертом этаже. А перед этим ударило в пятый этаж возле черной лестницы (со двора) у нас. Перебило стекла. Хозяин этой квартиры принес осколок гранаты трехдюймовой. Был Сережа. День тяжелый, напряженный. Все в напряжении и все все ждут помощи. Но в то же время об общем положении России и о будущем никто не говорит, – видимо, это не занимает.

Хочется есть – кухарка не могла выйти за провизией (да и закрыто, верно), обед жалкий.

Лидия Федоровна чудовищно невыносима. Боже, как я живу!

Опять убирался, откладывал самое необходимое – может быть пожар от снаряда. Дом Коробова горел.

Юлий утром звонил. С тех пор ни звука. Верно, телефон не дают.

А что в деревне?! Что в России?!

Москву расстреливают – и ниоткуда помощи! А Дума толкует о социалистическом кабинете! Почему же, если телеграф нейтрален, Керенский не дает знать о себе?

Почти двенадцать часов ночи. Страшно ложиться спать. Загораживаю шкафом кровать.

1 ноября.

Среда. Засыпая вчера, слышал много всяких выстрелов. Проснулся в шесть с половиною утра – то же. Заснул, проснулся в девять – опять то же. Весь день не переставали орудия, град по крышам где-то близко и щелканье. Такого дня еще не было. Серый день. Все жду чего-то, истомился. Щелканье кажется чьей-то забавой. Нынче в третьем часу, когда вышел в вестибюль, снова ужасающий удар где-то над нами. Пробегают не то юнкера, не то солдаты под окнами у нас – идет охота друг на друга.

Читал только "Социал-демократ". Ужасно.

В Неаполе в монастыре Camaldoli над Вомеро каждую четверть часа дежурный монах стучит по кельям: "Badate, e possato un quarto dora della vostra vita" ("Внемлите, прошло еще четверть часа вашей жизни" – ит.).

Пишу под тяжкие удары, щелканье и град.

Поповы – молодые муж и жена. Она княжна Туркестанова. Что за прелестное существо. Все раздает всем свои запасы. Объявление в

"Русских ведомостях" от 22 октября. «…»

Читал "Русские ведомости" за 21, 22, 24, 25. Сплошной ужас! В мире не было такого озверения. Постановление офицеров ("Русские ведомости", номер от 25 октября).

Ходил в квартиру чью-то наверх, смотрел пожар (возле Никитских ворот, говорят). Дочь Буренина [126].

2 ноября.

Заснул вчера поздно – орудийная стрельба. День нынче особенно темный (погода). Остальное все то же. Днем опять ударило в дом Казакова. Полная неизвестность, что в Москве, что в мире, что с Юлием! Два раза дежурил.

Народ возненавидел все.

Положение нельзя понять. Читал только "Социал-демократ". Потрясающий номер! Но о событиях нельзя составить представления. Часов с шести вечера стрельбы из орудий, слава богу, чтобы не сглазить, что-то не слышно.

Одиннадцать часов вечера. Снова два орудийных удара.

4 ноября.

Вчера не мог писать, один из самых страшных дней всей моей жизни. Да, позавчера был подписан в пять часов "Мирный договор". Вчера часов в одиннадцать узнал, что большевики отбирают оружие у юнкеров. Пришли Юлий, Коля. Вломились молодые солдаты с винтовками в наш вестибюль – требовать оружие «…» Три раза приходили, вели себя нагло. Выйдя на улицу после этого отсиживания в крепости – страшное чувство свободы (идти) и рабства «…» Ходил по переулкам возле Арбата. Разбитые стекла и т.д. Назад, по Поварской – автомобиль взял белый гроб из госпиталя против нас.

Заснул около семи утра. Сильно плакал. Восемь месяцев страха, рабства, унижений, оскорблений! Этот день венец всего! «…»

Нынче встал в одиннадцать. Были Юлий, Митя, Коля, пошли в книгоиздательство. Заперто «…»

Командующий войсками Московского округа – солдат Муралов [127]. Комиссар театров – Е.К. Малиновская [128]. Старк тоже комиссар [129].

11 ноября.

«…» Ленин сместил Духонина [130], назначил верховным

главнокомандующим Крыленко [131].

21 ноября 12 ч. ночи.

Сижу один, слегка пьян. Вино возвращает мне смелость, муть сладкую сна жизни, чувственность – ощущение запахов и пр. – это не так просто, в этом какая-то суть земного существования. Передо мной бутылка № 24 удельного. Печать, государственный герб. Была Россия! Где она теперь. «….» Убит Духонин, взята ставка и т.д.

Возведен патриарх "всея Руси" на престол нынче – кому это нужно?! [132]

1918

25 мая 1918 г. (старый стиль)

11 часов утра (по "нов«ому»времени"), Орша.

Вдоль полотна ж«елезной» д«ороги» дощатые шалаши, в них беженцы из России, возвращающиеся на родину, на Украину.

Мы третий день в пути. В Москве приехали на Савеловский вокзал в 3 ч. дня, 23-го, провожал Юлий, простившийся с нами на подъезде. В поезд сели только в 7 ч. – раньше отправляли "пролетарских" детей на каникулы в Саратовскую губ. – затеи Луначарского. С Сав. вокзала мы тронулись только в час ночи, а с Александровского – в 3 ч. Спать пошли только в 4 – до того сидели с доктором этого санитарного поезда, пили тминную водку. В Вязьме были в 3 ч. 24 мая и стояли там до вечера. В Смоленск прибыли рано утром 25-го, откуда тронулись в 5 утра. В Орше стоим уже 3 часа, не зная, когда поедем дальше.

26 мая.

Двинулись в 11 ч. 20 м. утра. В 12 ч. без 10 м. мы на "немецкой" Орше – за границей. Ян со слезами сказал:

"Никогда не переезжал с таким чувством границы! Весь дрожу! Неужели наконец я избавился от власти этого скотского народа!" Болезненно счастлив был, когда немец дал в морду какому-то большевику, вздумавшему что-то сделать еще по-большевицки.

Время здесь уже нормальное.

Немецкий пост, купил у немцев бутылочку кюммеля. За завтраком и обедом у нас в поезде был помощник коменданта станции, немец 23 лет.

Едем на Жлобин.

27 мая (9 июня). Воскресенье.

Утром Минск. Серо, скучно. Узнали, что поезд пойдет на Барановичи. Из поезда пришлось непосильно тащить вещи на другой. Александровский, вокзал – больше версты. Помогли 2 больных солдата.

Лето, восемнадцатый год, Киев.

Жаркий летний день на Днепре. На песчаных полях против Подола черно от купающихся. Их все перевозят туда бойкие катерки. Крупные белые облака, блеск воды, немолчный визг, смех, крик женщин – бросаются

в воду, бьют ногами, заголяясь в разноцветных рубашках, намокших и вздувающихся пузырями. Искупавшиеся жгут на песке у воды костры, едят привезенную с собой в сальной бумаге колбасу, ветчину. А дальше, у одной из этих мелей, тихо покачивается в воде, среди гнилой травы, раздувшийся труп в черном костюме. Туловище полулежит навзничь на бережку, нижняя часть тела, уходящая в воду, все качается – и все шевелится равномерно выплывающий и спадающий вялый белый бурак в расстегнутых штанах. И закусывающие женщины резко, с хохотом вскрикивают, глядя на него.

15/28 дача Шишкиной (под Одессой).

Пятый час, ветер прохладный и приятный, с моря. За воротами стоит ландо, пара вороных лошадей – приехал хозяин дачи, ему дал этих лошадей приятель, содержатель бюро похоронных процессий – кучер так и сказал – "это ландо из погребальной конторы". Кучер с крашеной бородой.

Чуть не с детства я был под влиянием Юлия, попал в среду "радикалов" и чуть не всю жизнь прожил в ужасной предвзятости ко всяким классам.

Сегодня уехал Нилус. Завтра с нами селится Кипен [133].

1919

«б. д.»

«…» Часто теперь, читая какую-нибудь книгу, останавливаюсь и дико смотрю перед собой, – так оглушила, залипала (вероятно, залила. – М.Г.), все затмила низость человеческого слова и так дико вспоминать, на минуту выплывая из этого моря, что существовало и, может быть, где-нибудь еще существует прежнее человеческое слово!

4 ч. Гулял, дождя нет, пышная зелень, тепло, но без солнца. На столбах огромн«ые» афиши: "В зале пролеткульта грандиозный Абитур-спектакль-бал…" – После спектакля "призы": 1) за маленькую изящн«ую» ножку, 2) за самые красивые глаза, киоски в стиле "модерн", "в пользу безработных спекулянтов", губки и ножки целовать в закрытом киоске, красный кабачек, шалости электричества, катильон, серпантин и т.д. 2 оркестра воен«ной» музыки, усиленная охрана, свет обеспечен, разъезд в 6 ч. по старому времени… Хозяйка вечера супруга командующего 3-й советской Армией Марфа Яковлевна Худякова" [134]. Прибавьте к этому новую орфографию.

25 мая/7 июня.

Прочел "Знамя" и 1 № "Советск. власти", орган одес«ского» Совдепа, долженствующ«ий», по-видимому, заменить собою "Голос красноарм«ейца» ", который уже давно не виден в городе, отправл«ен», как говорят, "на фронт". Все то же! Все "ликвидация григорьевских банд" и "разрастающаяся" во всем мире революц«ия», – между прочим крупно напечатано сообщение о большевистск«ом» восстании в Турции «…»

Вчера весь вечер дождь, настроение оч«ень» тяжкое. Дождь и ночью, льет и сейчас.

В "Советской» вл«асти»" две карикатуры; несомненно Минского. До содрогания, до тошноты гнусно. «…»

28 мая/8 июня.

"Знамя борьбы" наполовину занято Марьяшем. "Проф«ессиональный» союз пекарей извещает о трагическ«ой» смерти стойкого борца за царство социализма…" И еще неск«олько» таких же объявлений; некрологи, заметки: "Ушел еще один… Не стало Марьяша… Стойкий, сильный, светлый…" и т.д. «…»

Затем идет смехотв«орное» известие о том, что приморские города

вблизи Дарданелл заняты турецк«ими» коммунистами, которые принимают меры к закрытию Дард«анелльского» пролива, сообщение «…» что "на Галицию идет огромная польская сила с Петлюрой в авангарде" (я говорил, что Петлюра вынырнет!) [135]

В полдень телефон из Сергиевск«ого» училища: приехал из Москвы Личкус, сообщил Вере, что у Мити Муромцева [136] тронуты верхушки легких и миокардит. Вера заплакала, оч«ень» расстроена. «…»

20.VI (1/2.VIII)

Вчера разрешили ходить до 8 ч. вечера – "в связи с выяснившимся положением" (?) «…» Голодая, мучаясь, мы должны проживать теперь 200 р. в день. Ужас и подумать, что с нами будет, если продлится здесь эта власть. Вечером вчера пошли слухи, подтверждающие отход немцев. «…»

Был у Полыновых; Маргар. Ник. все восхищается моими рассказами, вспоминали с ней «…» о портсигаре из китового уса, который М. Н. подарила когда-то Горькому. «…»

Газеты, как всегда, тошнотворны. О Господи милостивый, – думаешь утром, опять «…» то же: "мы взяли… мы оставили… без перемен" – и конца этой стервотной драке «…» не видно! «…»

9 ч. веч. Опять наслушался уверений, что "вот-вот" «…» В порту все то же, до сих пор непонятное, за последнее время особенно, вследствие каких «вероятно, "каких-то". – М. Г.» беспрерывных уходов, приходов, – контрминоносец и два маленьких, все бегающих и по рейду и куда-то в даль.

Купил – по случаю! – 11 яиц за 88 р. О, анафема, чтоб вам ни дна, ни покрышки – кругом земля изнемогает от всяческого изобилия, колос чуть не в 1/2 аршина, в сто зерен, а хлеб можно только за великое счастье достать за 70 – 80 р. фунт, картофель дошел до 20 р. фунт и т.д.! «…» Электричества почему-то нету. (Я таки жег за последнее время тайком, – "обнаглел".)

21.VI (1/3.VIII)

В газетах хвастовство победами над Колчаком, в Алешках и над колонистами, – на Урале "враг в панике, трофеи выясняются" – всегда не иначе, как "трофеи"! «…» А крестьяне будто бы говорят на великолепнейшем русском языке:

"Дайте нам коммуну, лишь бы избавьте нас от кадетов!" «…»

Отнес свои рассказы Туган-Барановской. Очень приятна, смесь

либеральной интеллигентности с аристократизмом.

Погода отличная, но, хотя и спокоен сравнительно сегодня, все-таки, как всегда, отношение ко всему как во время болезни. Все чуждо, все не нужно, все не то… Многие говорят, что им кажется, что лето еще не начиналось.

Масло фунт уже 160 р., хлеб можно доставать за 90 фунт. Сейчас 4 ч., как всегда, кто-то играет, двор уже почти весь в тени, небо сине-сероватое, акации темно-зеленые, за ними белизна стен в тени и в свете.

22.VII (4.VIII)

Почему-то выпустили газеты – "Известия" и "Сов. власть" – хотя сегодня понедельник. Ничего особенного. Махно будто бы убил Григорьева [137], «война» с колонистами продолжается, красные «дерутся как львы», – так и сказано, – взяли Александровку «…» это напечатано жирным шрифтом, «трофеи выясняются», но между строк можно прочесть, что дело это еще далеко не потушено; говорят даже, что немцы уже перерезали ж. д. на Вознесенск. На базаре еще более пусто и еще более дорого. Прекрасное утро. Прочитав «Известия» на столбе, встретил Ив. Фед. Шмидта. Он зашел ко мне. Кабачки нынче 50 р. десяток.

Матросы пудрят шеи, носят на голой груди бриллиант«овые» кулоны. Госуд. Межд. Красный Крест чрезвыч«айно» переводит деньги за границу, арестовывают членов этого креста для отвода глаз.

Как отвыкли все писать и получать письма!

Скучно ужасно, холера давит душу как туча. Ах, если бы хоть к черту на рога отсюда! «…»

25.VII (5.VIII)

Снова прекрасный летний день, каких было много, – то же серовато-синее чистое небо, зелень акаций, солнце, белизна стен, – и никакой видимой перемены, все буднично. А меж тем вчера, как никогда, была уверенность, что нынче должна быть перемена непременно.

Вчера после трех пришел Кондаков [138], безнадежно говорил о будущем, не веря в прочность ни Колч«ака», ни Деникина, вспоминал жестокий отзыв Мишле [139] и его пророчества о том, что должно быть в России и что вот уже осуществилось на наших глазах. Потом пришел Федоров и г-жа Розенталь, – принесла весть об эвакуации большев«иков» из Одессы. Кондаков не отрицает эвакуации, но говорит, что она делается для того, чтобы грабить город и куда-то вывозить, расхищать

награбленное, – тянут, в самом деле, все, что только можно, не только ценности, мануфактуру, остатки продовольствия, но даже все имущество ограбляемых домов, вплоть до мебели, – и для того, чтобы разворовать те 50 миллионов, которые, говорят, прислали из Киева на предмет этой эвакуации. Потом прибежал Коля: у них был «неразборчиво написанное слово, поставленное в кавычки», которому «неясно» официально заявил об этой эвакуации. Пошел к ним. «Одесса окружена повстанцами. Подвойский прислал телеграмму об эвакуации Одессы в 72 ч., перехвачено радио Саблина – сообщает Деник„ину“, что взял Очаков, совершил десант в Коблеве и просит позволения занять Одессу». «…» Как было не верить? Но вот опять день, каких было много, вышли газеты, долбящие все то же, и ни звуком не намекающие на эту передачу… «…»

Вчера говорили о новых многочисл«енных» арестах и расстрелах. Нынче похороны "доблестных борцов" с немцами «…»

4 ч. дня в городе. Читал приказы. Уныние снова. О проклятая жизнь!

24.VII (6.VIII)

«…» Ночи прекрасные, почти половина луны. В одиннадцатом часу смотрел в открытое окно из окна Веры. Луна уже низко, за домами, ее не видно, сумрак, мертвая тишина, ни единого огня, ни души, только собака грызет кость, – откуда она могла взять теперь кость? «…» Совершенно мертвый город! На ночь опять читал "Обрыв". Как длинно, как умно нередко! А все-таки это головой сделано. Скучно читать. «…» Сколько томов культивировалось в подражание этому Марку! Даже и Горький из него.

Нынче опять такой прекрасный день, жаркий на солнце, с прохладным ветерком в тени. Были с Верой в Театральном кружке.

«…» Комендант печатает в газете свое вчерашнее объявление – о лживости слухов, что они уходят: "Эвакуация, правда, есть, но это мы вывозим из Одессы излишние запасы продовольствия" и еще чего-то. Бог мой, это в Одессе-то "излишние запасы"! «…» На базаре говорят, что мужики так ненавидят большевиков, что свиньям льют молоко, бросают кабачки, а в Одессу не хотят везти.

Слух: Бэла Кун [140] расстрелян, прочие комиссары, пытавшиеся бежать из Венгрии, арестованы. «…»

25.VII (7.VIII)

Во всех газетах все то же, что вчера. «…» Возвращаясь, чувствовал головокружение и так тянуло из пустого желудка, – от голода. В магазин

заходил – хоть шаром покати! "Нечего есть!" – Это я все-таки в первый раз в жизни чувствую. Весь город голоден. А все обычно, солнце светит, люди идут. Прошел на базар – сколько торгующих вещами. На камнях, на соре, навозе – кучка овощей, картошек – 23 р«убля» ф«унт». Скрежетал зубами. "Революционеры, республиканцы, чтоб вам адово дно пробить, дикари проклятые!"

"Распаковываются", – говорит один. Да, м«ожет» б«ыть», сами ничего не знают и трусят омерзительно. Другие твердят – "все равно уйдут, положение их отчаянное, про победы все врут, путь до Вознесенска вовсе не свободен" и т.д.

«…»

Вечером. Опять! "Раковский привез нынче в 6 ч. вечера требование сколь можно скорее оставить Одессу". «…»

Какая зверская дичь! "Невмешательство"! Такая огромная и богатейшая страна в руках дерущихся дикарей – и никто не смирит это животное!

Какая гнусность! Все горит, хлопает дерев«янными» сандалиями, залито водой – все с утра до вечера таскают воду, с утра до вечера только и разговору, как бы промыслить, что сожрать. Наука, искусство, техника, всякая мало-мальски человеческая трудовая, что-либо творящая жизнь – все прихлопнуто, все издохло. Да, даром это не пройдет! «…»

Грабеж продолжается – гомерический. Ломбард – один ломбард – ограблен в Одессе на 38 милл. ценностями, т.е. по-теперешнему чуть не на 1/2 миллиарда!

26.VII (8.VIII)

Слышал вчера, что будут статьи, подготовл«яющие» публику к падению Венгрии. И точно, нынче «…»

Ужас подумать, что мы вот уже почти 4 месяца ровно ничего не знаем об европейских делах – и в какое время! – благодаря этому готтентотскому пленению!

Вечером. Деникин взял, по слухам, Корестовку, приближается к Знаменке, взял Черкассы, Пирятин, Лубны, Хотов, Лохвацу, весь путь от Ромодан до Ромен. Народ говорит, что немцы отбили Люстдорф. «…» У власти хватило ума отправлять по деревням труппы актеров – в какой «вероятно, "какой-то". – М. Г.» деревне, говорят, такая труппа вся перебита мужиками, из 30 музыкантов евреев, говорят, вернулось только 4.

Позавчера вечером, идя с Верой к Розенберг, я в первый раз в жизни увидел не на сцене, а на улице, человека с наклеенными усами и бородкой.

Это так ударило по глазам, что я в ужасе остановился как пораженный молнией. Хлеб 150 р. фунт.

«Сбоку приписано:» Зажглось электричество, – топят костями.

27.VII (9.VIII)

"Красная Венгрия пала под ударами империалистических хищников". «…» "Восстание кулаков" растет, – оказывается и под Николаем «вероятно, Николаевом» началось то же, что и под Одессой, хотя, конечно, и нынче то же, что читаю уже 3 месяца буквально каждый день: "восстание успешно ликвидируется". С одесск«ого» фронта тоже победоносные «следует неразборчиво написанное слово», но народ говорит, что немцы опять взяли Люстдорф. «…» Сейчас опять слышна музыка – опять "торжеств«енные» похороны героев". из-за этого сделана какая-то дьявольская забава, от которой душу переворачивает. – Масло 275 р. фунт.

28.VII (10.VIII)

"К оружию! Революция на Украине в опасности!" «…» "«…» Мы на Голгофе… Неумолимо сжимаются клещи Деникина и Петлюры…" На фронте, однако, везде "успехи", все восстания успешно ликвидируются (в том числе и новые – еще новые! – на левом берегу Буга), "красные привыкли побеждать", "Деникин рвет и мечет от своих последних неудач", "набеги остатков Петлюровщины уже совсем выдохлись". Все напечатано в одной и той же "Борьбе", почти рядом! «…»

3 ч. Гулял. Второй день прохладно, серо. Скука, снова будни и безнадежность. Глядел на мертвый порт «…» На ограде лежит красноармеец, курит. Обмотки. – И желтые башмаки, какие бывают от Питонэ, Дейса – отнятые, конечно, у буржуя. «…»

29.VII (11.VIII)

Был в Театральном, чтобы решить с Орестом Григор«ьевичем» Зеленюком (?) об издании моих книг. Он занят. Видел много знакомых. Погода чуть прохладная, превосходная, солнечный день. Море удивит«ельной» синевы, прелестные облака над противополож«ным» берегом.

Туча слухов. Взята Знаменка, Александрия, вчера в 12 ч. "взят Херсон" – опять! "Эвакуация должна быть завершена к 15 авг.". «…» Поговаривают опять о Петлюре, будь он проклят «…» многому не верится, все это уже не возбуждает; но кажется, что-то есть похожее на правду. «…»

Бурный прилив слухов: взят Орел, Чернигов, Нежин, Белая Церковь,

Киев! «…» Над Одессой летают аэропланы. «…»

30.VII (12.VIII)

Ничего подобного! «…» Издеваются над слухами. Да, я, м«ожет» б«ыть», прав – многое сами пускают.

"Чрезкомснаб, Свуз" – количество таких слов все растет!

4 ч. Был утром у Койранского [141]. Он пессимистичен. Уходя, встретил З. «Дайте сюда ваше ухо: 15-го!» И так твердо, что сбил меня с толку.

1./14.VIII.

Дней шесть тому назад пустили слух о депеше Троцкого: "положение на фронте улучшилось. Одессу не эвакуировать". Затем об «этом. – М. Г.» не было ни слуху ни духу и власть открыто говорила об эвакуации. Но третьего дня депешу эту воскресили, а вчера уже сами правители совали ее в нос чуть не всякому желающему и уже говорили, что она только что получена вместе с известием, что с севера на Украину двинуто, по одной версии, 48 дивизий, – цифра вполне идиотская, – по другой двадцать дивизий, по третьей – 4 латышских полка и т.д. И цель была достигнута – буквально весь город пал духом, тем более, что частично эта "эвакуация" и впрямь была прекращена, – т.е. прекратили расформировывать советские» учреждения и служащим заявили диаметрально-противоположное тому, что заявляли позавчера-вчера. Соответственно с этим сильно подняли нынче тон и газеты: "Панике нет места!" "Прочь малодушие!" «…» "передают, что Троцкий двинул с Колчаковского фронта через Гомель", – каково! – "войска на Украину" «…» Все это, конечно, брехня, – известно то, что позавчера состоялось очень таинств«енное» заседание коммунистов, на котором было констатировано, что положение отчаянное, что надо уходить в подполье, оставаться по мере возможности в Одессе с целью терроризма и разложения Деникинцев, когда они придут, а вместе с тем и твердо решено сделать наглую и дерзкую мину при плохой игре, "резко изменить настроение в городе", – однако факт тот, что они опять остаются!

Газеты нынче цитируют слова Троцкого, где-то на днях им сказанные: "Я бы был очень опечален, если бы мне сказали, что я плохой журналист; но когда мне говорят, что я плохой полководец, то я отвечу, что я учусь и, научившись, буду хорошим!" «…»

В Балте "белые звери устроили погром, душу леденящий: убито 1300 евреев, из них 500 малюток".

Немцев восстание действительно заглохло. Нынче газеты победоносно

сообщают, что многие "селения восставших кулаков снесены красными до основания". И точно – по городу ходят слухи о чудовищных разгромах, учиняемых красноармейцами в немецк«их» колониях. Казни в Одессе продолжаются с невероятной свирепостью. Позапрошлую ночь, говорят, расстреляли человек 60. Убивающий получает тысячу рублей за каждого убитого и его одежду. Матросы, говорят, совсем осатанели от пьянства, от кокаина, от безнаказанности: – теперь они часто врываются по ночам к заключенным уже без приказов «…» пьяные и убивают кого попало; недавно ворвались и кинулись убивать какую-то женщину, заключенную вместе с ребенком. Она закричала, чтобы ее пощадили ради ребенка, но матросы убили и ее, и ребенка, крикнув: "Дадим и ребеночку твоему маслинку!" Для потех выгоняют некоторых» заключенных во двор чрезвычайки и заставляют бегать, а сами стреляют, нарочно долго делая промахи.

Вчера ночью опять думал чуть не со слезами – "какие ночи, какая луна, а ты сиди, не смей шаг сделать – почему?" Да, дьявол не издевался бы так, попади ему в лапы!

Вечером. Слухи: взят Бобруйск, поляками. Гомель вот-вот возьмут «…» добровольцы будто бы верстах в 30-ти от Николаева. А про Херсон, кажется, соврали – теперь уж говорят, что взят будто бы только форштадт Херсона.

Нынче утром был деловой разговор с этим Зелюником, что ли. Хочет взять "Господ«ина» из Сан-Фр«анциско»", все рассказы этой книги за гроши. «…»

Репортер из "Рус«ского» Слова" – "инспектор Искусств" во всей России. Говорят, что сын Серафимовича вполне зверь. Сколько он убил! Отец одобряет, "что ж, это борьба!"

2./15.VIII.

В "Борьбе" передовая: "Человечество никогда еще не было свидетелем таких грандиозных событий… в последней отчаянной схватке бьются прихвостни контрреволюции с революцией на Украине… Наша победа близка, несмотря на наши частичные неуспехи…" и т.д. «…» "Хищники хотят посадить на трон в Венгрии Фердинанда румынского…" но – "мировая революция надвигается… в Англии стачка хлебопеков и полицейских… в Гамбурге тоже забастовка…", в Турине уличные бои, в городах Болгарии советская власть… Поляки издеваются в Вильне над социалистами… выпороли раввина Рубинштейна, известн«ого» журналиста С. Ан-ского, известн«ого» поэта Иоффе, критика Пичета,

писателя Байтера… В Одессе вчера важное заседание пленума Совдепа, ораторы громили контрреволюционеров, появившихся среди рабочих в Одессе. «…» Вообще тон всех газет необыкновенно наглый, вызывающий, победоносный – решение "резко изменить настроение Одессы" осуществляется. Цены падают, хлеб уже 15 – 13 р. ф., холера растет, воды по-прежнему нет, весь город продолжает таскать ее из «неразборчиво написанное слово» колодцев, что есть во дворах некот«орых» домов. Буржуазии приказывают нынче явиться на учет, – после учета она вся будет отправлена на полевые работы. Угрожают, что через несколько дней будет обход домов и расстреляют "на месте" тех буржуев, кои на этот учет не явились. «…»

Щепкин, который недавно закрыл Университетскую церковь и отправил в чрезвычайку список тех служителей, кои подали протест против этого закрытия, на днях говорил открыто, что надо "лампу прикрутить", т.е. уходить в подполье, а теперь снова поднял голову.

4./17.VIII.

Вчера опять у всех уверенность, возбужденность – "скоро, скоро!", утверждения, что взят Херсон, Николаев. «…» Пошел слух по городу, что кто-то читал в Крымских газетах, что Колчак взял Самару, Казань (а по словам иных – и Нижний!). Вечером секретная сводка такова: Саратов обойден с с«еверо»-з«апада», взят район Глазуновки (под Орлом – и даже Орел!), взят Бахмач, поляки подошли к Гомелю, Киев обстреливается добровольцами. «…»

Нынче опять один из тех многочисл «енных» за последние месяцы дней, который хочется как-нибудь истратить поскорее на ерунду – на бритье, уборку стола, франц«узский» язык и т.д. Конечно, все время сидит где-то внутри надежда на что-то, а когда одолевает волна безнадежности и горя, ждешь, что, может быть, Бог чем-нибудь вознаградит за эту боль, но преобладающее – все же боль. Вчера зашли с Верой в архиерейск«ую» церковь – опять почти восторгом охватило пенье, поклоны друг другу священнослужителей, мир всего того, м«ожет» б«ыть», младенческого, бедного с высшей точки зрения, но все же прекрасного, что отложилось в грязной и неизменно скотск«ой» человеч«еской» жизни, мир, где «неразборчиво написанное слово» как будто кем-то всякое земное страдание, мир истовости, чистоты, пристойности… Вышли в архиерейск«ий» садик – на рейде два миноносца, а за молом 2 транспорта: опять привезли русских солдат из Фр«анции». Значит, опять "две державы" – Франция и "советск«ая» власть" честь честью сносятся, ведут дело,

переговоры – и свидетельство того, что Одесса далека от освобождения.

Встретили знакомых, все: "погодите еще судить, почем знать, м«ожет» б«ыть», это вовсе не то" и т.д. Нынче это, конечно, в газетах подтверждается. А газета (читал только "Борьбу") ужасна – о как изболело сердце от этой скотской грубости! Опять свирепые угрозы – "Красный террор, массовое уничтожение всех подлых гадин, врагов революции должно стать фактом!" – точно этого факта еще нет! «…»

6./19.VIII.

В субботу 3-го взял в "Днепро-Союзе" восемь тысяч авансом за право перевести некот«орые» мои рассказы на малорусский язык. Решение этого дела зависело от Алексея Павловича Марковского, с ним я и виделся по этому поводу.

Вчера твердый слух о взятии Херсона и Николаева. Красные перед бегством из Николаева будто бы грабили город и теперь, грабя по пути, идут на Одессу – уже против большевиков. Говорят, что С. и Калиниченко бежали в 2 ч. ночи с 4 на 5 на катере. «…» Там, где обычно святцы – перечисление убийств, совершенных революционерами. Хлеб 35 р., ветчина 280 р.

Нынче проснулся оч «ень» рано. Погода превосходная.

Когда у Чрезвычайки сменяют караул, играют каждый раз Интернационал. «…»

Был 2 раза в архиерейском саду. Вид порта все поражает – мертвая страна – все в порту ободранное, ржавое, облупленное… торчат трубы давно «неразборчиво написано. – М. Г.» заводов… "Демократия!" Как ей-то не гадко! Лень, тунеядство. «…» Как все, кого вижу, ненавидят большевиков, только и живут жаждой их ухода! Прибывшие из Франции все дивятся дороговизне, темному, голодному городу. «…» Говорят, что много красных прибежало из-под Николаева – больные, ободранные. «…»

9./22.VIII.

В "Борьбе" опять – "последнее напряжение, еще удар – и победа за нами!" «…» Много учреждений "свернулось", т.е., как говорят, перевязали бумаги веревками и бросили, а служащих отпустили, не платя жалования даже за прежние месяцы; идут и разные "реквизиции": на складах реквизируют напр. перец, консервы. «…»

По перехвач«енному» радио белых они будто бы уже в 30-40 верстах от Одессы. Господи, да неужели это наконец будет! «…»

Погода райская, с признаками осени. От скверного питания худею,

живот пучит, по ночам просыпаюсь с бьющимся сердцем, со страхом и тоской. «…»

Грабеж идет чудовищный: раздают что попало служащим-коммунистам – чай, кофе, какао, кожи, вина и т.д. Вина, впрочем, говорят, матросня и проч. товарищи почти все выпили ранее – мартель особенно. «…»

"Я вам раньше предупреждаю" – слышу на улице. Да, и язык уже давно сломался, и у мужиков, и у рабочих.

Летал гидроаэроплан, разбрасывал прокламации Деникина. Некоторые читали, рассказать не умеют. «…»

1920

Париж, 19 авг. 1920 г.

Прочел отрывок из дневника покойного Андреева. "Покойного"! Как этому поверить! Вижу его со страшной ясностью, – живого, сильного, дерзко уверенного в себе, все что-то про себя думающего, стискивающего зубы, с гривой синеватых волос, смуглого, с блеском умных, сметливых глаз, и строгих, и вместе с тем играющих тайным весельем; как легко и приятно было говорить с ним, когда он переставал мудрствовать, когда мы говорили о чем-нибудь простом, жизненном, как чувствовалось тогда, какая это талантливая натура, насколько он от природы умней своих произведений и что не по тому пути пошел он, сбитый с толку Горьким и всей этой лживой и напыщенной атмосферой, что дошла до России из Европы и что так импонировала ему, в некоторых отношениях так и не выросшему из орловского провинциализма и студенчества, из того Толстовского гимназиста, который так гениально определен был Толстым в одной черте: "Махин был гимназист с усами…".

1921

22 февр./7 марта, 1921 г. Париж.

Понедельник.

Газета удивила: "На помощь!" Бурцева, "Спешите!" А. Яблоновского ("Хлеб в Крон«штадте» должен быть не позже вторника или среды!") «…» Неужели правда это "революция"? «…» До сегодня я к этой "революции" относился тупо, недоверчиво, сегодня несколько поколебался. Но как и кем м.б. доставлено в Кронштадт» продовольствие "не позже среды"? Похоже опять на чушь, на русскую легкомысленность. «…»

Вечером Толстой. "Псков взят!". То же сказал и Брешко-Брешковский. Слава Богу, не волнуюсь. Но все-таки – вдруг все это и правда "начало конца"!

23 февр./8 марта.

«…» С волнением (опять!) схватился нынче за газеты. Но ничего нового. В "падение" Петерб. не верю. Кр. – может быть, Псков тоже, но и только. «…»

Вечером заседание в "Общ. Деле", – все по поводу образования "Русского комитета национ. объединения". Как всегда, бестолочь, говорят, говорят… «…»

Возвращался с Кузьм«иным»-Караваевым. Он, как всегда, пессимист. "Какая там революция, какое Учр. Собр.! Это просто бунт матросни, лишенной советской властью прежней воли ездить по России и спекулировать!"

25 февр./10 марта.

По газетам судя, что-то все-таки идет, но не радуюсь, равнодушие, недоверие (м.б. потому, что я жил ожиданием всего этого – и каким! – целых четыре года.)

«…» Американский Кр. Кр. получил депешу (вчера днем), что "Петроград пал". Это главное известие. «…»

Вчера до 2-х дочитал "14 Декабря". Взволновался, изменилось отношение к таланту Мережковского, хотя, думаю, это не он, а тема такая. «…»

28 февр./13 марта.

Дело за эти дни, кажется, не двинулось с места. Позавчера вечером у меня было собрание – заседание Правления Союза Рус. Журналистов, слушали обвинение Бурцева против Кагана-Семенова «…» Бурцев заявил, что он. Каган, был агентом Рачковского. Были А. Яблоновский, Мирский, С. Поляков, Гольдштейн, Толстой, Каган и Бурцев. – Яблоновский сообщил, что получены сведения о многих восстаниях в России, о том, что в Царицыне распято 150 коммунистов. Толстой, прибежавший от кн. Г. Е. Львова, закричал, что, по сведениям князя, у большев. не осталось ни одного города, кроме Москвы и Петерб. В общем, все уже совсем уверены: "Начало конца". Я сомневался.

Вчерашний день не принес ничего нового. Нигде нельзя было добиться толку даже насчет Красной Горки – чья она? «…»

Нынче проснулся, чувствуя себя особенно трезвым к Кронштадту. Что пока в самом деле случилось? Да и лозунг их: "Да здравствуют советы!" Вот тебе и парижское торжество, – говорили, будто там кричали: "Да здравствует Учр. Собр.!" – Нынче "Новости" опять – третий номер подряд – яростно рвут "претендентов на власть", монархистов. Делят, сукины дети, "еще не убитого медведя". «…»

1/14 марта.

«…» Прочел "Нов. Рус. Жизнь" (Гельсингфорс) – настроение несколько изменилось. Нет, оказывается, петерб. рабочие волновались довольно сильно. Но замечательно: главное, о чем кричали они – это "хлеба" и "долой коммунистов и жидов!" Евреи в Птб. попрятались, организовывали оборону против погрома… Были случаи пения "Боже, Царя храни".

У нас обедал Барятинский. Затем мы с Куприным и толстым были в Бул«онском» лесу на острове.

2/15 марта.

«…» Савинков в "Свободе" все распинается, что он республиканец. А далеко не демократически говорил он, когда мы сидели с ним по вечерам прошлой весной, перед его отъездом в Польшу!

1/14 Апр.

Вчера панихида по Корнилове. Как всегда, ужасно волновали молитвы, пение, плакал о России.

Савинков в Париже, был у Мережковских. Он убежден, что осенью большевикам конец. В этом убежден, по его словам, и Пилсудский,

"который как никто осведомлен о русск. делах".

2/15 Апр.

«…» "Полудикие народы… их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражд. жизни, легкомыслие и жестокость…" ("Капит. Дочка"). Это чудесное определение очень подходит ко всему рус. народу.

"Молодой человек! Если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких нравственных потрясений…"

"Те, которые замышляют у нас переворот, или молоды, или не знают нашего народа, или уже люди жестокосердые, которым и своя шейка-копейка и чужая головушка-полушка…" ("Кап. Дочка") «…»

4/17 Апреля.

Опять идет снег, белый, хлопьями. Лежу со льдом, – опять кровь. Вчера приехал Манухин, мы хотели его устроить на квартире Куприных, которые уезжают в Севр. Говорит, что отношение к советской власти резко ухудшилось со стороны всех в России – он из Птб. всего полтора месяца, – убежден, что нынешним летом все кончится. Но настроение там у всех еще более подавленное, мало осталось надежд на иностр. или белую помощь.«…»

Читаю Соловьева – т. VI. «…» Беспрерывная крамола, притязание на власть бояр и еще неконченых удельных князей, обманное "целование креста", бегство в Литву, в Крым, чтобы поднять врагов на Москву, ненасытное честолюбие, притворное раскаяние ("бьют тебе челом, холоп твой") и опять обман, взаимные укоры (хотя слова все-таки были не нынешние; "хочешь оставить благословение отца своего, гробы родительские, святое отечество…"), походы друг на друга, беспрерывное сожжение городов, разорение их, "опустошение дотла" – вечные слова русской истории! – и пожары, пожары… «…»

5/18 Апр.

Карташев [142] прислал несколько номеров советских газет. Уж, кажется, на что хорошо знаю советскую прессу – и все-таки опять поражен. Да, никогда еще в мире не было ничего подобного по гнусности и остервенелости повторения одного и того же в течение четырех лет буквально изо дня в день, из часа в час! «…»

6/19 Апреля.

Уехали на дачу в Севр Куприны. Мне очень грустно, – опять кончился один из периодов нашей жизни, – и очень больно – не вышла наша близость [143]. «…»

Была Гиппиус. О Савинкове [144]: читал доклад о своей деят«ельности» у Чайковского [145], – грубое хвастовство – «я организовал 88 пунктов восстаний, в известный момент они все разом ударят…» Парижской интеллигенции грозил:

"Мы вам покажем, болтунам!" С языка не сходит "мужик" – "все через него и для него", "народ не хочет генералов". Я сказал Гиппиус: что же этот народ за ним не пошел, – ведь он не генерал? Что значит "организовал"? Ведь тут легко что угодно врать! А насчет "мужика" совсем другое говорил он мне прошлым летом! – "Пора Михрютку в ежовые рукавицы взять!"

8/21 Апр.

«…» Герцен все повторял, что Россия еще не жила и потому у нее все в будущем и от нее свет миру. Отсюда и все эти Блоки!

6 мая (пятница) 21 года.

Был на похоронах Кедрина [146]. Видел его в последний раз в прошлую субботу, еще думал о нем: «Да, это все люди уже прошлого времени, – заседания, речи, протесты…» Он принес нам – это было заседание Парламентского Комитета – свой проект протеста на последнее французское офиц. сообщение о Врангеле. Опять протестовать? – говорили мы с Кузьм«иным»-Карав«аевым». Да и все полагали, что это просто бесполезно. Однако он настаивал. Всем хотелось разойтись – из неловкости стали слушать. Волновался, извинялся – «это набросок» – путался, я слушал нетерпеливо и с неловкостью за него. Мог ли думать, что через неск. дней он будет в церкви?

Нынче прелестн. день, теплый – весна, волнующая, умиляющая радостью и печалью. И эти пасх«альные» напевы при погребении. Все вспоминалась молодость. Все как будто хоронил я – всю прежнюю жизнь, Россию…

6/19.VI.21. Париж.

Собачонка брешет где-то, а я: "собачонка брешет на улице, а ее уже нет…" Ее – Чайковской. И вроде этого весь день. А ведь я видел ее три-четыре раза за всю жизнь, и она была мне всегда неприятна. Как действует на меня смерть! А тут еще и у нас в доме кто-то умер (против Карташевых).

И вот уже весь дом изменился для меня, проникся чем-то особенным, темным.

Что так быстро (тотчас же, чуть не в первый же день) восстановило меня против революции ("мартовской")? Кишкин, залезший в генерал-губернаторский дом, его огромный "революционный" бант (красный с белым розан), страстно идиотические хлопоты этой психопатки К. П. Пешковой по снаряжению поездов в Сибирь за "борцами", своевольство, самозванство, ложь – словом, все то, что всю жизнь ненавидел.

8/21.VI.21. Париж.

Прохладно, серо, накрапывает. Воротились из церкви – отпевали дочь Чайковского. Его, седого, семидесятилетнего, в старой визиточке, часто плакавшего и молившегося на коленях, так было жалко, что и я неск. раз плакал.

Страшна жизнь!

Сон, дикий сон! Давно ли все это было – сила, богатство, полнота жизни – и все это было наше, наш дом, Россия!

Полтава, городской сад. Екатер«инослав», Севастополь, залив. Графская пристань, блестящие морск. офицеры и матросы, длинная шлюпка в десять гребцов… Сибирь, Москва, меха, драгоценности, сиб«ирский» экспресс, монастыри, соборы, Астрахань, Баку «…» И всему конец! И все это было ведь и моя жизнь! И вот ничего, и даже посл. родных никогда не увидишь! А собственно я и не заметил как следует, как погибла моя жизнь… Впрочем, в этом-то и милость Божия…

27/10 июня.

Вчера были у "короля жемчугов" Розенталя. «…» Рыжий еврей. Живет «…» в чудеснейшем собств. отеле (какие гобелены, есть даже церковные вещи из какого-то древн. монастыря). Чай пили в садике, который как бы сливается с парком (Monceau). «…» Сам – приятель Пьера Милля, недавно завтракал с А. Франсом. Говорят, что прошлый год "заработал" 40 миллионов фр. «…»

6 авг. (н.с.) 21 г.

Dietenmuhle. Висбаден.

Сумрачно, прохладно, качание и шум деревьев. Был Кривошеин [147]. Очень неглупый человек.

В газетах все то же. "На помощь!" Призывы к миру "спасти миллионы наших братьев, гибнущих от голода русских крестьян!" А вот когда

миллионами гибли в городах от того же голода не крестьяне, никто не орал. «…» И как надоела всему миру своими гнустями и несчастьями эта подлая, жадная, нелепая сволочь Русь!

12/25 авг.

Получил "Жар-Птицу". Пошлейшая статья [148] Алешки Толстого о Судейкине [149]. Были Кривошеины и интервьюер голландец. После обеда, как всегда, у Гиппиус, говорили о поэтах. Ей все-таки можно прочистить мозги да и вообще вкус у нее ничего себе.

7/20 авг. 1921.

Нероберг, над Висбаденом.

Юра Маклаков [150]. Его рассказы. «…»

8/21 авг.

Прогулка с Мережковскими по лесу, "курятник". Лунная ночь. Пение в судомойне – чисто немецкое, – как Зина и Саша когда-то в Глотове. Звезда, играющая над лесом направо, – смиренная, прелестная. Клеська, Глотово – все без возврата. Лесные долины вдали. Думал о Кавказе, – как там они полны тайны! Давно, давно не видал лунных ночей. – Луна за домом (нашим), Капелла налево, над самой дальней и высокой горой. Как непередаваема туманность над дальними долинами! Как странно, – я в Германии!

9/22 Авг.

Были с Верой в Майнце. Есть очаров«ательные» улицы. Четыре церкви (католич.) – в двух из них натолкнулись на покойников. Двери открыты – входи кто хочешь и когда хочешь. И ни души. В последней церкви посидели. Тишина такая, что вздохнешь поглубже – отзывается во всем верху. Сзади, справа вечернее солнце в окна. И гроб, покрытый черным сукном. Кто в нем, тот, кого я вовеки не видел и не увижу? Послал из Майнца стихи в "Огни".

21. VIII. (3.IX.) 21

Висбаден.

Прогулка в лес. Мережковский читал свою статью по поводу письма 44 матерей. Сквозь лес воздушно-сизая гора на легком золоте заката.

26.VIII. (8.IX.)

Вчера был особенно чудесный день. Спал накануне мало, а бодрость, бойкость и уверенность ума. Прошли утром с Верой в город полем за санаторий. Город в долине грифельный, местами розоватый блеск крыш – и все в изумит, синеве, тонкой, блестящей, эфирной.

Вечером в лесу. Готические просеки. Вдали поют дети – растут в почтении к красоте и законам мира. Листва в лесу цвета гречневой шелухи.

В России едят грязь, нечистоты, топят голодных детей в речках. И опять литераторы в роли кормителей! Эти прокормят! "Горький при смерти" – как всегда, конечно. «…»

15 сент. н. с. 21 г.

Нынче в 3 уезжаем из Висбадена. А какая погода! Дрозды в лесу, в тишине – как в России.

Быстрая начальственная походка начальников станций.

27 Окт. – 9 Ноября 1921 г.

Все дни, как и раньше часто и особенно эти последи. проклятые годы, м.б., уже погубившие меня, – мучения, порою отчаяние – бесплодные поиски в воображении, попытки выдумать рассказ, – хотя зачем это? – и попытки пренебречь этим, а сделать что-то новое, давным-давно желанное, и ни на что не хватает смелости, что ли, умения, силы (а м.б., и законных художеств, оснований?) – начать книгу, о которой мечтал Флобер, "Книгу ни о чем", без всякой внешней связи где бы излить свою душу, рассказать свою жизнь, то, что довелось видеть в этом мире, чувствовать, думать, любить, ненавидеть. Дни все чудесные, солнечные, хотя уже оч. холодные, куда-то зовущие, а все сижу безвыходно дома. 17-го ноября (н.ст.) – мой вечер (с целью заработка) у Цетлиных, необходимо читать что-нибудь новое, а что? Решаюсь в крайности "Емелю" и "Безумн. художника". Нынче неожиданно начал "Косцов", хотя, пописав, после обеда, вдруг опять потух, опять показалось, что и это ничтожно, слабо, что не скажешь того, что чувствуешь, и выйдет патока, да еще не в меру интимная, что уже спета моя песенка. Утешаю себя только тем, что и прежде это бывало, особенно перед "Госп«одином» из С. Фр«анциско» ", хотя можно ли сравнить мои теперешн. силы, и душевн. и физич. с силами того времени? Разве та теперь свежесть чувств, волнений! Как я страшно притупился, постарел даже с Одессы, с первой нашей осени у Буковецкого! Сколько я мог пить почти безнаказанно по вечерам (с ним и с Петром «П. А. Нилус – М.Г.»), как вино переполняло, раскрывало душу, как говорилось, как все

восхищало – и дружба, и осень, и обстановка чудесного дома!

«…» Вышел пройтись, внезапно зашел в кинематограф. Опять бандиты, похищение ребенка, погоня, бешенство автомобиля, несущийся и нарастающий поезд. Потом "Три мушк«етера»", король, королева… Публика задыхается от восторга, глядя на все это (королевское, знатное) – нет, никакие революции никогда не истребят этого! Возвращался почти бегом от холода – на синем небе луна точно 3/4 маски с мертвого, белая, светящаяся, совсем почти лежащая на левое плечо.

28 ноября.

В тысячный раз пришло в голову: да, да, все это только комедия – большевицкие деяния. Ни разу за все четыре года не потрудились даже видимости сделать серьезности – все с такой цинической топорностью, которая совершенно неправдоподобна «…»

1922

1/14 Янв. 1922 г.

Grand Hotel – получение билетов на мольеровские празднества. Знакомство с Бласко Ибаньесом [151]. Купил и занес ему свою книгу.

Вечером у Алек. Вас. Голштейн. Кто-то военный, в погонах, трогательно бедно одет. Как мало ценятся такие святые редкие люди!

Мальчик из России у Третьяковых. Никогда не видел масла, не знает слова фрукты.

Со страхом начал эти записи. Все страх своей непрочности. Проживешь ли этот год?

Новый год встречали у Ландау.

Да, вот мы и освободились от всего – от родины, дома, имущества… Как нельзя более идет это нам и мне в частности!

2/15.

Вечером снег, вышли пройтись – как в России.

Вчера, когда возвращались из города, толпы и фотографы у Hotel Grillon – ждут выхода Ллойд Джорджа [152]. Чтоб его разорвало! Солнце было как королек в легкой сероватой мгле над закатом.

3/16.

Легкое повышение температ. Все-таки были на завтраке в Кларидже. Какая дешевая роскошь по сравн. с тем, что было у нас в знаменитых ресторанах! Видел Марселя Прево [153]. Молодец еще на удивление. Мережковский так и не дождался своей очереди говорить. Даже финн говорил, а Мережк., как представитель России, все должен был ждать. Я скрипел зубами от обиды и боли.

4/17.

Визит ко мне Пуанкарэ [154] – оставил карточку. Поздно засыпаю, – оч. волнуюсь, что не пишу, что, может, кончено мое писание, и от мыслей о своей промелькнувшей жизни.

5/18.

Ездил с Мережковск. на мольеровский банкет «…» Все во фраках, только мы нет, хуже всех. Речь Мережк. была лучше всех других, но не к

месту серьезна. И плохо слушали, – что им мы, несчастн. русские!

6/19 января.

Письмо от Магеровского – зовут меня в Прагу читать лекции русским студентам или поселиться в Тшебове так, на иждивении правительства. Да, нищие мы!

7/20 января.

Вечер Мережковск. и Гиппиус у Цетлиной [155]. Девять десятых, взявших билеты, не пришли. Чуть не все бесплатные, да и то почти все женщины, еврейки. И опять он им о Египте, о религии! И все сплошь цитаты – плоско и элементарно донельзя. «…»

8/21 Января.

Кровь. Нельзя мне пить ни капли! Выпил вчера два стаканчика и все-таки болен, слаб. И все мысли о Юлии [156], о том, как когда-то приезжал он, молодой, начинающий жизнь, в Озерки… И все как-то не верится, что больше я никогда его не увижу. Четыре года тому назад, прощаясь со мной на вокзале, он заплакал (конец мая 1918 г.). Вспомнить этого не могу.

Люди спасаются только слабостью своих способностей, – слабостью воображения, недуманием, недодумыванием.

9/22 Января.

"Я как-то физически чувствую людей" (Толстой). Я все физически чувствую. Я настоящего художественного естества. Я всегда мир воспринимал через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду – и как остро, Боже мой, до чего остро, даже больно!

В газетах все та же грязь, мерзость, лукавство политиков, общая ложь, наглость, обманы, все те же вести о большевицком воровстве, хищничестве, подлости, цинизме… "Цинизм, доходящий до грации", пишут своим гнусным жаргоном газеты. Царица Небесная! Как я устал!

10/23 Января.

Ночью вдруг думаю: исповедаться бы у какого-нибудь простого, жалкого монаха где-нибудь в глухом монастыре, под Вологдой! Затрепетать от власти его, унизиться перед ним, как перед Богом… почувствовать его как отца…

По ночам читаю биограф. Толстого, долго не засыпаю. Эти часы

тяжелы и жутки.

Все мысль: "А я вот пропадаю, ничего не делаю". И потом: "А зачем? Все равно – смерть всех любимых и одиночество великое – и моя смерть!" Каждый день по 100 раз мысль вроде такой: "Вот я написал 3 новых рассказа, но теперь Юлий уже никогда не узнает их – он, знавший всегда каждую мою новую строчку, начиная с самых первых озерских!"

11/24 Января.

Я не страдаю о Юлии так отчаянно и сильно, как следовало бы, м.б. потому, что не додумываю значения этой смерти, не могу, боюсь… Ужасающая мысль о нем часто какая далекая, потрясающая молния… Да можно ли додумывать? Ведь это сказать себе уже совсем твердо: всему конец.

И весна, и соловьи, и Глотово – как все это далеко и навеки кончено! Если даже опять там буду, то какой это ужас! Могила всего прошлого! А первая весна с Юлием – Круглое, соловьи, вечера, прогулки по большой дороге! Первая зима с ним в Озерках, морозы, лунные ночи… Первые Святки, Каменка, Эмилия Васильевна и это "ровно десять нас числом", что пел Юлий… А впрочем – зачем я пишу все это? Чему это помогает? Все обман, обман.

12/25 Января.

Христианство погибло и язычество восстановилось уже давным-давно, с Возрождения. И снова мир погибнет – и опять будет Средневековье, ужас, покаяние, отчаяние…

14/27 января.

Был секретарь Чешск«ого» посольства – 5000 фр. от Бенеша [157] и приглашение переехать в Тшебову. Деньги взял чуть не со слезами от стыда и горя. О Тшебове подумаю.

15/28 января.

Послал Гутману отказ от сотрудничества в качестве поставщика статей для "Утра", предложил 2 рассказа в месяц за 1600 фр. Гутман мое "Еще об итогах" сократил и местами извратил. Пишу "революция" – он прибавляет "коммунистическая". О Горьком все выкинул. «…»

У Карташевых был Струве. Тянет меня в Прагу неистово.

16/29 января.

Дождь, темно, заходил к Мережковским. Он спал (пять часов дня) – после завтрака у Клода Фарера [158]. Фарер женат на актрисе Роджерс, когда-то игравшей в Петерб. Она только что получила письмо от Горького: «В Россию, верно, не вернусь, переселяюсь в горные селения… Советский минотавр стал нынче мирным быком…» Какой мерзавец – ни шагу без цели! Все это, конечно, чтобы пошла весть о его болезни, чтобы парализовать негодование (увы, немногих!) за его работу с большевиками и чтобы пустить слух, что советская власть «эволюционирует». И что же, Роджерс очень защищала его.

Мережк. признавался, что изо всех сил старается о рекламе себе. – "Во вторник обо мне «будет» статья в "Журналь" – добился-таки!"

18/31 января.

Послал письмо Магеровскому – запрос о Моравской Тшебове и на каких условиях приглашают туда.

20 ян./2 февраля.

Посылаю Дроздову [159] «Восьмистишия»: 1. Поэтесса, 2. В гавани, 3. Змея, 4. Листоп«ад», 5. Бред, 6. Ночной путь, 7. Звезды. «…»

Дождь, довольно холодно, но трава в соседнем саду уже яркая, воробьи, весна.

Вечером у нас гости «…» Провожал Савинкову: "Все-таки, если теперь бьет по морде мужика комиссар, то это – свой, Ванька". Конечно, повторяет мужа. А урядник был не Ванька? А Троцкий – "свой"?

21 ян./3 февраля.

Ходил к Шестовым. Дождь, пустые темные рабочие кварталы. Он говорит, что Белый ненавидит большевиков, только боится, как и Ремизов, стать эмигрантом, отрезать себе путь назад в Россию. "Жизнь в России, – говорит Белый, – дикий кошмар. Если собрались 5-6 человек родных, близких, страшно все осторожны, – всегда может оказаться предателем кто-нибудь". А на лекциях этот мерзавец говорит, что "все-таки" ("несмотря на разрушение материальной культуры") из России воссияет на весь мир несказанный свет.

22 ян./4 февраля.

От 4 до 6 у Цетлиной "Concert" франц. артистов в пользу Тэффи [160] «…» Все артисты одеты сугубо просто – чтобы подчеркнуть

домашний характер концерта. Исполнения изумит«ельные» по свободе, простоте, владению собой, дикцией; по естественности и спокойствию – не то что русские, которые всегда волнуются и всегда «нутром». М-ль Мустангетт похожа на двадцатилетнюю, а ей, говорят, около пятидесяти. Верх совершенства по изяществу и ловкости. Партнер – молодой человек нового типа молодых людей – вульгарного, американского. Танцы – тоже гнусные, американские. Так во всем – Америка затопляет старый свет. Новая цивилизация, плебейская идет. «…»

23 ян./5 февраля.

Видел во сне поезд, что-то вроде большой теплушки, в которой мы с Верой куда-то едем. И Юлий. Я плакал, чувствуя к нему великую нежность, говорил ему, каково мне без него. Он спокоен, прост и добр. «…»

25 янв./7 февраля.

Панихида по Колчаке [161]. Служил Евлогий [162]. Лиловая мантия, на ней белые с красным полосы. При пении я все время плакал. Связывалось со своим – с Юлием и почему-то с Ефремовым, солнечным утром каким-то, с жизнью нашей семьи, которой конец. И как всегда на панихидах какое-то весеннее чувство. «…»

30 янв./12 февраля.

Прогулки с Ландау и его сестрой на Vinese, гнусная, узкая уличка, средневековая, вся из бардаков, где комнаты на ночь сдаются прямо с блядью. Палэ-Рояль (очень хорошо и пустынно), обед в ресторане Vefour, основанном в 1760 г., кафе "Ротонда" (стеклянная), где сиживал Тургенев. Вышли на Avenue de l'Opera, большая луна за переулком в быстро бегущих зеленоватых, лиловатых облаках, как старинная картина. Я говорил: "К черту демократию!", глядя на эту луну. Ландау не понимал – при чем тут демократия?

31 янв./13 февраля.

Завез в "Отель Континенталь" карточку и книгу "M. de S. Franc«isco»". Бенешу. Через два часа – его секретарь с карточкой, – ответный визит. Послал книгу (ту же) Пуанкарэ.

Прошлую ночь опять снился Юлий, даже не он, его, кажется, не было, а его пустая квартира, со связанными и уложенными газетами на столах. Вот уже без остроты вспоминаю о нем. Иногда опять мысль: "а он в Москве, где-то в могиле, сгнил уже!" – и уже не режет, а только тупо давит,

только умственно ужасает.

1/14 февраля.

Все едут в Берлин, падают духом, сдаются, разлагаются. Большевики этого ждали… Изумительные люди! Буквально во всем ставка на человеческую низость! Неужели "новая прекрасная жизнь" вся будет заключаться только в подлости и утробе? Да, к этому идет. Истинно мы лишние.

5/18 февраля.

Дождь. Стараюсь работать. И в отчаянии – все не то!

Опять Юлий во сне. Как он должен был страдать, чувствуя, что уже никогда не увидеться нам! Сколько мы пережили за эти четыре года – так и не расскажешь никогда друг другу пережитого!

Вдруг вспоминаю – пятый час, солнце, Арбат, толпа, идем к Юлию… Этому конец навеки!

Боже, какой океан горя низвергли большевики на всех нас! Это надо помнить до могилы.

Вечером у нас Злобин [163]. Вышли пройтись, проводить его в 11 – в тихой темной улице старик, под шляпой повязанный платком, роется в мусорном ящике, что выставляют консьержки на ночь возле каждого дома, – что-то выбирает и ест. И м.б. – очень счастливый человек!

7/20 февраля.

Солнце, облака, весна, хотя еще прохладно. Вышел на балкон – 5-ый час – в чистом, углубляющемся небе одно круглое белое облако висит. Вспомнил горы, Кавказ, небо синее, яркое и в нем такое же облако, только ярче, белее – за что лишил меня Бог молодости, того, теперь уже далекого времени, когда я ездил на юг, в Крым, молодой, беззаботный, люди – родины, близких? Юлий, наша поездка на Кавказ… Ах, как бесконечно больно и жаль того счастья!

11/24 февраля.

«…» Обедали у Цетлиных с Бакстом [164]. Познакомился с Дионео «…» Понравился.

12/25 февраля.

«…» Все, что писал эти дни, – "Безымянные записки", – противно,

чепуха.

16 ф./11 марта.

Репетиция "Любовь книга золотая" Алеши Толстого в театре "Vieux Colombier". Пошлая вещичка, да и стыдно показывать французам нашу старину в таком (главное, неправильном) виде. Обедали у Ландау с Куприным. Куприн жалок и нищенской одеждой и общим падением.

14 марта.

Бальмонтам пишут из Москвы: "Очень трудно, одному на прокормление хлебом и картошкой надо пять«десят» мил«лионов», а служащие получают два с половиной мил«лиона»". «…»

18 марта.

«…» В 5 – лекция Жида [165] о Дост«оевском». «…» Жид не похож на художника, – пастор какой-то. Познакомились «…» Заснул поздно, читал «Палату ном. 6». Волнение, – очень нравится, – мучительное желание и себе писать, и чувство, что ничего не могу, что я полный банкрот – и что вот-вот откроется эта тайна. И тоска, тоска, и мысль, что теперь каждый день дорог, что старость уже на пороге, – да, уже форм«енная» старость.

19 марта.

Погода опять чудесная, все то же за окном серое, чуть сиреневое, без единого облака небо (что-то вроде нашего севастопольского) и каменный красивый беспорядок домов.

Тоска до слез. Опять бесплодно посижу, почитаю "Посл. Нов.", от вестей и подлости которых плакать хочется, – и опять погибший день. Все, что ни вспомню о парижской жизни, отравлено тайной, непонятной тоской.

6 Апреля 22 г.

Вечер Куприна. Что-то нелепое, глубоко провинциальное, какой-то дивертисмент, в пользу застрявшего в Кременчуге старого актера. «…» Меня поразил хор, глаз отвык от России; еще раз с ужасом убедился, какая мы Азия, какие монголы! «…»

8 Апреля.

«…» На ночь читал Белого "Петербург" [166]. Ничтожно, претенциозно и гадко.

9 Апреля 22 г.

Ездил в Сен-Сир и в Версаль «…» мысль переселиться в В«ерсаль» на лето или на весь год. Поехал в окрестности, много прошел пешком. Прелестный день.

Вечером разговор с Карташевым. Он, как и я, думает, что дело сделано, что Россия будет в иностр«анной» кабале, которая однако уничтожит большевиков и которую потом придется свергать. В тысячный раз дивились, до чего ошалел и оподлел мир. «…»

Кондукторша на трамвае по пути в Версаль: довольно полна, несколько ленивые масляные глаза, два-три верхних зуба видны, чуть прикусывают нижнюю губу. От этого губы всегда влажны, кажутся особ. приятными.

10 Апреля.

В посольстве доклад генерала Лохвицкого, приехавшего из Владивостока. Барская фигура Гирса.

Возвращался – пустые улицы и переулки после дождя блестят, текут, как реки, отражая длинные полосы (золотистые) от огней, среди которых иногда зеленые. Вдали что-то церковное – густо насыпанные белого блеска огни на Place Concorde. Огни в Сене – русск. национал, флаги.

11 Апреля.

Все дождь, дождь, к вечеру теплее, мягче, слаже. Не могу слышать без волнения черных дроздов.

В 5 у Мережковских с Розенталем. Розенталь предложил нам помощь: на год мне, Мережковскому, Куприну и Бальмонту по 1000 фр. в месяц. «…»

19 Апреля.

Все то же – безделье от беспокойства, необеспеченности, мука – куда ехать? Квартира зарезала!

23 Апреля.

Ездили с Верой через Maison Lafitte в С. Жермен. Чудесная погода, зеленеющий лес.

Вечер Шлецера и Шестова [167]. Шлецер, осыпая похвалами Гершензона и В. Иванова [168], излагал содержание их книжечки «Из двух углов». «…»

6 Мая.

Вечером курьер из М«инистерства» Ин«остранных» Дел – орден и диплом Of«fice» de l'Instr«uction» Pub«lique».

9 мая.

Вечером у Мережковских с Клодом Фаррером и его женой, Роджерс. Хвалили меня Фарреры ужасно. Сам особенно: вскочил, уступая мне свое кресло, усаживал, "cher maitre"…

Большой, седой, волосы серебр., а местами золотые, голос довольно тонкий, живость, жестикуляция чрезмерная (говорят, кокаинист). «…»

20 Сент./3 Окт. 22 г.

Шато Нуарэ, Амбуаз.

«…» В Берлине опять неистовство перед "Художественным Театром". И началось это неистовство еще в прошлом столетии. Вся Россия провалилась с тех пор в тартарары – нам и горюшка мало, мы все те же восторженные кретины, все те же бешеные ценители искусства. А и театр-то, в сущности, с большой дозой пошлости, каким он и всегда был. И опять "На дне" и "Вишневый сад". И никому-то даже и в голову не приходит, что этот "Сад" самое плохое произведение Чехова, олеография, а "На дне" – верх стоеросовой примитивности, произведение семинариста или самоучки, и что вообще играть теперь Горького, если бы даже был и семи пядей во лбу, верх бесстыдства. Ну, актеры уж известная сволочь в полит«ическом» смысле. А как не стыдно публике? "Рулю"?

Поет колокол St. Denis. Какое очарование! Голос давний, древний, а ведь это главное: связующий с прошлым.

И на древние русские похож. Это большое счастье и мудрость пожертвовать драгоценный колокол на ту церковь, близ которой ляжешь навеки. Тебя не будет, а твой колокол, как бы часть твоя, все будет и будет петь – сто, двести, пятьсот лет.

Читаю Блока – какой утомительный, нудный, однообразный вздор, пошлый своей высокопарностью и какой-то кощунственный. «…» Да, таинственность, все какие-то "намеки темные на то, чего не ведает никто" – таинственность жулика или сумасшедшего. Пробивается же через все это мычанье нечто, в конце концов, оч. незамысловатое.

9/22 окт.

«…» В газетах пишут: "От холода и голода в России – паралич воли,

вялость, уныние, навязчивые идеи, навязчивый страх умереть с голоду, быть убитым, ограбленным, распад высших чувств, животный эгоизм, мания запасаться, прятать и т.д."

Тот, кто называется "поэт", должен быть чувствуем, как человек редкий по уму, вкусу, стремлениям и т.д. Только в этом случае я могу слушать его интимное, любовное и проч. На что же мне нужны излияния души дурака, плебея, лакея, даже физически представляющегося мне противным? Вообще раз писатель сделал так, что потерял мое уважение, что я ему не верю – он пропал для меня. И это делают иногда две-три строки. «…»

10/23 окт. 22 г.

День моего рождения. 52. И уже не особенно сильно чувствую ужас этого. Стал привыкать, притупился.

День чудесный. Ходил в парк. Солнечно, с шумом деревьев. Шел вверх, в озарении желто-красной листвы, шумящей под ногой. И как в Глотове – щеглы, их звенящий щебет. Что за очаровательное создание! Нарядное, с красненьким, веселое, легкое, беззаботное. И этот порхающий полет. Падает, сложив крылышки, летит без них и опять распускает. В спальне моей тоже прелестно и по-нашему, по-помещичьи. «…»

28.XI. (11.XII.) 22 г.

У Денисовой, потом обедал у Фондаминских. Опять спор, как отнестись к Блоку, Белому. Мережковские: "Это заблудшие дети". Да, да блудить разрешается, но только влево. Вот Чехову 20 лет не могли забыть, что он печатался в "Нов. Вр.".

Кафедру рус. литературы предлагают мне чехи. Откажусь. «…»

У Фонд«аминских» муж Л. С. Гавронской, Бор«ис» Осип«ович», доктор, только что из России: "жить в России немыслимо, вся Россия острог, вся поголовно больна, кроме главарей…" А в Париже все кричат о том, что большевики "в панике". Все затем, чтобы сказать: "Все обойдется и без Врангелей".

1923

1/14 янв. 1923.

Новый год встречали у кн. Пл. Ник. Аргутинского. Нувель, Зилотти. Позднее художн«ик» Пикассо с женой, которая по происхожд. русская [169]. Маленький, довольно простонародного склада. «…»

Укус змеи нечто совсем особое, мистически странное, незапамятно древнее.

Летом 23 года мы с Моисеенко ехали в автомобиле из Грасса в Тулон. Моисеенко в какой-то долине остановил машину, чтобы что-то исправить в ней, я перескочил с шоссе через канаву, лег головой к ней в траву, хотел отдохнуть, покурить, как вдруг услыхал, как что-то змеей мелькнуло возле меня и в то же мгновение я, от моего постоянного патологического ужаса к змеям, так дико взбросил ноги в воздух, что дугой перелетел через канаву назад и стал на ноги на шоссе – сделал то, что мог бы сделать лишь какой-нибудь знаменитый акробат или мой древний пращур, тигр, барс. Мы не подозреваем, какие изумительные силы и способности еще таятся в нас с пещерных времен. «…»

5/18 Авг. 23 г.

Купанье в Восса. Вокзал, олеандры, их розаны и голубая синева моря за ними. Три купальщицы, молоденькие девушки. Незабываемое зрелище. Очки цвета йода. «…»

После завтрака облака на западе. Скоро понял, что не облака. Говорят, что идет страшный лесной пожар «…» Часа в четыре все ближе докатывающийся до нас мистраль, хлопанье дверей по всему дому. Облака заняли треть неба. Густое гигантское рыжевато-грязное руно – Апокалипсис! Ночью огонь.

6/19 Авг. 23 г.

Lassus maris et viarum – устав от моря и путей. Гораций. Как хорошо!

При воспоминании вспоминается и чувство, которое было в минуту того, о чем вспоминаешь.

7/20 Авг. 23 г.

Опять купался в Восса. Перед вечером перед домом, по саду спокойный, недвижный, чуть розоватый свет. И запах гари. Август, август,

любимое мое.

Gefuhl ist alles – чувство все. Гете.

Действительность – что такое действительность? Только то, что я чувствую. Остальное – вздор.

Несрочная весна.

Grau, lieber Freund, sind alle Theorien,

Doch ewig grun das goldene Baum des Lebens Все умозрения, милый друг, серы,

Но вечно зелено златое Древо Жизни.

Лаоцзы, написавший Тао-те-кин, родился с седыми волосами, старцем. Страшная гениальная легенда! [170]

"Мысль изреченная есть ложь…" А сколько самой обыкновенной лжи! Человеческий разговор на три четверти всегда ложь, и невольной, и вольной, с большим старанием ввертываемой то туда, то сюда. И все хвастовство, хвастовство.

Ночью с 28 на 29 Авг. (с 9 на 10 Сет.) 23 г.

Проснулся в 4 часа, вышел на балкон – такое божественное великолепие сини неба и крупных звезд, Ориона, Сириуса, что перекрестился на них.

Конец сент. 1923 г., Грасс.

Раннее осеннее альпийское утро, и звонят, зовут к обедне в соседнем горном городке. Горная тишина и свежесть и этот певучий средневековый звон – все то же, что и тысячу, пятьсот лет тому назад, в дни рыцарей, пап, королей, монахов. И меня не было в те дни, хотя вся моя душа полна очарованием их древней жизни и чувством, что это часть и моей собственной давней, прошлой жизни. И меня опять не будет – и очень, очень скоро – а колокол все так же будет звать еще тысячу лет новых, неведомых мне людей.

1924

Понедельник, 3 марта, 24.

Станиславск«ий» и пр. сняли фотографию где-то в гостях вместе с Юсуповым. Немедленно стало известно в Москве. Немирович в ужасе, оправдывается: "Товарищи, это клевета, этого быть не может, я телеграфирую в Америку!" А из Америки в ответ: "Мы не виноваты, вышло случайно, мы страшно взволновались, когда узнали, что попали на один снимок с Юсуповым". О, так их, так! Ум за разум заходит, когда подумаешь, до чего может дойти и до чего может довести "социалистич. правительство"!

1 июня (н.с.) 24 г.

Первые дни по приезде в Mont Fleuri страшно было: до чего все то же, что в прошлом году!

Лежал, читал, потом посмотрел на Эстерель, на его хребты в солнечной дымке… Боже мой, ведь буквально, буквально было все это и при римлянах! Для этого Эстереля и еще тысячу лет ровно ничего, а для меня еще год долой со счета – истинный ужас.

И чувство это еще ужаснее от того, что я так бесконечно счастлив, что Бог дал мне жить среди этой красоты. Кто же знает, не последнее ли это мое лето не только здесь, но и вообще на земле!

1/14.VII.24.

Цветет гранатов«ое» дерево – тугой бокальчик из красно-розов«ого» воска, откуда кудрявится красная бумажка. Листики мелкие, глянцевитые, темно-зелен«ые». Цветут белые лилии – стоят на обрыве против моего окна и так и сияют насквозь своей белизной, полные солнечного» света. С неделю назад собрали апельсинный цвет, флердоранж.

Очень, оч. часто, из года в год, вижу во сне мать, отца, теперь Юлия. И всегда живыми – и никогда ни малейш«его» удивления!

"Уныние, собран«ное», как зрелые плоды" – Верлэн. "Боевые знамена символизма… молодежь признала в В«ерлэне» своего вождя…" И ни одной анафеме не приходит в голову, какие это колоссальные пошлости!

"Генеральск«ий» бунт в Испании"… Ну, конечно, раз генералы, раз правые – бунт! "Остатки демократической и социалистич«еской» совести…".

4/17 Авг. 24 г.

У Пилкиных. Вдова Колчака, его сын. Большое впечатление – какие у него темные, грозные глаза!

10/23 Авг.

Когда Марс восходит, он красный. Потом оранжевый.

В 4-ом часу ночи проснулся. Истинно дивное небо! Все точно увешано золотыми цепями, созвездиями. Над горой направо, высоко – совершенно золотой серп месяца, ниже, под ним, грозное великолепие Ориона, а над ним, совсем в высоте, – стожар. Направо, почти над седловиной Наполеона, над горой крупной золотой звездой садится Марс.

Неклюдов [171]. Совершенно не слушает собеседника, соверш. не интересуется им!

9 Сент. н.с. 24 г.

«…» Ах, если бы перестать странствовать с квартиры на квартиру! Когда всю жизнь ведешь так, как я, особенно чувствуешь эту жизнь, это земн«ое» существование как временное пребывание на какой-то узловой станции! «…»

1929

11.IX.29.

Завтрак в Antibes у Сорина с Глазуновым [172] и его женой, Тэффи и Тикстоном. Глазунов вполне рамоли, тупой, равнодушный, даже сюртук как на покойнике. «Вернетесь в Россию?» – «Да-а… Там у меня много обязанностей… Относятся ко мне чрезвычайно хорошо…» И даже рассказал, как кто-то очень важный снял с себя и возложил на него цепь с красной звездой. Получает 200 р. пособия большевицкого. ?

XI-29.

Солнечный день, на пути в Cannes – обернулись: чисто, близко, четко видные полулежащие горы несказанно-прекрасного серого цвета, над ними эмалевое небо с белыми картинными облаками. Совершенно панно.

30-XI-29.

Если бы теплая, большая комната, с топящейся голландской печкой! Даже и этого никогда не будет. И уже прошла жизнь. «…»

1931

9 декабря.

«…» Вечером долго разговаривали с Питомцем [173]. Он рассказывал об Острове, об имении дяди, где он проводил лето (в 45 в. от Острова). Он знает помещиков, купцов, крестьян. Ян прочел его «Псковщину» – отдельные заметки, она еще не кончена. Ян сделал несколько замечаний.

12 декабря.

«…» З.Н., видимо, хочет видеть Зурова. «…» вероятно, и любопытно, и уже враждебно настроена. «…» Затем, оказывается, Ходасевич обижен на Яна, что он недоволен его статьей, что он называет его "символистом". Затем еще обижен за то, что Ян пишет о символистах. Затем, оказывается, что Яну платят монархисты. Вот до чего додумываются!

18 декабря.

«…» Гуляли вечером втроем: Ян, Скабарь «Зуров. – О. М.» и я. Говорили о литературе. У Скабаря хороший вкус – из Тургенева "Первая любовь" и природа. Ян сказал, что хороша "Поездка в Полесье", его думы о жизни. Оценил Скабарь и "Семейное счастье" Толстого, о котором редко кто вспоминает. Ян похвалил его за это.

31 декабря.

«…» Он всему радуется, на все обращает внимание, и это утомляет Яна. Ян «…» очень не весел. Томит его мысль о Париже. Денег нет, вечер устраивать трудно, а без него не обойдешься. Но я как-то спокойно на все смотрю, полагаюсь на волю Божью. Он же мучается. «…» От этого и в доме тяжелее стало. Яна все стало раздражать, и смех, и лишние разговоры. «…»

31.X.31.

Без четверти пять, мой любимый час и вид из окна (на закат, туда, к Марселю). Лежал, читал "Письма" Мансфильд [174], потом закрыл глаза и не то подумал (соверш. неизвестно, почему) о кукованье кукушки, о дали какого-то весеннего вечера, поля, леса, не то услыхал это кукованье и тотчас же стал действительно слышать где-то в далекой и глухой глубине души, вспомнил вечер нынешней весной, похожий на русский, когда

возвращались с Фондаминскими из С. Валье, вспомнил его, этот вечер, уже как бесконечно-давний молодой и счастливо-грустный, и все это связалось с какими-то воспоминаньями и чувствами моей действительной молодости… Есть ли вообще голос птицы прелестней, грустней, нежней и юней голоса кукушки!

Третий день хорошая погода. Рука лучше.

1-XI-31.

"La Toussant". Были с Верой на музыке, потом пошли в собор. «…» Видел черепа: St. Honorat'a и St. Yeugoilf'a. В 3 началась служба – под торжественно-звучные звуки органа выход священнослужителей, предшествуемых мальчиками. Потом труба и песнопения – безнадежно-грустные, покорные (мужские голоса) под оч. тугие, кругло-катящиеся, опять-таки очень звучные звуки органа, с его звучным скрежетом и все более откуда-то освобождающимся рычанием, потом присоединение ко всему этому женских голосов, уже грустно-нежными, умиленными: "А все-таки, Господи, Ты единое прибежище!"

От Гали письмо. (Она в Париже.) Завтра "Jour des Morts" или "Les Morts".

3-XII-31.

Четыре с половиной. «…» Вошел в кабинет, уже почти темный. Удивительная огненная красота облачного заката над морем – особенно сквозь черный (как бы железный) узор черно-зеленого шара мандарина. Над той горой, за которой С. Рафаэль, желто-палевое. Эстерель уже стал синим туманом. Маленькое поле плоского зелено-сиреневого слабо видного моря. В нашей долине и в городе все в темной синеве, в которой зажигаются огни. Когда зажег огонь у себя, облака над городом сделались цвета подсохших лиловых чернил (оч. мягкого). Потушил огонь – лиловое превратилось в фиолетовое.

Чувство ясности, молодости, восприимчивости, дай Бог не сглазить.

1932

10.III.32. Grasse.

Темный вечер, ходили с Галей по городу, говорили об ужасах жизни. И вдруг – подвал пекарни, там топится печь, пекут хлебы – и такая сладость жизни.

Понед., 3.X.32.

В городе ярмарка St. Michel, слышно, как ревут коровы. И вдруг страшное чувство России, тоже ярмарка, рев, народ – и такая безвыходность жизни! Отчего чувствовал это с такой особ. силой в России? Ни на что непохожая страна.

Потом представилось ни с того, ни с сего: в Париж приехал англичанин, разумный, деловой, оч. будничный человек. Отель, номер, умылся, переоделся, вышел, пошел завтракать. Во всем что такое, что сам не узнает себя – чувство молодости, беспричинного счастья… Напился так восхитительно, что, выйдя из ресторана, стал бить всех встречных… Везли в полицию соверш. окровавл«енного».

18.X.32.

Лежал в саду на скамье на коленях у Г., смотрел на вершину дерева в небе – чувство восторга жизни. Написать бы про наш сад, – что в нем. Ящерицы на ограде, кура на уступе верхнего сада…

1933

8.VI.33.

71/2 вечера, подъезжаю к Марселю. Горы голые, мелового цвета, ужасные предместья. Мост, под ним улица, трамвай… Рабочие улицы, ужас существования в них. Всякие депо, шлак… Еще жарко, сухо. Зажженные алым глянцем стекла в домах на горе. Вдали Notre Dame de la Garde… К какому-нибудь рассказу: больной подъезжает к большому городу.

10.VII.33.

Бальмонт прислал мне сонет, в котором сравнивает себя и меня с львом и тигром.

ДВА ПОЭТА
Ив. Бунину

Мы – тигр и лев, мы – два царя земные.
Кто лев, кто тигр, не знаю, право, я.
В обоих – блеск и роскошь бытия,
И наш наряд – узоры расписные.

Мы оба пред врагом не склоним выи,
И в нас не кровь, а пламенней струя.
Пусть в львиной гриве молвь, – вся власть моя,
В прыжке тигрином метче когти злые.

Не тигр и лев. Любой то лев, то тигр.
Но розны, от начала дней доныне,
Державы наши, царские пустыни.
И лучше, чем весь блеск звериных игр,
Что оба слышим зов мы благостыни,
Призыв Звезды Единой в бездне синей.

Кламар, 1933, 5 июня К. Бальмонт.

Я написал в ответ:

Милый! Пусть мы только псы
Все равно: как много шавок,
У которых только навык
Заменяет все красы.

21.VII.33.

Вечер, шел через сад Montfleury, чувствовал снова молодость и великое одиночество. «…»

В молодости неприятности надолго не держались у меня в душе – она их. защищаясь, выбрасывала.

Почти все сверстники были грз. «гораздо» взрослей меня. Vita scribi ne quit.

30.VII.33. Grasse.

Проснулся в 4 1/2. Довольно сумрачно – рассвет совсем как сумерки. В синеватых тучках небо над Эстерел«ем», над Антибск«им» мысом по тучкам красноватое, но солнца еще нет.

Вечером гроза. Лежал, читал – за окнами содрогающееся, голубое, яркое, мгновенное.

Ночью во мне пела "Лунная Соната". И подумать только, что Бог все это – самое прекрасное в мире и в человеческой душе (пропуск. – О. М.) с любовью к женщине, а что такое женщина в действительности?

17.XI.33. Воскресенье.

Видел во сне Аню с таинственностью готовящейся близости [175]. Все вспоминаю, как бывал у нее в Одессе – и такая жалость, что… А теперь навеки непоправимо. И она уже старая женщина, и я уже не тот.

Уехал Рощин [176]. Тихий сероватый день. И все напевается внутри «Яблочко» – истинно роковая песня России. Какая в ней безнадежная тоска, гибельность!

Coitus – восторг чего? Самозарождения? Напряжения жизни? Убийства смерти?

За последнее время опять – в который раз! – перечитал "Анну К«аренину»" и "Войну и м«ир»". Нынче кончил почти четвертый том – осталась посл. часть "Эпилога". Про Наполеона неотразимо. Испытал

просто ужас, и до сих пор обожествлен!

18.IX.33. Понедельник.

Удивительно прекрасный день. Был в Cannes «…» Сидел на скамеечке перед портом, ел виноград. Был у Карташевых «…» Опять он поразил меня талантливостью. «…»

Читаю "М«ертвые» Души". Нельзя читать серьезно – оч«ень» талантл«ивый» шарж и только. А чего только не наплели! "Гениальн. изображение пошлости…" И чего только сам не вообразил! "Горьким словом моим посмеюся…" России почти не видал, от этого местами нелепое соед«инение» Малороссии и Великороссии.

Умер Осип Серг. Цетлин. И осталось Монте Карло, вечная праздничная синь моря.

1.X.33

Вчера именины Веры. Отпраздновали тем, что Галя купила кусок колбасы. Недурно нажился я за всю жизнь! «…»

Проснулся оч. рано, мучась определением почерка подписи под какой-то открыткой ко мне: Сталин.

Прочел 2/3 "Воскресения" (вероятно, в десятый раз). Никогда так не ценил его достоинства (просто сверхъестественные в общем, несмотря на множество каких-то ожесточенных парадоксов, что ли). Известие в письме из Москвы о смерти Насти [177]. Оказывается, умерла уже «года три тому назад». Какой маленький круг от начала до конца человеч. жизни! Как я помню, как я гимназистом ехал с ней, держа венч«альную» иконку, в карете в Знаменское! В жизни то и дело изумление, недоумение, а выражать это – наивность!

12.X.33.

Прекрасный день, но ничего не мог писать. Кажется, серые, прохл., вернее, совсем свежие дни лучше для меня (для работы). Только теперь.

Проснулся часов в 5 – уже не первый раз за последн. «время» под пение петухов.

Думал: что тут главное? Кажется, что очень горловое, ни чуточки груди. И напряженное. И еще думал: как хорошо так жить – живу с природой, с петухами, с чистым воздухом горным (сплю все еще внизу, отворяя дверь в столовую, где открываю балконную дверь).

13.X.33.

Ездил в Cannes. Хороший день, что-то пододесское осеннее. Море похоже на Черное. Купание кончилось. Пляж пустой и стал маленький, главное – маленький.

15.X.33.

По утрам, проснувшись, слышу, как лают собаки на соседней дачке уже совсем новым, зимним лаем: за этим лаем зима (южная), глушь, свежесть (та, что у нас в октябре).

20.X. 9 ч. утра.

16-го послал avion Полонскому в Холливуд. 18-го еще.

Нынче проснулся в 6 1/2. Лежал до 8, немного задремал. Сумрачно, тихо, испещрено чуть-чуть дождем возле дома.

Вчера и нынче невольное думанье и стремление не думать. Все-таки ожидание, иногда чувство несмелой надежды – и тотчас удивление: нет, этого не м.б.! Главное – предвкушение обиды, горечи. И правда непонятно! За всю жизнь ни одного события, успеха (а сколько у других, у какого-нибудь Шаляпина, напр!) Только один раз – Академия. И как неожиданно! А их ждешь…

Да будет воля Божия – вот что надо твердить. И, подтянувшись, жить, работать, смириться мужественно.

10.XII.1933

В день получения prix Nobel.

Был готов к выезду в 4 1/2. Заехали в Гранд-отель за прочими лауреатами. Толпа едущих и идущих на улице. Очень большое здание – "концертное". Лауреатов провели отдельным входом. Все три молодые…. который должен был произнести обо мне речь (Секр. академии?).

В зале фанфары – входит король с семьей и придворные. Выходим на эстраду – король стоит, весь зал стоит.

Эстрада, кафедра. Для нас 4 стула с высокими спинками. Эстрада огромная, украшена мелкими бегониями, шведскими флагами (только шведскими, благодаря мне) и в глубине и по сторонам. Сели. Первые два ряда золоченые вышитые кресла и стулья – король в центре. Двор и родные короля. Король во фраке (?). Ордена, ленты, звезды, светлые туалеты дам – король не любит черного цвета, при дворе не носят темного. За королем и Двором, которые в первом ряду, во втором дипломаты. В следующем семья Нобель, Олейниковы. В четвертом ряду Вера, Галя, старушка-мать физика-лаурета. Первым говорил С. об Альфреде Нобеле.

Затем опять тишина, опять все встают, и я иду к королю. Шел я медленно. Спускаюсь по лестнице, подхожу к королю, который меня поражает в этот момент своим ростом. Он протягивает мне картон и футляр, где лежит медаль, затем пожимает мне руку и говорит несколько слов. Вспыхивает магний, нас снимают. Я отвечаю ему.

Аплодисменты прерывают наш разговор. Я делаю поклон и поднимаюсь снова на эстраду, где все продолжают стоять. Бросаются в глаза огромные вазы, высоко стоящие с огромными букетами белых цветов где-то очень высоко. Затем начинаются поздравления. Король уходит, и мы все в том же порядке уходим с эстрады в артистическую, где уже нас ждут друзья, знакомые, журналисты. Я не успеваю даже взглянуть на то, что у меня в руках. Кто-то выхватывает у меня папку и медаль и говорит, что это нужно где-то выставить. Затем мы уезжаем, еду я с этой милой старушкой-матерью. Она большая поклонница русской литературы, читала в подлиннике наших лучших писателей. Нас везут в Гранд-отель, откуда мы перейдем на банкет, даваемый Нобелевским Комитетом, на котором будет присутствовать кронпринц, многие принцы и принцессы, и перед которым нас и наших близких будут представлять королевской семье, и на котором каждый лауреат должен будет произнести речь.

Мой диплом отличался от других. Во-первых тем, что папка была не синяя, а светло-коричневая, а во-вторых, что в ней в красках написаны в русском билибинском стиле две картины, – особое внимание со стороны Нобелевского Комитета. Никогда, никому этого еще не делалось.

1934

«б.д.»

Летом в Грассе со мной случился у калитки "Бельведера" совершенно неожиданный внезапный обморок (первый раз в жизни): ездил с Зайцевым [178] к художнику Стеллецкому, очень устал за день, ничего не ел с утра до вечера и вот, возвратясь в Грасс из Канн в автокаре и поднявшись на гору к этой калитке, вдруг исчез, совершенно не заметив этого, – исчез весь в мгновение ока – меня вдруг не стало – настолько вдруг и молниеносно, что я даже не поймал этой секунды. Потом так же вдруг увидел и понял, что лежу в кабинете на диване, грудь облита водой, которую мне бесчувственному давали пить… Внезапная смерть, вероятно, то же самое.

1935

8.III.35. Grasse.

Уже пятый час, а все непрерывно идет мягкий снег – почти с утра. Бело сереющее небо (впрочем, не похоже на небо) и плавно, плавно – до головокружения, если смотреть пристально – текущая вниз белизна белых мух, хлопьев.

План ехать нам всем трем в Париж.

Разговор с Г. Я ей: "Наша душевная близость кончена". И ухом не повела.

6.VII.35. Grasse.

Бетховен говорил, что достиг мастерства тогда, когда перестал вкладывать в сонату содержание десяти сонат.

Вчера были в Ницце – я, Рощин, Марга и Г. Мы с Р. съездили еще в М. Карло. Жара, поразит, прекрасно.

Без конца длится страшно тяжелое для меня время.

15.VIII.35. Grasse.

Вчера Cannes, купанье в новой купальне, – все англичане, – тучи, ветер. В кафе встретил их. Выпил 2 рюмки коньяку. В Грассе купил Тавель и еще 1/4 коньяку. За обедом 1/2 б. вина, хлебнул еще коньяку, после обеда был очень говорлив, но не чувствовал себя во хмелю, лег полежать – и заснул. Проспал одетый до 4 утра, пил кофе и опять заснул до 10. Состояние странное, гибельное, но спокойное.

Так вот и умру когда-н. – заснув, – делаю над собой нечто непостижимое.

Успенье – весь день этот грасский звон колоколов – как на Пасху. «…»

Вчера был у Веры Маан (доктор). Ужасные мысли о ней. Если буду жив, вдруг могу остаться совсем один в мире.

Позавчера, в лунную ночь, М. устроила в саду скандал В.

У нас уже дней 5 Каллаш.

Любить значит верить.

1936

22.IV.36. Grasse.

Был в Cannes, взял билет в Париж на пятницу (нынче среда), в 10 ч. 37 утра (поезд Пульман). Шел по набержн., вдруг остановился: "Да к чему же вся эта непрерывная, двухлетняя мука? все равно ничему не поможешь! К черту, распрямись, забудь и не думай!" А как не думать? "Счастья, здоровья, много лет прожить и меня любить!" Все боль, нежность. Особенно когда слушаешь радио, что-нибудь прекрасное. «…»

23.IV.36.

Заснул вчера около двух часов ночи, нынче проснулся около 8. Живу не по годам. Надо опомниться. Иначе год, два – и старость.

Первый день хорошая погода.

Когда-то в этот день – 10 апр. 1907 г. уехал с В. в Палестину, соединил с нею свою жизнь.

26.IV.36. Париж.

Приехал позавчера (в пятницу) в половине одиннадцатого. Тотчас наделал глупостей: тотчас поехал на вечер Бальмонта. Но вечер уже кончился – с rue Las-Cases помчался в cafe Murat, потом в Les Fontaines, 2 больших рюмки мару, ужасная ночь.

Вчера серо, яркая молодая зелень и свинцовый тон неба – мрачное впечатление.

Вечером дома. Потом Rotond de la'Muette, Цетлины, Алданов [179] и Керенский со своей австралийкой (не первой молодости, в хороших мехах, еврейка, кажется).

Нынче дождь. Безнадежная тоска, грусть. Верно, пора сдаваться.

Выборы. Блюм [180].

8.V.36. Grasse.

Вернулся из Парижа позавчера.

В Польше читать мне не разрешили: "Просили писатели других держав", – очевидно, русские, советские, – "мы не разрешили, так что разрешить Бунину было бы не куртуазно".

О чувстве божественного – ночь, звезды, ходил в саду.

9.V.36. Grasse.

Весь день дождь. Убираю вещи – м.б., из Грасса, благодаря Блюму, придется бежать.

Дай Б. не сглазить – эти дни спокойнее. М.б., потому, что в Париже принимал 2 недели Pankrinol-Elexir.

Она в Берлине.

Чудовищно провел 2 года! И разорился от этой страшной и гадкой жизни.

Радио, джазы, фокстроты. Оч. мучит. Вспоминаю то ужасное время в J. les-Pins, балы в Париже, – как она шла под них. Под радио все хочется простить.

10.V.36.

Заснул в 3, проснулся в 8. Дождь.

Да, что я наделал за эти 2 года. «…» агенты, которые вечно будут получать с меня проценты, отдача Собрания Сочин. бесплатно – был вполне сумасшедший. С денег ни копейки доходу… И впереди старость, выход в тираж. «…»

7.VI.36. Grasse.

Главное – тяжкое чувство обиды, подлого оскорбления и собственного постыдного поведения. Собственно, уже два года болен душевно, душевнобольной. «…»

Вчера Блюм начал свое правление. Забастовки, захваты заводов. «…»

14.VI.36. Grasse.

«…» Был в Ницце – "День рус. культуры". Постыдное убожество. Когда уезжал (поехал на Cannes), за казино (в Ницце) огромная толпа… Все честь честью, как у нас когда-то – плакаты, красные флаги, митинги.

В Grass'e тоже "праздник". Над нашим "Бельведером", на городской площадке, тоже толпа, мальчишки, бляди, молодые хулиганы, "Марсельеза", и "Интернационал", на бархатных красных флагах (один из которых держали мальчик и девочка лет по 6, по 7) – серп и молот. «…»

Надо серьезно думать бежать отсюда. «…»

Видел в Ницце Зайцевых [181]. «…» – грустные, подавленные тем, что происходит в Париже.

Душевно чувствую себя особенно тяжело. Все одно к одному!

1.VII.36. Grasse.

Все занят "Освобождением Толстого".

Ночь с 7 на 8.VII.

Изумительные белые облака над садом и из-за гор. Луна в озере барашков.

16.VIII.36.

Иногда страшно ясно сознание: до чего я пал! Чуть ни каждый шаг был глупостью, унижением! И все время полное безделие, безволие – чудовищно бездарное существование!

Опомниться, опомниться!

1.XII. Париж.

Светлая погода. И опять – решение жить здоровее, достойнее. «…»

1937

19.VIII.37. Венеция.

Вчера приехал сюда в 5 ч. вечера с Rome Express. Еду в Югославию. Остановился в Hotel Britania.

Нынче был на Лидо. Огромно, гадко, скучно. Обедал у Бауэра.

Лунная ночь, 9 часов – всюду музыкально бьют часы на башнях. «…»

1938

«б.д.»

"Труднее этого заработка – чтениями – кажется, ничего нет.

Вагоны, отели, встречи, банкеты – и чтения – актерская игра, среди кулис, уходящих к чертовой матери вверх, откуда несет холодным сквозняком. «…»

После чтения был банкет. Множество речей, – искренно восторженных и необыкновенных по неумеренности похвал: кажется, вполне убежден, что я по крайней мере Шекспир…"»

5.XI.38. Beausoleil.

Лун. ночь. Великолепие неб«есной» синевы, объемлющей своей куполообразностью, глубиной и высотой все – горы, море, город внизу. И таинств., темно мерцающая над самой Собачьей Горой звезда (вправо от нас).

Лихорадочный взгляд…

1939

17.VII.39.

Вчера с Маркюсами, Верой и Лялей осмотр виллы и Cannet-La Palmeraie. Нынче еду с Г. и М. в Juan-les-Pins смотреть другие виллы.

21 июля записал на клочке ночью: «Еще летают лючиоли». «…»

1940

1940 г. Villa Jeannette, Grasse, a-m.

1.III.

Вчера ездил в Ниццу. Как всегда, грусть – солнце, море, множество как бы праздничного народа – и ни души знакомой, нужной.

Не застал Цакни [182], оставил ему записку, что буду в понед. в 2 1/2 ч. «…»

Нынче послал открытку-avion Гребенщикову [183], чтобы написал в америк. газетах о писательской нужде в эмиграции. «…»

Погода как будто на весну, но все холодный ветер. Финнам плохо.

6.III.40

«…» Нынче холодно, с утра было серо, туман, крупа, шел с полчаса снег. А вчера, гуляя с Верой ночью по саду, услыхал первую лягушку – думал, начинается, значит, весна.

Прочел книжечку (изд. Суворина) гр. Соллогуба – Аптекарша, Метель, Неоконченные повести. Довольно ловко все, но ненужно. Герои и героини, как всегда писали прежде, умирают от несч. любви.

Хорошо для рассказа, донской казак Харулин.

Хорошо бы написать рассказ, действие которого в Бахчисарае. Татарин Осламбей. Татары говорят: "тютюн ичмен!" т.е. надо "попить дыму" (покурить). Еще: "шишлык" (а не шашлык; шиш по-татарски вертел, палочка). Хорош Бахчисарай.

Овцы Божья стада.

Темно-желтая бабочка в черных узорах на крыльях. Задние крылья – с длинными черными косицами. (Все это нынче ночью почему-то приходило в голову.) «…»

11.III.40.

«…» Все еще оч. холодно – всю зиму мучение – одна из причин, почему только лежу и читаю.

Переговоры о мире Сталина и финнов. Ужас! (…»

Читаю "Отеч. Зап." за 84-й год. Там стихи Мережковского, столь опытные, что, верно, было ему тогда не меньше 20 лет, и стихи Надсона: "Горячо наше солнце безоблачным днем" – одни из немногих, которые мне

нравились когда-то – семнадцатилетнему – и теперь до чего-то чудесного воскресили всего меня той поры. Называется "В глуши". Вижу и чувствую эту "глушь" соверш. так же, как тогда – в той же картине (и теперь такой же поэтической, несмотря на то, что это Надсон). «…»

14.III.40.

Вчера страшная весть – финны сдались – согласились на тяжкий и позорный мир. Даже ночью, сквозь сон, все мучился, что-то во сне думал, выдумывал.

Первый почти летний день. Ночью туман, слышны были лягушки.

Позавчера обварил себе правую руку кипятком. Горит, вспухла. «…»

Кончил перечитывание двух рассказов Тургенева. Мастерство изумительное, но в общем читал равнодушно – исключение некот. страницы. Кое-что (почти все, вернее) читал как новое – так забывается Тургенев. Одно "Полесье" почти все по-настоящему прекрасно. Почти во всех рассказах, – да, кажется, даже во всех, – редкое богатство совершенно своих, удивительных по меткости определений чувств и мыслей, лиц и предметов.

17.III.40.

«…» Перечитал "Что такое искусство" – Толст«ого». Скучно, – кроме нескольких страниц, – неубедительно. Давно не читал, думал, что лучше. Привел сотни определений того, что такое красота и что такое искусство, – сколько прочел, какой труд проделал! – все эти определения, действительно, гроша настоящего не стоят, но сам не сказал ничего путного.

29.III.40.

Лежу, читаю, порой смотрю в солнечн. окна и думаю, – о том своем я, которое живет и сознает себя уже лет 60 – и это я думает, что лет через 5, много 10, его не будет. И не будет оно ничего видеть и думать. Странно!

30.III.40. Суббота.

Приехал из Ниццы Цакни. Почти весь день очень светлый, но холодный. Ужасная весна. Неск. дней тому назад дня два лил ледяной дождь. «…»

Стал присаживаться к письм. столу.

В Париж я уехал 29 янв., вернулся в Grasse в субботу 16-го февраля.

За последние дни просмотрел за год "Отеч. Записки" (1883 г.) «…»

Гаршин, если бы не погиб, стал бы замечательным писателем.

1.IV.40.

Цакни ночевал 2 ночи, уехал нынче утром, когда я еще спал.

Все еще холодно, но так же светло.

Нынче послал в Париж заказным declaration своих доходов (которых нет – надо выдумывать, чтобы не подумали, что вру. И показал 14000).

Прочел роман Ясинского [184] «Старый друг». Скучно. Женщина, как всегда у него, написана не плохо.

3.IV.40.

На вид из окон дни все светоносное, – кажется, что уже лето. Но еще прохладно.

Вчера Марга пела у маркизы. Человек 30 народу. «…» Мы туда и назад с англичанкой Херст из имения возле Маганьоска. На обратн. пути Оля [185] пела и кричала всю дорогу, не умолкая. Я вел себя глупо – рюмка виски и три джину в баре у маркизы. «…» Нельзя пить. «…»

Переписываю дневниковые клочки предыдущих лет. Многое рву и жгу. «…»

4.IV.40.

«…» Купил 2 рубашки и белый картуз в Old England. Давно знакомый приказчик уже совсем не тот, что когда-то – потолстел, слегка поседел. На глазах меняются, гибнут люди. А Лантельмы! Марсель толстый мужчина, а давно ли был мальчиком! Старик же прямо страшен, ногти, пальцы уже совсем гробовые. Весь как во сне, но когда садится за кассу, видно, что счастлив получать и сдавать сдачу. Думает ли, что вот-вот отвезут его страшный труп на кладбище в St. Jacques?

5.IV.40.

Ночью мистраль. Есть и днем. За Эстерелем (да и Э.) горы бархатно-синие. Расчистил воздух.

Думаю, что "Фальш. Купон" возник, м.б., у Толстого в связи с когда-то прочтенным им рассказом Даля "Серенькая" (так назывались бумажки в 50 рубл.). «…»

Отец говорил вместо Белинский – Белынский. Прочитал на днях у Тургенева, что многие так называли Белинского при его жизни – пустили слух, что он "полячишка".

Прежде часто писали: "возразил". Герои прежних романов не сразу понимали, что они влюблены. "И вдруг с восторгом, с ужасом сказал себе: я люблю ее!"

6.IV. (Суббота). 1940.

«…» Проснулся в 8 1/2. Погода все та же и тот же холодноватый ветер среди солнечн. тепла, все увеличивающегося. Скоро зазеленеют деревья – уже как будто что-то начинается – смотрел из окна в сторону Марселя – у нас в саду уже зазеленел молодой каштан. Будет удивит, прекрасно. Короткая, несказ«анно» прекрасная пора первой зелени.

Вспомнил, как я всю жизнь одинаково представлял себе год:

ДЕК.
НОЯБ.
ОКТ.
СЕНТ. – ЯНВ.
АВГ. – МАЙ – АПР. – ФЕВР.
ИЮЛЬ – ИЮНЬ – МАРТ

Понед., 8.IV.40.

А. К. Толстой писал жене (в 55 г.): "Сипягин – хороший, добрый, благородный малый, который обожает свою роту и чрезвычайно ею любим…" Этот Сипягин крестил меня. Был тогда уже генералом.

10.IV.40.

Позавчера проснулся в 9, чувствуя (как всегда чувствую с паучиной чуткостью) близкое изменение погоды: после полудня день замутился, пошли облака над горами к Ницце и к вечеру пошел дождь. Вчера в газетах хвастовство – союзники "в один час!" положили мины вдоль берегов Норвегии. С утра шел дождь. После завтрака – нынче – открыл радио – ошеломляющая весть: немцы захватили Данию и ворвались в Норвегию – вот тебе и мины! «…»

12.IV.40.

Неожиданная новость: письмо Серова и Зурова – у Зурова туберкулез. «…» Вера сперва залилась розовым огнем и заплакала, потом успокоилась, – верно оттого, что я согласился на ее поездку в Париж и что теперь З. не возьмут в солдаты. Ходил с ней в город, она подала просьбу о пропуске в П. Едет, вероятно, во вторник. А мне опять вынимать тысячу, полторы! Мало того, что у меня почему-то на шее Л«яля» с девочкой и

М«арга» и Г«алина»!

Особых вестей из Норвегии нынче нет. Боюсь, что опять дело замрет.

Продолжаю просматривать "От. Записки" за 82 г. «…» – все это читал тысячу лет тому назад в Озерках, 15, 16 лет, с Юлием – все забыл, а оказалось, что помню кое-что чуть не наизусть.

Дремучие снежн. сумерки, Цвиленевская усадьба, где жил Евгений, эта девка (уже не помню ее имени)…

Весна, а все еще холодно, еще топим. Пересматриваю опять письма и дневники А. К. Толстого. Соверш. очароват. человек! Начал "Головлевых" – не плохо, но мне скучно, ненужно.

Переписываю с клочков дневниковые заметки. Многое рву. А зачем кое-что оставляю и переписываю – неизвестно.

13.IV.40.

Серо, холодно, деревцо за окном на Ниццу все зазеленело ярко-светлой зеленью и все дрожит под ветром. «…»

14-16.IV.40.

Немцы заперты новыми минами, потеряли 1/3 флота, отдали Нарвик – разгром!

17.IV.40.

Вчера уехала Вера. Отвез ее в Cannes в такси. «…»

Часов в 10 вечера ходил с М. и Г. запирать часовню. Лунная ночь, дивился, среди чего приходится жить – эти ночи, кипарисы, чей-то английский дом, горы, долина, море… А когда-то Озерки!

Прошелся: из-за вершин пиний выглядывает, перемещается, блещет огромная Венера (не высоко над горой, на северо-западе) – ярко-блестящая, неподвижная, стеклянно-золотая, совсем как те, что рисуют на мундирах. «…»

Ужасная была беллетристика в "Отеч. Зап." и т. п. журналах. «…»

17.IV.40.

«…» Вот, кажется, теперь уже несомненно: никогда мне не быть, напр., на Таити, в Гималаях, никогда не видать японских рощ и храмов и никогда не увидеть вновь Нила, Фив, Карпана, его руин, пальм, буйвола в грязи, затянутого илом пруда… Никогда! Все это будет существовать во веки веков, а для меня все это кончено навсегда. Непостижимо.

Пятница 18.IV.40.

Вчера весь день просидел в доме, вышел всего минут на десять вечером.

Нынче то же – вышел в 10, ходил по саду 35 м. Луна высоко (как и предыдущ. месяцы), кучевые белые облака… Как страшно – одиноко живу! И как дико – 3 бабы на плечах! «…»

Вчера ночью шум жаб уже несметных. Теплеет.

Кончил "Господ Головлевых". Умный, талантливый, сильный, знающий, но литератор. «…»

Что вышло из Г.! Какая тупость, какое бездушие, какая бессм. жизнь!

Вдруг вспомнилось – "бал писателей" в январе 27 года, приревновала к Одоевц«евой» [186]. Как была трогательна, детски прелестна! Возвращались на рассвете, ушла в бальных башмачках одна в свой отельчик…

20.IV.40.

Проснулся в 9, зачитался до 12 1/2 "Le Reve" Зола [187]. «…» Ходил с Олечкой смотреть в бассейне лягушку – не оказалось. «…»

Вчера ночью открыл окно в ванной комнате – широкое – на площадке под ним лунный свет как бы меловой.

21.IV.40.

Прекрасный, уже совсем теплый день. Дубы возле chaumiere уже сплошь в бледно-зеленых мушках. Все меняется с каждым днем. Уже распускается листва на безобразн. кулаках 2 деревьев на площадке. Цветет сирень, глицинии… (Ялта, Пасха…).

Письмо от Веры.

2 1/2 ч. Ходил по саду – заросла уже высокой травой вторая (от нижней дороги) площадка. Все еще цветет бледно-розовыми, легкими, нежными, оч. женств. цветами какого-то особого сорта вишня, цветут 2 корявых яблоньки белыми (в бутонах тоже розоватыми) цветами. Ирисы цветут, нашел ветку шиповника цветущую (легкий алый цвет с желтой пыльцой в середине), какие-то цветы, вроде мака – легчайшие, но яркого оранжевого цвета… Сидел на плетеном разрушающемся кресле, смотрел на легкие и смутные как дым горы за Ниццей… Райский край! И уже сколько лет я его вижу, чувствую! Одиноко, неудобно, но переселиться под Париж… ничтожество природы, мерзкий климат!

Как всегда почти, точно один во всем доме. «…»

Светлый день, праздник, в море как будто пустее – и звонят, звонят в городе… Не умею выразить, что за всем этим.

Множество мотыльков вьется вокруг цвета сирени – белых с зеленоватым оттенком, прозрачных. И опять пчелы, шмели, мухи нарождаются…

Кончил перечитывать 12-й т. Тургенева (изд. Маркса) – "Лит. и жит. восп.", "Критич. речи и статьи" и т.д. Соверш. замечат. человек и писатель. Особенно "Казнь Тропмана", "Человек в серых очках", неск. слов о наружности Пушкина, Лерм«онтова», Кольцова.

Этот апрельск. расцвет деревьев, трав, цветов, вообще эти первые весенние дни – более тонко – прекрасного, чистого, праздничного нет в мире.

Во многих смыслах я все-таки могу сказать, как Фауст о себе: "И псу не жить, как я живу". «…»

Вчера день рожд. Гитлера. Нынче радио: Муссол«ини» в поздравит, телеграмме желает ему "победоносно выйти из той героич. борьбы, которую ведет он и германский народ". И несчастный итальянок, король тоже поздравляет "горячо" – вынуждены к соучастию в дружбе. «…»

27.IV.40.

Был в Ницце – ни Цакни, ни Михайлова (а Вера писала, что он выезжает в пятн.) «…» Дождь. Возвращался через Cannes. Встретил там Г. «…» Вести из Норвегии не радуют.

28.IV.40. Светлое Воскресенье.

Завтракали у Самойлова. Взял туда такси, уехал через час. Дорогой дождь, пыльно-дымные тучи с хоботами. Потом все потонуло в дожде и тумане. Обедал у Маркюс.

Наш бедный пасх. стол.

Был поэт Аполлон Коринфский. Точно плохим писателем в насмешку выдумано.

30.IV.40. Вторник.

Серо, холодно, дождь.

И так всегда: спрячешь зонт, калоши – на другой день дождь. Прячу, верно, потому, что перед переменой погоды внутренне волнуюсь и от этого, напр., начинаю уборку. Вчера очистил от замазки окна, содрал с их пазов войлочные ленты – и вот нынче холод и ветер, так сильно дующий в эти пазы, что вечером ходит занавес, который отделяет от моей спальни ее

"фонарь" из пяти окон и на ночь задергивается.

Сейчас вспомнил почему-то Майнц (соединенный с Висбаденом, где мы жили с Мережковскими в отеле на Neroberg). – Почему? – непостижима эта жизнь воспоминаний, это "почему-то", "ни с того, ни с сего"! Поехали туда с Верой на трамвае, ходили по городу, заходили в церкви. «…» Потом вдруг вспомнил церковь на rue Daru, гроб дочери Н.В. Чайковского… До сих пор пронзает сердце, как он, со своей белой бородой, в старенькой визитке, плакал, молился на коленях. «…»

Ночь, темная полоса леса вдали и над ним звезда – смиренная, прелестная. Это где-то, когда-то на всю жизнь поразило в детстве… Боже мой, Боже мой! Было и у меня когда-то детство, первые дни моей жизни на земле! Просто не верится! Теперь только мысль, что они были. И вот идут уже последние. «…»

Убежден, что Г«оголь» никогда не жег "М«ертвых» Д«уш»".

Не знаю, кого больше ненавижу, как человека – Гоголя или Достоевского.

2.V. 40. Четверг. Вознесение (католическое).

«…» Вчера должен был уехать в санаторию Зуров.

4 часа. Был в полиции, заказал sauf conduit в Париж. Все еще колеблюсь, ехать ли. Но предполагаю выехать 6-го или 7-го.

Нашел клочок из моих писем: «…» "16-X-26. Вчера Рахманинов прислал за нами свой удивительный автомобиль, мы обедали у него, и он, между прочим, рассказал об известном музыканте Танееве [188]: был в Москве концерт Дебюсси [189], и вот, в антракте, один музыкальный критик, по профессии учитель географии, спрашивает его: «Ну, что скажете?» Танеев отвечает, что ему не нравится. И критик ласково треплет его по плечу и говорит: «Ну, что ж, дорогой мой, вы этого просто не понимаете, не можете понять». А Танеев в ответ ему еще ласковее: «Да, да, я не знал до сих пор, что для понимания музыки не нужно быть 30 лет музыкантом, а нужно быть учителем географии».

3.V.40.

Был в Cannes, к Куку за билетом в Париж. «…»

Из Норвегии всю посл. неделю вести почти ужасные. Тяжело читать газеты. «…»

7.V.40.

Собираюсь, завтра еду в Париж в 6 ч. 24 м. вечера. Как всегда, тревожно, грустно. Жаль покидать дом, комнату, сад. Вчера и нынче совсем лето. Сейчас 5, над Ниццей тучи, гремел гром.

"Жизнь Арс." ("Истоки дней") вся написана в Грассе. Начал 22.VI.27. Кончил 17/30.VII.29. "Первая книга" кончена 21.IX.27. Вторая начата 27.IX.27, кончена в февр. 28 г. Третья начата 14.VI.28, кончена 17/30.IX.28. Четвертая – начата?, кончена, как записано выше, 17/30.VII.29.

Вчера взял из сейфа 10 000 фр.

"Человек и его тело – двое… Когда тело желает чего-нибудь, подумай, правда ли Ты желаешь этого. Ибо Ты – Бог… Проникни в себя, чтобы найти в себе Бога… Не принимай своего тела за себя… Не поддавайся беспрестанной тревоге о мелочах, в которой многие проводят большую часть своего времени…"

"Один из тех, которым нет покоя.

От жажды счастья…"

Кажется, похоже на меня, на всю мою жизнь (даже и доныне). «…»

Перечитал свои рассказы для новой книги [190]. Лучше всего «Поздний час», потом, м. б., «Степа», «Баллада».

Как-то мне, – как бывает у меня чаще всего ни с того, ни с сего, – представилось: вечер после грозы и ливня на дороге к ст. Баборыкиной. И небо и земля – все уже угрюмо темнеет. Вдали над темной полосой леса еще вспыхивает. Кто-то на крыльце постоялого двора возле шоссе стоит, очищая с голеницщ кнутовищем грязь. Возле него собака… Отсюда и вышла "Степа".

"Поздний час" написан после окончательного просмотра того, что я так нехорошо назвал "Ликой".

"Музу" выдумал, вспоминая мои зимы в Москве на Арбате и то время, когда однажды гостил летом на даче Телешова под Москвой.

В феврале 1938 г. в Париже проснулся однажды с мыслью, что надо дать что-нибудь в "Посл. Н." в покрытие долга, вспомнил вдруг давние зимы в Васильевском и мгновенно в уме мелькнула суть "Баллады" – опять-таки ни с того, ни с сего.

1.VI.40. Grasse.

Вчера был Михайлов «…» Они приехали в Ниццу, едут в По – тревожны, как все, – вот-вот выступит Италия.

Бегство ("героическое!") французов и англичан из Dunquerque продолжается.

8.VI.

Начал сборы на случай бегства из Грасса. Куда бежать? Вера и Г. и М. говорят: "На ферму Жировых – там все-таки есть убежище, между тем как найти его где-нибудь в другом месте надежд почти нет". Я не верю, что там можно жить, – ни огня, ни воды, ни постелей… Не знаю, как быть.

Страшные, решительные дни – идут на Париж, с каждым днем продвигаются. «…»

9.VI.

Мы все отступаем.

Зацвели лилии, лючиоли летают уже давно – с самых первых дней июня.

Страшно подумать – 17 лет прошло с тех пор, как мы поселились в Грассе, в этом удивительном поместье Villa Montfleuri, где тогда как раз вскоре расцвели лилии! Думал ли я, что в каком-то Грассе протечет чуть не четверть всей моей жизни! И как я тогда был еще молод! И вот исчезла и эта часть моей жизни – точно ее и не бывало. «…»

Не мало было французов, которые начали ждать войны чуть не 10 лет тому назад (как мировой катастрофы). И вот Франция оказалась совсем не готовой к ней!

Да, а по привычке все еще идет в голову Бог знает что. Вот вдруг подумал сейчас: имена, отчества, фамилии должны звучать в рассказах очень ладно, свободно, – например: Марья Викентьевна, Борис Петрович…

22.VII.40, понедельник.

Ничего не записывал с отъезда в Париж в мае. Приехал туда в одиннадцатом часу вечера 9-го (выехал 8-го, ночевал в Марселе, из М. утром). Вера была в Париже уже с месяц, встретила меня на Лионск. вокзале. Когда ехали с вокзала на квартиру, меня поразило то, что по всему черному небу непрестанно ходили перекрещивающиеся полосы прожекторов – "что-то будет!" подумал я. И точно: утром Вера ушла на базар, когда я еще спал, и вернулась домой с "Paris-Midi": немцы ворвались ночью в Люкс«ембург», Голландию и Бельгию. Отсюда и пошло, покатилось…

Сидели в Париже, потому что молодой Гавр«онский» работал над моими нижними передними зубами. А алерты становились все чаще и страшней (хотя не производили на меня почти ник. впечатления). Наконец, уехали – на автомобиле с Жировым, в 6 ч. вечера 22-го мая. Автом. был не его, а другого шофера, его приятеля Бразоля, сына полтавского губернск.

предводителя дворянства: это ли не изумительно! – того самого, что председательствовал на губ. земск. собраниях в Полтаве, когда я служил там библиотекарем в губ. земск. управе. «…»

23.VII.40.

«…» И в Париже все поражены, не понимают, как могло это случиться (это чудовищное поражение Франции). «…»

24.VII.40.

Утром (не выспавшись) с Г. в Ниццу. «…» Завтрак с Алдановым в Эльзасской таверне. «…» В Ниццу съезжаются кинематографщики – Алданов надеется на работу у них, как консультант.

25.VII.40.

«…» устал вчера в Ницце. Верно, старею, все слабость.

С Жировым доехали 23 мая до Макона. Оттуда ночью (в 3 1/2) на поезде в Cannes – ехали 12 часов (от Макона до Лиона в третьем классе – влезли в темноте – стоя, среди спящих в коридоре солдат, их мешков и т. п.)

По приезде домой с неделю мучились, хлопотали, отбивая Маргу от конц. лагеря (у нее немецкий паспорт).

10 июня вечером Италия вступила в войну. Не спал до часу. В час открыл окно, высунулся – один соловей в пустоте, в неподвижности, в несуществовании никакой жизни. Нигде ни единого огня.

Дальше – неделя тревожных сборов к выезду из Грасса – думали, что, м. б., на неск. месяцев – я убрал все наше жалкое имущество. Боялся ехать – кинуться в море беженцев, куда-то в Вандею, в Пиренеи, куда бежит вся Франция, вшестером, с 30 местами багажа… Уехали больше всего из-за Марги – ей в жандармерии приказали уехать из Alpes Mar. "в 24 часа!" Помогли и алерты, и мысль, что, возможно, попадешь под итальянцев. (Первый алерт был у нас в воскр. 2-го июня, в 9-ом часу утра.)

3 июня Марга мне крикнула из своего окна, прослушав радио: "Страшный налет на Париж, сброшено больше 1000 бомб". 5-го июня прочитал в "Ed.", что убитых в Париже оказалось 254 ч., раненых 652. Утром узнал и по радио, что началось огромн. сражение. «…» 6-го был в Ницце у Неклюдовых для знакомства с Еленой Александр. Розенмейер, родной внучкой Пушкина – крепкая, невысокая женщина, на вид не больше 45, лицо, его костяк, овал – что-то напоминающее пушкинскую посмертную маску. По дороге в Н. – барьеры, баррикады. «…»

Выехали мы (я. Вера, М., Г., Ляля и Оля) 16-го июня, в 10 ч. утра, на

наемном, из Нима, автомобиле (2000 фр. до Нима). Прекрасный день. Завтрак в каком-то городке тотчас за Бриньолем. В Ним приехали на закате, с час ездили по отелям – нигде ни одного места! Потом вокзал «…» – думали уехать дальше на поезде – невозможно, тьма народу – а как влезть с 30 вещами! Ходили в буфет, ели. Полное отчаяние – ночевать на мостовой возле вокзала! М. и Г. пошли искать такси, чтобы ехать дальше в ночь, – и наткнулись на рус. еврея таксиста. Ночевали у него. 17-го выехали опять в такси в Тулузу и дальше, в Монтобан, надеясь там ночевать, а потом опять на Lafrancaise, возле которого ферма Жирова. Думали: в крайнем случае поселимся там, хотя знали, что там ни воды, ни огня, ни постелей. Плата до Lafr., – 2300 фр. Сперва широкая дорога в платанах, тень и солнце, веселое утро. Милый городок Люпель. Остановки по дороге военными стражами, проверки документов. Море виноградников, вдали горы. Около часу в каком-то городишке остановка «…», подошел крестьянин лет 50 и со слезами сказал: "Вы можете ехать назад – армистис!" Но назад ехать было нельзя, не имея проходного свидетельства. Завтрак под с. Этьен (?). Опять виноградники, виноградн. степь. За Нарбоном – Иудея, камни, опять виногр., ряды кипарисов, насажен, от ветра. «…» Мерзкая Тулуза, огромная, вульгарная, множество польских офицеров… (По всему пути – сотни мчащихся в автом. беженцев.) В Монтобане – ни единого места. В сумерки – Lafrancaise – тоже. И попали к Грязновым…

28.VII. Воскресенье.

Читаю роман Краснова [191] «С нами Бог». Не ожидал, что он так способен, так много знает и так занятен. «…»

2 часа. Да, живу в раю. До сих пор не могу привыкнуть к таким дням, к такому виду. Нынче особенно великолепный день. Смотрел в окна своего фонаря. Все долины и горы кругом в солнечно-голубой дымке. В сторону Ниццы над горами чудесные грозовые облака. Правее, в сосновом лесу над ними, красота зноя, сухости, сквозящего в вершинах неба. Справа, вдоль нашей каменной лестницы зацветают небольшими розовыми цветами два олеандра с их мелкими острыми листьями. И одиночество, одиночество, как всегда! И томительное ожидание разрешения судьбы Англии. По утрам боюсь раскрыть газету.

Евреям с древности предписано: всегда (и особенно в счастливые дни) думать о смерти.

"Belligerants". Можно перевести старинным русским словом: противоборники.

Зажгли маяки. В первый раз увидал отсюда (с "Jeannette") Антибский:

взметывается и исчезает большая лучистая золотая звезда.

29.VII.40.

Вчера еще читал "Вечерние огни" [192] Фета – в который раз! (Теперь, верно, уже в последний в жизни.) Почти все из рук вон плохо. Многое даже противно – его старческая любовь. То есть, то, как он ее выражает. Хорошая тема: написать всю красоту и боль такой поздней любви, ее чувств и мыслей при всей гадкой внешности старика, подобного Фету, – губастого, с серо-седой бородой, с запухшими глазами, с большими холодными ушами, с брюшком, в отличном сером костюме (лето), в чудесном белье, – но чувств и мыслей тайных, глубоко ото всех скрытых.

А у меня все одно, одно в глубине души: тысячу лет вот так же будут сиять эти дни, а меня не будет. Вот-вот не будет.

Был в Cannes, хотел купаться и не купался – еще только начали ставить кабинки. «…»

30.VII.40.

Все то же – бьют друг друга авионы. И немцы все пугают, пускают слухи, что они делают "гигантские приготовления" к решительной атаке.

Весть из Лозанны – о возможности выступления Америки. Нет, не выступит!

Прочел о том опыте, который сделали несколько лет тому назад два венских студента: решили удавиться, чтобы их вынули из петли за мгновение до смерти и они могли рассказать, что испытали. Оказалось, что испытали ослепит, свет и грохот грома.

Смерть Алексея Ивановича Пушешникова (мужа моей двоюродной сестры Софьи Николаевны Буниной) весной 1885 г. Так помню эти дни, точно в прошлом году были (написаны в "Жизни Арсеньева"). Замечательней всего то, что мне и в голову не приходило, что и я умру. Вернее – м.б., приходило, но все-таки ничуть не касалось меня.

Вдруг вспомнилось: Москва, Малый театр, лестницы – и то очень теплые, то ледяные сквозняки. «…»

1.VIII.40. Grasse, a.m.

«…» Carlotti прописал постоянно носить очки (для дали, для чтения оставил те, что дал Pollac) и прикладывать утром и вечером очень горячие компрессы из чая: левый глаз слезится от утомления зрения. Постоянно носить очки не могу – буду чувствовать себя неестественно, поглупевшим. «…»

7.VIII.40.

Были с Верой в Ницце в американок, консульстве. В кафе Casino с Цетлиными и минуту с Алдановыми (они пришли поздно).

9.VIII.40. Пятница.

«…» Алданов с самого приезда своего все твердит, что будет "гражданок, война". Твердо решив уехать в Америку «…»

Цетлины тоже собираются. «…»

Ни риса, ни макарон, ни huile, ни мыла для стирки.

10.VIII.40.

Продолжается разграбление Румынии – румыны должны дать что-то еще и Венгрии.

8-го была огромная битва нем. и англ. авионов над берегами Англии.

Японцы, пользуясь случаем, придираются к Англии. Сталин – к Финляндии, Испания – к Англии (отдай Гибралтар).

Все растет юдофобство – в Рум. новые меры против евреев. Начинает юдофобствовать и Франция.

Олеандры густо покрылись алыми цветами.

15.VII.40. Католич. Успенье.

Немцы стреляют по Англии из тяж«елых» орудий. Англ. бомбардировали Милан и Турин. Болгарск. и венгерские требования к Румынии. Рум. король будто бы намерен отречься и скрыться в Турции.

Сталин устраивает ком. манифестации в Гельсингфорсе и Або – и грозит финнам, которые эти маниф. разгоняют. Верно, вот-вот возьмет всю Финл. «…»

17.VIII.40.

Проснулся в 6 1/2 (значит, по-настоящему в 5 1/2). Выпил кофе, прочитал в "Вест. Европы" (за 1881 г., взял в библ. канской церкви) "Липяги" Эртеля [193]. Ужасно. Люба должна выйти за «господина Карамышева», камер-юнкера, богача, пошляка, проповедующего «верховенство» дворянства в России надо всем, его опеку над народом – «на благо народу». Лунной ночью автор подслушивает разговор его и Любы из своего окна. «…»

Все утро все долины и горы в светлом пару. Неясное, слабо пригревающее солнце, чуть слышный горьковатый запах воздуха – уже

осенний.

«…» огромный налет немцев «avec une precision admirable»! (с великолепной точностью! – фр.) на Лондон, на берега Темзы – "все в дыму, в пламени…" Кажется, и впрямь начинается.

Погода разгулялась, тишина, зной, торопливо, без устали, без перерыва точат-точат цикады у нас в саду.

Сейчас около 7 вечера. Были в городе за покупками. «…» Магазины почти пусты – все раскупалось последний месяц бешено. Уже исчезло и сало (масла нет давным-давно). Мыло для стирки выдают по карточкам маленьк. кусочками, весят, как драгоценность. Осенью, когда исчезнут овощи и фрукты, есть будет нечего.

Днем начал перечитывать "Песнь торжествующей» любви" – ноябрь 1881 г., "Вести. Евр." Сейчас кончил. Удивительно написано. Но опять то же чувство: мертво, слишком "великолепно", "слишком хорошо". Вечер тихий, прекрасный. И опять все долины и горы в дымке.

Наши летчики во время прошлой "великой" войны: синяя куртка, серебр. погоны с черными орлами, черн. широк. шаровары с красным кантом, узкие щегольск. сапоги. Двое таких (молодых, красивых, страшно любезных) встретили в Киеве на вокзале Каменскую, с которой я ехал весной 16-го г. из Москвы в Одессу (в маленьк. отдельном купе международн. вагона).

18.VIII.40. Воскр.

«…» Анг«личане» сообщают, что за 2 последних дня немцы потеряли 255 авионов. Так что "великое нападение" кончилось неважно. И вот, вчера решено покончить с Англ. "L'All. veut obtenir le blocus total des iles britaniques". Так и объявил вчера Берлин – официально: "il faut terminer cette guerre!" (Германия хочет добиться полной блокады британских островов… надо кончать эту войну – фр.) – ни более, ни менее. «…»

Ночи лунные, не яркие. Вчера было полнолуние.

19.VIII.40.

Вчера после полудня немцы опять бросали бомбы с авионов в окрестн. Лондона. Англич. сообщают, что до 7 ч. вечера немцы потеряли 36 авионов. «…»

Итальянцы стараются – их газеты, кричат, грозят: "Larmee All«emande» est prete! LAngl«eterre» brulera!" (Немецкая армия превратит в пепел Англию! – фр.)

Шведск. министр внутр. д. произнес речь насчет притязаний России на

ост. часть Финляндии – "Швеция окажет Фин«ляндии» военную помощь". Окажет ли? Не верится.

Пухлая облачность, прохладно. Ночью на меня сильно дуло из раскрывающихся полотнищ занавеса – уже недели две сплю с открытым (в сторону Марселя) окном.

Ждем к завтраку Самойловых.

Разговор с Сам«ойловыми», шел точно в советской России – все насчет того, как мы будем кормиться осень и зиму.

20.VIII.40.

Проснулся в 8, читал А. – вероятно, в десятый раз – удивительно! Можно перечитывать каждый год.

Как всегда, втайне болит сердце. Молился на собор (как каждое утро) – он виден далеко внизу – Божьей Матери и Маленькой Терезе (Б.М. над порталом, Т. в соборе, недалеко от входа, справа). Развернул Библию – погадать, что выйдет; вышло: "Вот Я на тебя, гордыня, говорит Господь, Господь Саваоф; ибо наступит день твой, время, когда

Я посещу тебя" (Иер. 50, 31).

Вчера в "Ed. du Soir": англ. офиц. сообщение: вчера (в воскр.) вечером над Англией пролетело 600 нем. авионов, мы сбили всего за воскресенье более ста. Неужели правда? Дальше «…»: блокада Англии есть наказание за ее бесчеловечное ведение войны… Анг. должна быть уничтожена как можно скорее – это она одна мешает установлению долгого и прочного мира в Европе…

10 ч. Принесли "Ed.". Англ. отступили из Сомалии. Речь Булита, америк. посла во Франции, – говорил в Вашингтоне, – что надо оказать помощь Англии, что, после победы над ней, немцы с Японией нападут на Америку. Канада и Соед. Шт. заключили союз для защиты Сев. Америки. Утка, – думаю, что утка, – будто возможно, что Черчиля заменит этот старый неугомонный подлец Ллойд Джордж. «…»

21.VIII.

Вчера был в Cannes, хотел купаться, но встретил вдруг Адамовича – только несколько дней как в Ницце (т.е. демобилизован) – и просидел часа 1 1/2 с ним и Кантором в cafe "под платанами". Пригласил их к себе на завтрак во вторник 27-го.

Сейчас один в доме – "nos dames" уехали вчера к маркизе на ночевку. «…» Вера нынче тоже в Cannes «…»

Итальянцы трубят победу в Сомалии, она, по словам "Ed.", будто бы

очень важна. Черчиль вчера сказал devant les communes (публично – фр.), что Англ. должна готовиться к "a une campagne 1941-42". Соглашение Рузвельта с Канадой вызвало "inquetude au Japon" (тревогу в Японии – фр.), и последствием этого соглашения будет то, что теперь америк. Destroyers (вид на жительство – фр.) будут направляться в Канаду, а из К. – в Англию. Так что косвенно Ам. Вступили в войну против немцев? «…»

В вечерней газете: Рузвельт опровергает слухи о посылке истребителей через Канаду в Англию; известие, что Троцкий умирает – кто-то проломил ему череп железн. бруском в его собств. доме в Мексике. Прежде был бы потрясен злым восторгом, что наконец-то эта кровавая гадина дождалась окончательного возмездия. Теперь отнесся к этому довольно безразлично.

22.VIII.40.

Ночью сильный и оч. прохладный ветер. Сейчас (14 ч.) солнце, но все еще шумит. В долине под Кабризом пожар в лесах – гигант«ский» дым серо-молочно-рыжеватый медленно идет, поднимаясь, над долинами под Эстерелем. «…»

Убийца Троцкого какой-то Jaques Morton Vandenbretch, родился в Тегеране и натурализованный бельгиец; он арестован; череп у Тр. так проломлен, что виден мозг; Jaques слыл другом Тр. и часто навещал его.

12 ч. 45 м. Слушал радио. Троцкий умер.

23.VIII.40.

Газета: итальянск. газеты негодуют, что газеты швейцарск. непочтительны к фашизму, к Германии, к итало-нем. союзу, – тон угрожающий: эту моду требовать к себе почтения от всех стран и обуздываний свободы их печати ввела Германия.

Томаты, которые стоили в Ницце в прошлом году 40, 60 сант. кило, стоят теперь от 4 до 5 фр. «…»

Некролог Троцкого (Leiba Bronstein) писал кто-то очень осведомленный – кем? немцами?

Письмо из Ниццы «…»: Цакни посадили в острог за неимением carte d'id. и еще за какие-то "небылицы" – просит моей помощи, как "родного" его (а какой же я ему родной, разведенный с его сестрой уже чуть не 20 лет тому назад?) – поручительства за него и еще чего-то, говоря о моем "добром сердце" – очевидно, денег, которых у меня нет.

Солнечно – и уже августовск. и сент. сухость в этом блеске. Все еще доносится мистраль.

Прочитал Лескова "Захудалый род" – очень скучно, ненужно. В той же книге "Овцебык" – оч. хорошо.

В "В. Евр." еще три очерка из "Зап. Степняка" Эртеля – все очень плохи. Лучше других "Поплешка", но и тот нудный, на вечную тему тех времен о народной нищете, о мироедах и т.д. Впервые я читал этого "Попл." больше полвека тому назад и навсегда запомнил отлично начало этого рассказа. «…» Молочный блеск – особенно хорошо. «…»

Лесн. пожары возле Ниццы, под Тулоном. Вчерашний, недалеко от нас, еще не совсем потух.

Да, да, а прежней Франции, которую я знал 20 лет, свободной, богатой, с Палатой, с Президентом Р«еспублики», уже нет! То и дело мелькает это в голове и в сердце – с болью, страхом – и удивлением: да как же это рушилось все в 2 недели! И немцы – хозяева в Париже!

24.VIII.40.

Немцы стреляли в четверг (позавчера) из орудий с франц. берегов по Лондону.«…»

Тело Троцкого будет сожжено и "прах" будет брошен в море – по его завещанию. «…»

25.VIII.40. Воскресенье.

«…» Франц. радио все чаще за посл. время клонит к тому, что необходим блок Герм. – Италия – Франция. Нынче прямо сказано: "Без канц«лера» Гитлера невозможно устроение новой Европы и прочного мира". Что должен чувствовать П. [194]! А может, он ничего не чувствует…

Вчерашнее письмо Алданова: "Я получил вызов к америк. консулу в Марселе и предполагаю, что получена для меня виза в С. Штаты. Пока ее не было, мы плакали, что нет; теперь плачем (Т. М. – буквально), что есть…" «…»

Поехал в Cannes. Нашел Цетлину в кафе. «…» Уговаривала, чтобы я серьезно подумал об Америке – "жить тут вы все равно не сможете". Сказала, что Авксентьев [195] уже уехал. Вишняк и Руднев [196] тоже уже получили визы. «Почему так скоро?» – «Американск. Социалисты ходили к самому Рузвельту, просили за социалистов во Франции…» Итак, наш второй исход, вторая эмиграция!

Погода все та же – горячее солнце и холодный ветер в тени. Олеандры с их мелкими, острыми, бледно – зелеными листьями, сплошь осыпан, розовыми цветами, уже скоро потеряют эти цветы – они стали подсыхать,

Кое-где чернеть, умирать.

Весь день сижу за своими набросками, заметками. «…»

27.VIII.40. Вторник.

Вчера завтракал в Cannes с Цетлиными и Алдановым. Цетлины и Алданов приехали к нам со мною к вечеру на обед и ночевку. Нынче у нас завтракали Адамович, Кантор, Цетлины и Алдановы.

Все уехали в 5 ч.

Офицеры бежали больше всего. "Лучше Гитлер, чем Блюм".

29.VIII.40. Четверг.

Немцы бомбард. "sans repit" (без перерыва – фр.) порты и заводы англ.

Из Виши: Запрещение в свободн. зоне спектаклей, galas, festifals.

М. А. говорил за завтраком у нас, что читал три тома генерала de Gaul [197] (кот. сейчас в Англии и заочно присужден франц. правительством – нынешним – к смертн. казни) и был соверш. поражен как его литер, талантом, так и знанием Германии и предсказаниями насчет будущей войны Франции с Герм.

Кофе будут выдавать тоже по карточкам – 100 грамм в месяц на человека. Похоже и это на издевательство.

Как-то на днях ахнул, вдруг подумав: в первый раз в жизни я живу в завоеванной стране!

Читал эти дни в "Сев. В." (1897 г.) "Дневник бр. Гонкуров". Очень хорошо – кроме посл. лет, когда Эдмон стал писать сущий вздор (напр., о русской литературе) и придавать до наивности большое значение тому перевороту во фр. литературе, который будто он с братом совершил.

В одном месте говорит: "Книги никогда не выходят такими, какими задуманы". Правда, правда.

Следовало бы написать мой нелепейший роман с Кат. Мих. «Лопатиной – О.М.». Новодевичий монастырь, Ново-Иерусалим. Еще – историю моих стихов и рассказов.

Суб. 31.VIII.40.

«…» Вчера был в Ницце. Завтракал, как всегда, в Эльзасск. таверне, с безнадежной тоской в душе: вот еще год жизни прошел, и уже далекой кажется грустная прошлая зима и нет несчастной, всегда бодро усмехающейся Ирины, и Цакни сидит в остроге (это с ними бывал я в этой таверне).

На днях в "Ed. de Nice" было большое пустое место – зачеркнута

цензурой целая статейка. Оказывается, «…» в Ницце было такое событие: стояла толпа в очереди, дожидаясь выдачи горсточки кофе, а мимо проходил итальянский офицер с денщиком (очевидно, из оккупир. части Ментоны); из толпы стали кричать злобно и насмешливо: "эй, вы, макароны!", офицер ответил толпе тоже каким-то оскорблением, а кто-то из толпы дал ему пощечину, а его денщик застрелил этого кого-то…

День облачный. К вечеру так прохладно, что я надел теплую куртку.

Александр III умер в Ливадии в 2 ч. 15 мин. 20 Окт. 1894 г. (стар. стиль). В тот же день на площадке перед церковью Малого дворца присягнула Николаю вся царская фамилия. Думал ли он, какой смертью погибнет он сам и вся его семья! И вообще, что может быть страшней судьбы всех Романовых и особенно старой царицы, воротившейся после всего пережитого опять в Данию, старухой, почти нищей, и умершей там! И чего только не пережил на своем веку я! И вот опять переживаю.

1.IX.40. Воскресенье.

Все увеличивающая«ся» "воздушная дуэль" Германии и Англ. «…» Налеты на Лондон и на Берлин, алерты и там и тут по 2, по 3 часа. Немцы подводят итоги воздушной войны за год: "мы уничтожили 7000 вражеск. авионов, сами потеряли всего 1050". Довольно странно! «…»

Все-таки это правда – наступают самые решительные дни.

В прошлом году первое сентября было в пятницу. После завтрака все внезапно полетело к черту – радио известило, что немцы ворвались в Польшу и что завтра начнется всеобщая мобилизация во Фр. Г. и М. сошли с ума, кинулись собираться в Париж, и через час мы отвезли их в такси в Cannes на вокзал.

3.IX.40.

Были с В. у Мте Жако – просили ее написать нашей хозяйке – эта старая дура надеется кому-то сдать "Jeannette", соверш. не представляет себе жизнь во Франции.

Облачно, у нас почти холодно, внизу было душно как перед грозой. Ночи совсем свежие. «…» Годовщина объявления войны!

4.IX.40.

«…» Письмо от Гребенщикова об Америке. «…» На днях прочитал (перечитал, давным-давно не перечитывал) "Мальву" и "Озорника" Горького. Вполне лубок. И хитрый, преднамеренный.

6.IX.40.

Отличный тихий солнечный день, хорошо выспался, неплохо себя чувствую, только втайне тревожусь, как всегда утром, – жду газету.

Часто думаю: как незаметно прошло такое огромное событие – исчезновение целых трех государств – Литвы, Латвии, Эстонии! Давно ли я видел их со всей их национальной гордостью, их президентами, их "процветанием" и т.д.! Поиграли больше 20 лет во все это – и вот точно ничего этого никогда не было! От Карамзиной [198] уже давным-давно ни слуху ни духу – и, верно, навсегда…. А Чехия, Польша, Бессарабия, Дания, Голландия, Норвегия, Бельгия, прежняя Франция? Уму непостижимо! И изо дня в день, самыми последними словами, поносят в газетах и по радио сами себя французы – эту прежнюю, вчерашнюю Францию.

Пишу и гляжу в солнечный "фонарь" своей комнаты, на его пять окон, за которыми легкий туман всего того, что с такой красотой и пространностью лежит вокруг под нами, и огромное белесо-солнечное небо. И среди всего этого – мое одинокое, вечно грустное Я.

Принесли газету. «…» Речь Черчиля devant la chambre des communes (в парламенте – фр.). За 2 посл. месяца Англия потеряла 558 авионов. За август погибло смертью среди гражданск. населения 1075 человек, 800 домов разрушено. Атаки немцев в сентябре еще усилятся «…»

Радио в 12 1/2: нынче ночью большие демонстрации в Букаресте против евреев и с требованием отречения короля; король ночью отрекся и намерен переселиться в Швейц. Все теперь во власти "Железн. гвардии", т.е. немецких ставленников. На престол вступил Михаил.

7.IX.1940.

Вчера в три часа поехал в Cannes, – автобус, как всегда, был набит народом до ужаса, – купался на пляже Grand Hotel'я; кабинка стоит теперь уже 8 франков! Возвратясь, поднимался пешком, – такси уже совсем исчезли, – тяжкий труд! «…»

Декреты, декреты, декреты… Вчера особенно замечательный: запрещается пить кофе в кафе с 3 ч. дня. Да, если бы не немцы, уже давным-давно все летело бы к черту, – "грабь награбленное!".

Дневник братьев Гонкур [199]: почему Тургенев «милый варвар»? Какая французская тупость, какое самомнение! «…»

Радио в 12 1/2: Антонеску [200] послал телеграммы «великому фюреру» и «великому дуче». Так прямо и адресовался. Еще одно дельце Гитлер обделал. Какие они все дьявольски неустанные, двужильные –

Ленины, Троцкие, Сталины, фюреры, дуче!

Нынче ночью проснулся с мыслью, которая со сна показалась ужасной: "Жизнь Арс«еньева»" может остаться не конченной! Но тотчас с облегчением подумал, что не только "Евг. Онегин", но не мало и других вещей Пушк. не кончены, и заснул.

Уже давным-давно не могу видеть без отвращения бород и вообще волосатых людей.

За мной 70 лет. Нет, за мной ничего нет.

8.IX.40. Воскресенье.

«…» Еще раз просматриваю "Красную лилию" Франса. Нет, это редкий роман, во многих отношениях прекрасный.

9 ч. вечера. Восьмичасовое радио: «…» "гигантская битва" немцев с англ., – тысяча авионов над Лондоном, сброшено миллион пудов бомб, сотни убитых и раненых, а англичане громят Берлин и сев. побережье Франции. Уже два часа идет дождь и через кажд. пять секунд тяжко, со стуком потрясает небо гром. Открывал окно: ежесекундно озаряется все небо дрожащим голубым светом, дождь летит на голову. Осенью мы будем сидеть здесь как на "Фраме" Нансена. И что будем есть? Оливкового масла осталось у нас 5 бутылок – очевидно, на всю осень, а может, и зиму. И чем будем топить?

9.IX.40. Понедельник.

И в газете то же, что вчера говорили по радио – вчера после полудня был страшный налет на Лондон. «…»

Дым от пожаров в Англии виден с северных берегов Франции.

Вечерн. радио: немцы продолжают свое дело. Англ. три часа бомбардировали Гамбург. В какой-то америк. газете говорят: "Это истинный ад на земле!"

Опять думал о том необычное, одиночестве, в котором я живу уже столько лет. Достойно написания.

10.IX.40. Вторник.

Вчера свежая лунная ночь (уже половина луны). Прошлись с В. По Route Nap. «…» Раздумал ехать прощаться с Алдановым. М.б., уже уехал. Посылаю письмо.

На олеандрах еще осталось много цветов.

11.IX.40. Среда.

«…» Нынче с утра вся долина как на ладони, черная, маленькая. Но день ясный, солнечный, только очень прохладный ветер в окна (с Италии). Беспокойство, хочется ехать на море – зачем, однако? Да и очень трудны теперь поездки. В. Уехала в Cannes. «…»

Вечером: в ночь со вторн. на среду алерт над Лонд. длился более 8 часов; англ. в эту ночь бомбардиров. Берлин «…»

Слушали Москву в 9 1/2 вечера (по-московски в 11 1/2).

12.IX.40.

Вчера в 6 ч. вечера Черчиль говорил перед радио: немцы всячески приготовились к высадке в Англии – нападение может произойти каждую минуту – и мы готовы к нему; каждая пядь земли, каждая деревня, каждая улица будет защищаться нами. (…)

Леонардо да Винчи, переселившись в Милан, предлагал свои услуги Людовику Моро [201] – между прочим, в качестве скульптора и живописца: «во всем этом, светлейший государь, я могу делать все, что только можно сделать, – по сравнению с кем угодно». Вот это я понимаю!

Пушкин незадолго до смерти писал: "Моя душа расширилась: я чувствую, что могу творить".

16.IX.40. Понед.

Итальянцы, в количестве 260 000 человек, вторглись в Египет. Англо-немецкая "дуэль" продолжается с большой силой. Леон Блюм посажен в chateau de Chazeron. За что? Я его всегда терпеть не мог, но сейчас все-таки возмущен чрезвычайно. Ведь он был избран и правил "волею народа".

17.IX.40.

Все то же, непрекращающееся. Вчера вечером пятый алерт над Лондоном за день. В ночь на понедел. алерт длился 9 1/2 часов. (…) В Риме пишут, что главное наступление на Англию будет только весной.

Франц. правительство обращается к стране с советом есть сыры, зелень и фрукты – в них есть все нужные витамины. Беда только в том, что сыров почти нет. Чудесный день.

19.IX.40. Четверг.

Позавчера ездил с М. и Г. в Cannes, бегали по городу, там и сям накупая сыры (дают по кусочку, все бросились их покупать, прочитав в "Ed.", что в сырах много всяких витаминов).

Вчера, как и предыдущие дни, – уже дней пять теперь, – пишу заметки

в серой тетради. «…»

20.IX.40. Начал «Русю».
22.IX.40. Написал «Мамин сундук» и «По улице мостовой».
27.IX.40. Дописал «Русю».
29.IX.40. Набросал «Волки».
2.X.40. Написал «Антигону».
3.X.40. Написал «Пашу» и «Смарагд».
5.X.40. Вчера и сегодня писал «Визитные карточки».
7.X.40. Переписал и исправил «Волки».
10,11,12,13.X.40. Писал и кончил (в 3 ч. 15 м.) «Зойку и Валерию».
14,17,18,20,21,22.X.40. Писал и кончил (в 5 ч.) «Таню».
25 и 26.X.40. Написал «В Париже» (первые страницы – 24.X.40).
27 и 28.X.40. Написал «Галю Ганскую» (кончил в 4 часа 40 м. дня 28.X.).
23.X.40. (10.X.40 по старому стилю), 11 1/2 ч. вечера.

Шум дождя по крыше, шум и постукивание капель. Иногда все сотрясающие раскаты грома. Лежал, читал "Несмертельного Голована" Лескова, потом выпил пол стаканчика водки.

70 лет тому назад на рассвете этого дня (по словам покойной матери) я родился в Воронеже на Дворянск, улице. Сколько лет еще осталось мне? Во всяком случае немного и пройдут они очень быстро, – давно ли, напр., была осень в Beausoleil, где мы жили на этой горе, в этом высоком доме (Villa Dominante)! А прошло уже 2 года.

Проснулся поздно (в 9 ч.), с утра было серо и прохладно, потом весь день шел дождь. Все-таки мое рождение немного праздновалось – баранье плечо, вино (Марга подарила Понте-Канэ). Галина переписывала "Таню", которую я кончил вчера в 5 ч. вечера.

30.X.40.

С утра солнце, но из-за Альп над Вансом дожд«евые» облака. К полудню распогодилось, прохладно. «…» Перетащил сейчас (три часа дня) к себе письм. стол из кабинета внизу. Тотчас после того началась ужасная кровь.

Все посл. время то дожди, то хорошая погода. 14 (1 окт., на Покров) Вера ездила в Cannes к обедне (в страшный дождь) – ее рождение. Жалко ее, больную, слабую, нервную, утешающуюся чем Бог даст, – жалко нестерпимо.

С месяц почти пишу не вставая, даже иногда поздно ночью, перед

сном.

18 Окт. ездил с Бахраком (он живет у нас) в Ниццу – прощальное свидание в кафе под Казино с Алдановым (опять вернувшимся).

26 Окт. получена была от Зайцева открытка: 17-го Окт. умер Н.К. Кульман (19 похоронен в St. Gen. du Bois) – кончается, кончается наша прежняя, долгая и сравнит, благополучная эмигр. жизнь. Да, 20 лет, треть человеч. Жизни мы в эмиграции.

28 Окт., вечером, узнал: началась еще одна война – Италия напала на Грецию, придралась к чему-то, о чем сама солгала, и напала.

9.XI.40.

Семь лет тому назад весть о Ноб. премии. Был счастлив – и, как ни странно сказать, молод. Все прошло, невозвратимо (и с тяжкими, тяжкими днями, месяцами, годами).

10.XI.40.

Были чудесные, солн. дни. Липа под моим окном стояла вся уже сквозная, светло-канареечная, небо в ней было яркое, бирюзовое. (Другая липа все еще густая, зеленая.) Нынче ливень, холод.

11.XI.40.

Вчера поздно вечером кончил "Генриха" (начал 6, писал 7 и 9). Опять хороший, теплый день. В 2 ч. ходил в город, в банк, меняю посл. тысячи. «…»

"Генриха" перечитал, кое-что черкая и вставляя, нынче утром. Кажется, так удалось, что побегал в волнении по площадке перед домом, когда кончил. Одно осталось – помоги и спаси, Господи.

За прошлую неделю оч. много потерял крови, слабость и боль в темени.

14.XI.40.

Позавчера был в Ницце у доктора Карлотти – все слезится левый глаз. Прописал новые капли, сказал, что зрение у меня хорошее и что все-таки я должен постоянно носить очки (для дали, а работать в прежних).

Весь день перечитывал написанные за эту осень рассказы и клал их в две папки – одну надо положить в сейф.

Молотов был два дня в Берлине: решают новое устройство Европы "на развалинах старой", – как пишут итальянцы.

Умер и похоронен, как самый обыкнов. человек, забытый уже всеми

Чемберлен [202].

Итальянцы пока напоролись на греков.

17.XI.40.

Все добываем пропитание, «…» добыли 1/2 бут. прованского масла, 2 кило картошек, 30 яиц – и счастливы! Серо, дождь.

Среда, 20.XI.40.

«…» Прошу устроить мне денежн. помощь у богатых шведов. Ничего, конечно, из этого не выйдет.

Пятн. 22.XI.40.

Письмо от Алданова из По: умер В. В. Руднев. Рак желудка. Очень жалко. Алдановы уезжают в Америку 25-го. Кончаются, кончаются наши эмигрантские годы!

Воскр. 24.XI.40.

«…» После захода – там, к Марселю: внизу темнеющее оранжево – красное, выше зеленоватое, прозрачное, еще выше – бесцветная синева.

Среда, 27.XI.40.

«…» Хочется писать, но чувствую себя тревожно, мысленно хватаюсь то за одно, то за другое.

4.XII, 5.XII и 9.XII.40.

Написал "Три рубля".

13.XII.40. Пятница.

«…» Италия объявила о своем вступлении в войну 10 июня в 6 часов вечера – уже отлично зная, что немцы разбили Францию, спускаются в долину Роны и угрожают "de 'prendre a revers" (ударить с тыла – фр.) французск. Альпийскую армию. «…»

Нынче сообщение англичан, что они взяли в Африке 20 тысяч итальянцев в плен.

Греки бьют их (итальянцев) все время.

Статья в "Candide" о Блюме. При выборах все эти Блюмы делали черт знает что.

Перечитываю Чехова. Очень хороша "Жена". Какая была всяческая опытность у него уже в те годы! Всегда этому дивился, и опять дивлюсь.

Удивительны и "Скучн. история" и "Дуэль".

С 28 ноября приказали опять полное затемнение. Ночи стоят лунные, прекрасные и очень холодные.

В конце ноября зверства в Румынии.

15.XII.40. Воскр.

Позавчера поразила ночь, – оч. мало звезд, на юге невысоко лучистый, не очень ясно видный голубыми брил«лиантами» играющий (только он один) Сириус, луна оч. высоко почти над головой как золотое солнце (шаром), высоко на западе (оч. высоко) золотой Юпитер, каменная неподвижность вершин деревьев.

Вчера завтракал в Carlton'e у Гукасова [203]. Богатство вестибюля, рестор. зала, много богатых американцев и англичан. Меню, как будто нет войны. Две бутылки бордо – papa Clement. Солнечно, прекрасно. Оптимизм Гукасова.

Нынче погода портилась.

Ничего не могу писать. «…»

Разгром итальянцев в Африке и в Албании продолжается. 26 000 пленных в Африке.

Вчера был у доктора Charlet насчет глаз. И он приказывает носить очки (для дали) постоянно.

Живем очень холодно и очень голодно.

Нынче неожид. новость: выкинут Лаваль. Путаное, непонятное обращение к Франции в связи с этим маршала. Что-то случилось. Что?

18.XII.40. Среда.

Дня два было сыро и очень холодно. Вчера опять солнечно, тихо, свежо. Нынче тоже. И от этого, как часто, еще грустней. Страшное одиночество.

Уехал в Ниццу Бахрак.

Англичане и греки продолжают бить итальянцев – в Албании и в Африке. Позавчера московск. радио сообщало вечером, что англич. взяли в Африке в плен 50 тысяч итальян.

20.XII.40.

Серо, очень холодно. В доме от холода просто невыносимо. Все утро сидел, не отдергивая занавеса в фонаре, при электричестве.

Едим очень скудно. Весь день хочется есть. И нечего – что кажется очень странно: никогда еще не переживал этого. Разве только в июне, в

июле 19 г. в Одессе, при большевиках.

22.XII.40.

Было солнце и облака. Прочел "Исполнение желаний" Каверина [204] («советский»). В общем плохо.

Письмо от Алданова из Лисабона (послано 13 Дек.). Цетлины тоже в Лисабоне, визу в Америку еще не получили. Алдановы уезжают 28 Дек.

30.XII.40.

Почти все время солнечно и морозно. Дня три лежал снег (с полвершка), в тени до сих пор. не совсем стаял. В доме страшный холод, несмотря на горячее солнце (особенно у меня в фонаре). Голодно. «…» Ничего не могу писать. «…»

Рождество было нищее, грустное, – несчастная Франция!

Читал последние дни "Василия Теркина" Боборыкина [205]. Скука адова, длинно, надумано. Продолжал перечитывать Чехова. За некоторыми исключениями, все совершенно замечательно по уму и таланту. «Иванов» совершенно никуда.

31.XII.40.

Гораздо теплее, даже некоторое весеннее тепло.

1941

1.I.41. Среда.

"Встречали" Новый год: по кусочку колбаски, серо-сиреневой, мерзкой, блюдечко слюнявых грибков с луком, по два кусочка жареного, страшно жестка мяса, немножко жареного картофеля (привез от N. N.), две бутылки красного вина и бутылка самого дешевого асти. Слушали московское радио – как всегда хвастовство всяческим счастьем и трудолюбием "Советского Союза" и танцулька без конца.

Позавчера речь Рузвельта, необыкновенно решительная «…» Нынче в газетах вчерашнее новогоднее послание Гитлера: "Провидение за нас… накажем преступников, вызвавших и длящих войну… поразим в 41-м году весь мир нашими победами…"

Небольшой мистраль. Красота гор над Ниццей.

3.I.41.

С утра дождь и туман. После завтрака проглядывало солнце. К вечеру белые туманы в проходах Эстереля, море серо-свинцового тумана в долинах и горах в сторону Марселя.

Перечитывал "Петра" А. Толстого вчера на ночь. Очень талантлив!

6. I. 41. Понедельник.

Дождь, сыро, серо, холодно, опять сижу при огне – "фонарь" с закрытыми ставнями, задернутой занавеской и ширмами. «…»

Англо-немецкая война все в том же положении – бьют друг друга, как каждый день всю осень. Осточертело читать и слушать все одно и то же.

Японский м. внутр. дел произнес речь на весь мир – "41 год будет самый трагический для человечества, если продолжится война и не будет возможности для Яп., Ит. и Германии организовать новый мир ко всеобщему благополучию". Последнее особенно замечательно. «…»

21.I.41.

Были по всей Европе страшные холода, снега. У нас тоже. Холод в доме ужасный, топить вволю нельзя, нечем: запасы наши угля и дров на исходе, дальше будут давать только 100 кило в месяц – насмешка! Все время ищем что купить! Но нечего! Находим кое-где скверный, сморщенный горох (и торговец и мы врем – "для посева"), ржавые рыбки,

род stet. селедочек и сардинок – и все. Питаемся скверно «…»

Ждали, что немцы пройдут через Болгарию в Грецию. В Средиз. море их авиация работает уже – помогает итальянцам.

Гитлер виделся с Мус«солини» – "приняты важнейшие решения".

Нынче вечером советск. и швейц. радио: англич. взяли Тобрук. Междоусоб. война в Румынии.

25. I. 41. Суббота.

Солнечный и уже теплый день. Вчера послал av.-recom. Цетлиным в Америку. Нынче – открытку Тане Муравьевой. Сходил опустить ее после завтрака в ящик возле женской обители (под Helios'ом). Сидел на подъеме к "Chaumiere". Припекало. Тишина и грусть на душе.

При взятии Тобрука захвачено около 20 000 пленных. Англичане идут дальше к западу. «…»

Нападения на Англию притихли. "Затишье перед бурей"?

Хитлер, верно, уже понимает, что влез в опасную историю. Муссолини усрался – чем бы там дело ни кончилось. Возможно, что и Абиссинию потеряет.

9 Янв. были на именинах у Самойлова. Прекрасный день. "Альпийский" вечер, когда не дали автоб«уса».

Вечер 11 янв.: выделились белые дома внизу, в окрестности, потемнела зелень камен«ного» дуба у ворот, желтая луна на бесцветно-синем небе; ночью: луна оч. высоко. небо пустое, огромн., на юго-в. лучисто играет чистый голубой брил«лиант» Сириуса.

26. I. 41. Воскр.

Солнечный и теплый день. Ездил в Cannes на концерт Барсукова (с оркестром). Моцарт, Метнер. Потом пили чай в англ. кофейне. «…»

28.I.41.

Дождь, сыро, холодно. Вера чем свет уехала за яйцами. Был о. Николай, святил дом. Зуров подпевал при службе.

29.I.41.

Последние деньги утекают. «…»

В Норвегии голод. В Финляндии голод, во Франции голод. Вся Европа ввержена в смертоносные битвы, голод, холод, рабство, муки.

30.I.41.

Холод, дождь, туман. 889 фр. из Швеции – там читали что-то мое для радио.

31.I.41. Пятница.

Всю ночь проливн. дождь и буря. И днем дождь. Ходили в город, истратили на покупки, – на всяческую дрянь, – больше 100 фр.

Чрезвыч. бодрое английск. радио вечером.

1.2.41.

Непременно изменить жизнь, – не пить на ночь, гулять днем и перед сном – видел нынче в 2 часа, когда пошли с Бах«раком» в город, тонкий серп нов. месяца, будут, значит, светлые ночи и м.б. теплее, а то все был мрак и холод.

С утра было сумрачно, к десяти разгулялось – солнце и тепло. Груды кремовых курчавых облаков (снизу серых), навалившихся на собачью гору над М. Карло.

И в Африке и в Греции продвижение англ. и греков.

Гитлер в своей речи 30 Янв. признал "неуспехи" итальянцев. Но это не важно, – все равно, сказал он, "en 1941 lhistoire connaitra un ordre nouveau – il n'y aura plus de privilleges, plus de tyrannie… le monde aura le dernier mot…" (в 1941 году история обрела новый порядок – никаких преимуществ, никакой тирании – это последнее слово миру – фр.).

6 ч. вечера. Полчаса тому назад над М. К., над горами, было нечто гигантское, состоящее из белых клубов, по клубам озаренное красным. Что там, в северн. Италии? Сейчас завешивал окна – высоко, высоко мутный серп месяца – и "синие тучи весны на западе будут видны (Андреевский)" [206] – синие тучи на закате. Да, это уже весна. И сердце вдруг сжалось, – молодо, нежно и грустно, – вспомнилось почему-то время моей любви, несчастной, обманутой – и все-таки а ту пору правильной: все-таки в ту пору было в ней, тогдашней, удивит, прелесть, очарование, трогательность, чистота, горячность… Впрочем, все это очень плохо говорю.

3.2.41.

Мрачно, холод, дождь, Эстерель пегий от снега.

Был в городе. Каждое возвращение оттуда с тяжелой сумой через плечо (бут. вина, фрукты, овощи) на нашу крутую гору – великая мука.

По франц. радио из Америки: вот-вот немецкое наступл. на Англ., у немцев десятки тысяч авионов, в первый налет пойдет 10 тысяч, во второй 18…

Перенесена ко мне сверху печка угольная, а моя, дровяная наверх. Читаю Шаховского [207] (о. Иоанна) «Толстой и церковь». Смесь неглупого и глупого.

Часто думаю с удивлением и горем, даже ужасом (ибо – не воротишь!) о той тупости, невнимательности, что была у меня в первые годы жизни во Франции (да и раньше), к женщинам.

То дивное, несказанно – прекрасное, нечто совершенно особенное во всем земном, что есть тело женщины, никогда не написано никем. Да и не только тело. Надо, надо попытаться. Пытался – выходит гадость, пошлость. Надо найти какие-то другие слова.

7.2.41.

С. Бахр. в Cannes, завтракали там «…» жареный кролик с зел. бобами, компот (с сахаром) из апельсинов, хорошее кофе – давно так не ел! Счет – 150 фр. После завтрака дантист «…» вырвал мне зуб. Выпил флягу коньяку – опять!

Солнечный день. Англичане взяли Бенгази (6-го вечером).

8.2.41.

Солнечный и совсем теплый день. В городе купили еще 3 кило гороху (да Г. с М. 2) – боимся, что будет полный голод «…»

Вечером радио: разгром англичанами итальянок, армии, отступавшей из Бенгази.

6-го видели на Cours итальянцев. Щеголи до блядства.

Завтракали и обедали мы "роскошно", – съели по кусочку свинины (одно жесткое сало), ели салат.

9.2.41. Воскр.

Полдня тепло и солнечно, потом замутилось. «…» Вечером слушали английское радио – речь Черчиля. Предостерегал Болгарию, через которую немцы, м.б., вот-вот прорвутся в Грецию.

11.2.41.

Адмирал Дарлан назначен Петэном "наследником". Почему адмирал, главнокомандующий фр. флотом?

Теплый день. С утра весь небосклон к югу и западу, под солнцем, был закрыт дымно – туман. тучей. Ходили в город – пустыня во всех лавках! Только вялый жесткий сельдерей. Сонливость – много потерял за посл. дни крови.

12.2.41. Среда.

Вчера вечером англ. радио: Франко проехал по франц. Ривьере к Муссолини. Петэн выехал из Виши в свое поместье (близ нас) и будет иметь свидание с Франко на его возвр. пути. В чем дело? Нынче в газетах ничего нет об этом, но сказано, что Испания решила примкнуть к "Оси" в "мировой политике". Итальянок, сообщение: "итальянский народ в страшном гневе на подлость англичан, бомбардировавших Геную, и "накажет" их жестоко". «…»

23.2.41. Воскресенье.

«…» Открытки от Веры Зайцевой и Каллаш. Вера: "Jisn gavno" (жизнь гавно). "Va bien".

Кал.: "Jrem brukvou va bien" ("жрем брюкву"). «…»

6 1/2 вечера. Никогда за всю жизнь не испытывал этого: нечего есть, нет нигде ничего, кроме фиников или капусты, – хоть шаром покати!

24.2.41. Понед.

Был в Cannes. Пошел в порт, в ресторанчик-бистро, прославившийся своей кухней среди богатых людей. Бедно, 4 столика, за конторкой седенькая жена хозяина, седой небритый хозяин, оба жили в России, вспоминают ее с восторгом и грустью, говорили (плохенько) по-русски. Жаловались: ни провизии, ни газа. Дали мне 1/2 б. оч. хорош, красного вина, салат из свеклы и рубл. кусочки курицы (кости гл. образом) и скверного "cafe national". Счет 44 фр. «…»

Ждал час билета и посадки в автобус (на горячем солнце). Дома гороховый суп и по 2 ломтика колбасы, сделанной из черт его знает чего. «…»

Кончил "Даму с кам«елиями»" [208]. Ничуть не трогает, длинно, фальшиво.

25.2.41.

Солнце, но холодно. «…»

Комментарии к речи (воскресной) Муссолини и к речи (вчерашней) Гитлера. «…» Оба вождя выразили "уверенность в их конечной победе". Гитлер говорил, что ni le general "hiver", ni le general "Fain" (ни генерал "зима", ни генерал "голод" – фр.) не страшны Германии и что с помощью Провидения англичане будут разбиты повсюду.

26.2.41. Среда.

Проснулся в 8, не доспал, но решил встать, начать раньше ложиться и вставать раньше. Очень тосковал вчера перед сном. Дикая моя жизнь, дикие сожители. М.Г. – что-то невообразимое. Утром туман, дождь. Так холодно, что мерзнут руки. «…».

Вечером. Синяя муть (грядой) на западе, над ней муть красно-оранж. неба, выше небо зеленоватое.

1.3.41.

Ровно год тому назад начал записывать более или менее правильно события дней. Целый год тому назад! И мог ли думать, в каком положении буду писать через год!

Проснулся в 8, выпил ту бурду, которая называется теперь кофеем, и опять заснул часа на полтора.

Серенький, сравнительно теплый день. Больна Вера, – насморк, кашель, легкий жар, а все-таки бегала нынче на базар.

В первом часу радио: Болгария присоединилась к Германии, Италии и Японии! Очевидно, немцы пойдут через нее на Грецию.

2.3.41. Воскр.

«…» Присоединение Болгарии к "тройственному пакту" подписано вчера в Вене в половине второго. «…» Серьезный денек был вчера!

4.3.41. Вторник.

Немцы на границе Греции. Вечером англ. радио: разрыв дипломат, отношений Англии с Болгарией, объявление Англией ей войны.

Ночь, молодая луна, мистраль.

6.3.41. Четверг.

Вчера завтракал в Cannes. «…» Очень глупо кое-что болтал, выпил почти бут. красн. вина. Потом в англ. кафе джин за кофеем, потом в кафе против вокзала vieux porto. Приехав, накупил вина, опять пил. Проснулся ночью, лежал в страхе, что могу умереть.

День был солнечный и свежий. Нынче такой же. Опять думал, посидев минут пять в саду и слушая какую весенн. птичку, что иного представления о Боге, кроме Толстовского (его посл. лет), не выдумаешь. Божественность этой птички, ее песенки, ума, чувств.

За посл. дни уже много цветущ. мимозы.

8.3.41.

Вчера весь день холод, дождь, туман, вечером долго гремел гром.

Переписал кое-что с истлевших, чудом уцелевших клочков моих записей конца 1885, начала 1886 и конца 1887 гг. и с болью сердца, поцеловав, порвал и сжег их. Продолжал вспоминать и записывать дни и годы своей жизни.

Нынче с утра тоже дождь, тучи, туман, сейчас (к вечеру) распогодилось. «…»

Принца Павла вызвал к себе Гитлер. Хозяин Европы вызывает! Что-то выйдет из этого вызова?

Англию, конечно, бомбардируют, – изо дня в день, восьмой месяц! Англичане отвечают тем же. Быстро продвигаются в Абиссинии. «…»

9.3.41. Воскр.

Так холодно, что затопил с утра. Облака, тучи, просветы, иногда дождь.

В газете ничего особенного. Бьют итальянцев в Албании и в Африке. Вчера в 10 ч. 50 вечера через Ниццу провезли в Испанию гроб Альфонса. Несколько дней тому назад бывший румынск. король бежал на автомобиле из Испании в Португалию ("avec M-me Loupesku"). Короли бегают!

Три раза в жизни был я тяжко болен по 2, по 3 года подряд, душевно, умственно и нервно. В молодые годы оттого так плохо и писал. А нищета, а бесприютность почти всю жизнь! А несчастные жизни отца, матери, сестры! Вообще, чего только я не пережил! Революция, война, опять революция, опять война – и все с неслыханными зверствами, несказанными низостями, чудовищной ложью и т.д.! И вот старость – и опять нищета и страшное одиночество – и что впереди!

10.3.41.

С утра ужасный холод, дождь. Сейчас (4 ч. дня) с запада расчистило, солнце. Но ветер все еще с Италии и, если не повернет, не пойдет с Марселя, не жди ничего хорошего.

Очень грустное впечатление осталось и все еще держится от переписки с клочков моих полудетских записей (1885, 86, 87 гг.). Очень жалко себя.

11.3.41.

Солнечное утро, безоблачн. небо. Сейчас десять минут двенадцатого, а Г. и М. и Бахрак только что проснулись. И так почти каждый день.

Замечательные мои нахлебники. Бес платно содержу троих, четвертый, Зуров, платит в сутки 10 фр. «…»

Газеты: Франц. правительство решило ни в коем случае не дать Англии захватить франц. флот и охранять торгов. корабли военными. Значит, Англия намеревается захватить флот? "Лихорадочно" укрепляется Гибралтар.

Греческий премьер заявил, что Греция не уступит ни метра своей "священной земли". Значит, немцы готовятся вторгнуться в Грецию?

Югославия подписала с Германией пакт о ненападении и экономический. Рузвельт через югославского посла обратился к Принцу Павлу, чтобы тот держался, ибо он, Р., уверен в победе Англии: это последнее сказано в швейц. газете – во французских об этом ни слова.

После завтра«ка» по саду. Довольно жаркое солнце. Две ящерицы. Птичка сладко поет, уже по-весеннему. За домом цветет большое старое миндальное дерево – издали кажется, будто бумажными бело-розовыми цветами. Зеленые подушки из мелкой зелени в мелких ярких фиолетовых цветах. «…»

12.3.41.

Вчера вечером был с Бахр. в городе, в том синема, где не был целых 7 лет с лишком, – после того дня, когда сидел в нем с Г«алиной» и вдруг в темноте вошел Зуров и сказал: "телефон из Стокгольма, Ноб. премия дана вам…" Вчера там пели, играли и плясали испанцы. Заснул в час, выпив – опять! – рюмок пять водки. Нынче проснулся в 8 1/2. но довольно хорошо себя чувствуя. Солнечно не яркий день, довольно тепло – уже по-весеннему. «…»

Газета: опять о том, что Франция будет защищать франц. Африку (офиц., из Виши). От кого защищать? «…» Возобновление греческой активности в Албании.

16.3.41. Воскр.

Все дни почти сплошь солнечные, но с прохл. ветром. Нынче теплее всего. Все дни ничего не делал – верно, от потери крови. Читал "Р. Мысль" за 904 и 905 г. «…» Рассказы в "Р. М." ужасны. Даже не ожидал, что это такое было. Вера уехала к Самойловым. Насчет питания совсем скверно. Я очень похудел. Что будет с Югосл., до сих пор неизвестно.

17.3.41.

Солнечно, облака, почти совсем тепло. Утром прогулка через лес.

Греки сообщают о провале итальянок, наступления в Албании. Англичане продвигаются к Аддис-Абебе. «…» Гитлер опять говорил – "в день героев" (вчера). Опять обрисовал положение Германии после Версаля, опять сказал, что Германия "все-таки" не хотела войны, что ответств. за нее падает на таких господ как Churchill и на масонов и на евреев, затем "выразил веру" в победу Германии, в новое, прекрасное устройство Европы после победы «…» Говорил вчера вечером и Рузвельт о помощи Англии, Греции и Китаю, – с необыкн. твердо сказал, что Америка даст им "все, все": "корабли, авионы, продовольствие, пушки, танки и т.д." и что эта дача уже началась.

19.3.41.

Солнечный холодный день.

Вчера перед «пропущено слово. – О.М.» начал писать "Натали Станкевич", писал и после обеда до часу, пил в то же время коньяк, спал мало, нынче еще не выходил на воздух (а сейчас уже почти пять), все писал – словом, веду себя очень глупо, но, дай Бог не сглазить, чувствую себя не плохо: верно оттого, что принимаю уже дней пять "Pancrinol", по три ампулы в день.

Вечер. Обед: голый гороховый суп, по две ложки шпинату, варенного в одной воде и ничем не приправленного, по одной кудре такой же цветной капусты, по 5 фиников. «…»

В каких страстных родах двух чувств – ненависти к врагам и любви к друзьям – живу я почти непрестанно уже более четверти века, – начиная с 14-го года!

24.3.41.

Сейчас, в 10 вечера, проветривал в темноте комнату, стоял возле открытого окна – дружно орут первые лягушки.

Весна. Все посл. дни солнечно, но все еще прохладно не на припеке. Все дни сидел почти не вставая, писал "Натали".

4.IV.41. Пятница.

В шесть вечера кончил "Натали". Серо, холодный ветер, то и дело по стеклам дождь.

Переворот в Югославии, взошел на престол Петр II, Павел бежал в Афины. Озлобление против немцев (по газетам) – страшное «…»

31 марта послал заказное в Виши насчет денег мне из Белграда и такое же грасскому сборщику податей о своих доходах за 40-й год – не показал,

разумеется, ничего. «…»

7.IV.41. Понедельник.

Вчера в 12 1/2 дня радио: немцы ночью вторглись в Югославию и объявили войну Греции. Начало страшных событий. Сопротивление сербов будет, думаю, чудовищное. И у них 7 границ и побережье!

В 4 поехал в Cannes, отвез Барсукову, едущему в Америку, пакет с рукописями всей своей новой книги – кроме "Натали", для передачи Алданову. Второй отдел кончается 185 – ой стр. «…»

Забыл: вчера же другая огромная весть: англичане взяли в субботу вечером Аддис-Абебу. «…»

11.IV.41. Пятница. (Католич. Страстная)

Проснувшись около 8, лежал, покорно думая: ну, что ж, если даст Бог веку, надо жить, смирившись. «…»

В 10 прошелся по Route Napoleon. Полнолуние, вся долина в тонком тумане, во впадинах полосы бело-голубого тумана.

Еще раз (кажется, окончательно) перечитал (днем) "Натали", немного почеркал, исправил конец последней главы. «…»

Пишу в первом часу ночи, очень усталый и грустный, в ожидании, что скажет англ. радио (слушает Бахр.).

12.IV.41.

Солнечное утро, но не яркое, не ясное, облака.

Австрия, Чехия, Польша, Норвегия, Дания, Голландия, Бельгия, Люксембург, Франция, теперь на очереди Сербия и Греция – если Германия победит, что с ней будет при той ненависти, которой будут одержимы к ней все эти страны? А если не победит, то дальше и думать страшно за немецкий народ. В Белграде, пишут газеты, сейчас тысячи трупов под развалинами – простят это сербы? Да, еще Румыния, Венгрия – 13 стран! «…»

18.IV.41.

«…» Избегаю читать газеты и слушать радио. «…»

По огородам уже давно висят подушки мелких фиолет. цветочков; зацвела сирень, иудино дерево, каштанчик весь в нежнейшей зелени, рядом деревцо все в зеленовато-коричн. листве и розовых цветах – нарядно удивительно.

В полдень радио: югославск. армия сдалась "sans conditions".

20.IV.41. Св. Христово Воскресение.

Христос Воскресе, помоги Господи!

С утра пухлые облака, солнце, сейчас (полдень) серо, тихо, неподвижно. Дубы уже дымчато засерели зеленью.

Тобрук еще держится, греческий флот тоже. «…»

23.IV.41. Среда.

«…» 34 года тому назад уехали в этот день с Верой в Палестину. Боже, как все изменилось! И жизни осталось на донышке.

Радио, вальс, который играли в Орле на балах и в городском саду. «…»

27.IV.41. Воскресенье.

В шестом часу вернулись с Верой от Самойловых – завтракали (курица под белым соусом). С утра солнечно, но дуло холодным ветром, вроде мистраля.

Г. сказала: слушали радио – на Акрополе немецкий флаг. Вот тебе и Англия. Сейчас (около шести) тихо, слабое закатное солнце по равнине, все неподвижно. И также неподвижно, грустно-покорно на душе.

Слух, что умер Шмелев.

Нет больше ни Югославии, ни Греции. Все погибло в один месяц.

2.V.41.

Солнце, довольно слабое, облака.

Начал еще раз перечитывать "Темные аллеи". Перечитал и кое-где почеркал весь первый отдел.

В пятом часу чуть не час гроза: фиолетовое с белым полированным блеском мелькание, затем, через неск. секунд, удары с затяжкой, разрывы, тяжкий стук, дребезг стекол и раскаты с одной стороны неба на другую, отходящее шипение.

12 тысяч немцев с танками в пр. в Финляндии – это в швейц. газете – будто бы идут на отдых из Норвегии. Предостережение Сталину? В пять минут возьмем Птб., ежели ты…?

13 Мая 41.

«…» Ночью вчера англ. радио: улетел, сбежал Hess [209], упал на парашюте в Англии, сломал себе ногу. Непонятная история. «…»

Был дождь и гроза. Серо, влажно. Птицы, соловей.

Мой вес 10 июня 40 г.: 72 – 71. «…»

Ходили в город, добывали папиросы. Очереди, хвосты. Серый табак стоит уже 6 фр.

14.V.41. Среда.

«…» Вечерн. русское радио: в Швеции скоро не будет мяса. Да, через полгода вся Европа – и Германия в том числе – будет околевать с голоду. "Nouvelle Europe"!

Америка, очевидно, вот-вот войдет в войну.

Жалкая посылка (нынче утром) из Португалии: колбаса, пакетик картофельной муки, 2 маленьких плитки шоколада, пакетик чаю – все самого дрянного качества. Но и то праздник!

16.V.41.

Был вчера с Бахр. в Cannes, сидели с Кантором в "Clarige'e", потом в кафе "Пикадилли". Съели с радостью и удивлением по 2 бутерброда – с яйцом и с сардинкой. Красавица в платье с маргаритками – маргаритки по красной блузке и марг. по синей юбке. «…»

10 1/2 часов вечера. Зуров слушает русское радио. Слушал начало и я. Какой-то "народный певец" живет в каком-то "чудном уголке" и поет: "Слово Сталина в народе золотой течет струей…" Ехать в такую подлую, изолгавшуюся страну!

Прочел еще одну книжку Marcel Prevost "Lettres de femmes". Пошлое ничтожество. И был славен. «…»

17.V.41. Суббота.

Мутный день с ветром. Письмо от П. Б. Струве из Белграда – от 1 Апреля. «…»

Скучно – и все дивишься: в каком небывало позорном положении и в каком голоде Франция!

22.V.41. Четв. Католич. Вознесение.

«…» С Ривьеры высылают куда попало 2 тысячи евреев. Перед завтраком заходил к Полонским в Hotel Victoria на Victor Hugo. Когда-то жил тут Боборыкин, жил в ту зиму, когда мы с Найденовым были в Ницце. «…» Кончил перечитывать "Madame Bovary", начал перечитывать "Былое и думы". У Герцена многое очень скучно. Перечитываю, скорее всего, в последний раз в жизни – немного мне осталось лет. (…)

Почти 12 ч. ночи (по новому времени). Днем было голодно, хочется спать, но м.б., дождусь англ. полночного радио.

Лягушки, сыро, облака и звезды. Вот уже скоро 2 года – ни одного немецкого поражения!

25.V.41. Воскресенье.

Будто бы потоплено в Средиз. море много англ. военных судов и в Атлант, океане самое большое. На Крите бои еще идут.

"День матерей". Чуть не весь день этот грасский колок«ольный» звон (как часто в мае). Погода к вечеру немного портится – ветер пошел с Италии. Множество роз у нас в саду – белых, розовых, темно-красных.

В. принесла утром кусок белого хлеба – выдавали бесплатно, по карточкам – хлеб из белой муки, подаренной Франции Америкой. Чудесный хлеб! Мы едим отвратит., кислый, желто-серый.

5.VI.41.

«…» Слабость, сонливость, подавленность.

Все гадают: что дальше? Кипр?

Маки вдоль стены тисов перед нашей часовней – яркий огненный цвет (на солнце с оранжевым), их легкость. В саду много роз: чайные (палевые), белые с зеленоватым оттенком. Палевые, высыхая, желтеют (цвет желтка).

12.VI.41.

Ездил в Ниццу, завтракал с Еленой Александровной фон Розенмейер, рожденной Пушкиной – дочь А. А. Пушкина, родная внучка Александра Сергеевича.

15.VI.41.

Вчера у нас завтракала и пробыла до 7 вечера Е.А., эта внучка Пушкина.

Неделю тому назад англичане начали наступление на Сирию.

16.VI.41. Понед., вечер.

Прошлый год мы в этот вечер были в Ниме, по пути куда-то к черту на рога.

Презрение первых христиан к жизни, их отвращение от нее, от ее жесткости, грубости, животности. Потом варвары. И уход в пещеры, в крипты, основание монастырей… Будет ли так и в 20, в 21 веке? «…»

21.VI.41. Суббота.

Везде тревога: Германия хочет напасть на Россию? Финляндия

эвакуирует из городов женщин и детей… Фронт против России от Мурманска до Черного моря? Не верю, чтобы Германия пошла на такую страшную авантюру. Хотя черт его знает. Для Германии или теперь или никогда – Россия бешено готовится.

Послал телеграмму Алданову: "Pas nouvelles ni argent" (ни новостей, ни денег – фр.). 12 слов, 77 фр.

В городе купили швейцарские газеты: "отношения между Герм. и Россией вступили в особенно острую фазу". Неужели дело идет всерьез?

С некоторых пор каждый день где-то в Грассе ревет корова. Вспоминается Россия, ярмарки. Что может быть скучнее коровьего рева!

Одиннадцатый час вечера: швейцарское радио о падении Дамаска.

Туманный вечер, еще не совсем стемнело (ведь наши часы на 2 часа вперед), множество лючиолей: плывут вверх, вниз, вспыхивают желто-зеленовато, гаснут и опять вспыхивают; от них в деревьях, в тени темнее, таинственнее.

22.VI.41. 2 часа дня.

С новой страницы пишу продолжение этого дня – великое событие – Германия нынче утром объявила войну России – и финны и румыны уже "вторглись" в "пределы" ее.

После завтрака (голый суп из протертого гороха и салат) лег продолжать читать письма Флобера (письмо из Рима к матери от 8 апр. 1851 г.), как вдруг крик Зурова: "И. А., Герм. объявила войну России!" Думал, шутит, но то же закричал снизу и Бахр. Побежал в столовую к радио – да! Взволнованы мы ужасно. «…»

Тихий, мутный день, вся долина в беловатом легком тумане.

Да, теперь действительно так: или пан или пропал.

23.VI.41. Понедельник.

В газетах новость пока одна, заявление наступающих на Россию: это "la guerre sainte pour preserver la civilisation mondiale du danger mortel di bolchevisme" (святая война во имя спасения мировой цивилизации от смертельной угрозы большевизма – фр.).

Радио в 12 1/2 дня: Англия вступила в военный союз с Россией. А что же Турция? Пишут, что она останется только "зрительницей событий". «…»

Мутный, неподвижный день.

24.VI.41.

Ночью болела голова и горло. Прекрасное тихое утро. И позавчера и

вчера Россию в 10 1/2 вечера уже не слышно.

Письма Флобера из Египта (1850 г.) превосходны. Вообще, совершенно замечательный был человек.

Весь день лежу и читаю. 37 и 2.

Начал читать (с конца) рассказы Левитова [210], прочел (вернее, просмотрел) уже страниц 300 – совершенно нестерпимо, пошло и бездарно до тошноты. Но среди всего этого «Горбун» писал точно другой человек. И теперь я опять испытал некоторое очарование. И замечательно: с изумлением увидал, что много мест и фраз я помню с тех пор чуть не наизусть.

Утром в газетах первое русское военное сообщение: будто бы русские уже бьют немцев. Но и немцы говорят, что бьют русских.

Опять весь день думал и чувствовал: да что же это такое – жизнь Г. и М. у нас, их злоба к нам, их вечное затворничество у себя! И вот уже третий год так живут!

29.VI.41.

Послал Олечке открытку:

С постели рано я вскочил:
Письмо от Оли получил!
Я не читал и не молчал,
А целый день скакал, кричал:
"Как наша Оля подросла!

Переросла она осла!
А ведь не маленький осел -
Он ростом выше, чем козел.
Потом, смотрите, как она
Ужасно сделалась умна!

Должно быть, очень хорошо
Сдала экзамен на башо
У кур и кроликов своих,
Когда зимой кормила их!"

Но оказалось, что во сне
Вся эта глупость снилась мне, -
Что я письма не получал
И не скакал и не кричал…
И так обиделся я вдруг,
Что посинел и весь распух.

30.VI.41.

«…» И вообще становлюсь все грустнее и грустнее: все, все давит мысль о старости. «…»

Итак, пошли на войну с Россией: немцы, финны, итальянцы, словаки, венгры, албанцы (!) и румыны. И все говорят, что это священная война против коммунизма. Как поздно опомнились! Почти 23 года терпели его!

Швейцарские газеты уже неинтересно читать.

В двенадцатом часу полиция. Рустан с каким-то другим. Опрос насчет нас трех мужчин, кто мы такие, т.е. какие именно мы русские. Всем трем арест при полиции на сутки – меня освободили по болезни, Зурова взяли; Бахрак в Cannes, его, верно, там арестовали. Произвели осмотр моей комнаты.

Рустан вел (себя) удив. благородно.

Во втором часу радио: Франция прервала дипломат. отношения с Россией ввиду ее мировой коммунистич. опасности.

8 часов вечера.

Был др. Deville, осматривал меня. Веру и Маргу.

Часа в три приехал из Cannes Бахр., пошел в полицию и должен провести там ночь, как и Зуров. А, м. б., еще и день и ночь?

На душе гадко до тошноты.

Слухи из Парижа, что арестован Маклаков (как и все, думаю).

Радио – немцы сообщают, что взят Львов и что вообще идет разгром "красных".

Поздно вечером вернулись М. и Г., ходившие в полицию на свидание с З. и Б., которым отнесли кое-что из еды и для спанья. Оказалось, что всех арестован, русских (вероятно, человек 200-300) отвезли за город в казармы; М. и Г. пошли туда и видели во дворе казармы длинную вереницу несчастных, пришибленных (и в большинстве оборванных) людей под охраной жандармов. Видели Самойлова, Федорова, Тюкова, взятых с их ферм, брошенных у некоторых, несемейных, на полный произвол судьбы со всеми курами, свиньями, со всем хозяйством. Жестокое и, главное,

бессмысленное дело.

1. VII. 41. Вторник.

С горя вчера все тянул коньяк, ночь провел скверно, утром кровь. Вера бегала в город покупать кое-что для наших узников, потом была в казарме (это километров 5-6 от города туда и назад). Видела З. и Б. Они ночевали на полу, вповалку со множеством прочих.

Вчера перед вечером и весь вечер грохотало громом. Нынче с утра солнечно, с полудня тучки, редкий дождь изредка. На душе тупая тошнота. Валяюсь и читаю Флобера (его письма 70-го года).

В Эстонии уже горят леса. Думаю, русские будут жечь леса везде.

Вечер, 9 1/2, т.е. по-настоящему 7 1/2. Мутно, серо, мягко, все впадины долины в полосах белесого дыма – оч. тихо, дым от вечерних топок не поднялся.

Не запомню такой тупой, тяжкой, гадливой тоски, которая меня давит весь день. Вспомнилась весна 19-го года, Одесса, большевики – оч. похоже на то, что тогда давило.

Наши все еще в казарме. Г. и М. были там вечером, видели Б., З., Самойлова, Федорова – этот о своей собаке: "нынче моего сукина сына еще покормят, а завтра? Издохнет сукин сын!" Город прислал в казармы кровати, будет кормить этих узников. Большое возмущение среди французских обывателей тем, что делается.

Как нарочно, читаю самые горькие письма Флобера (1870 г., осень, и начало 1871 г.).

Страшные бои русских и немцев. Минск еще держится. Желтоватая, уже светящаяся половина молодого месяца. Да, опять "Окаянные дни"!

2.VII.41.

Проснулся в 6, оч. плохо себя чувствуя. В. встала еще раньше и ушла – в казарму, очевидно. Заснул до 8 1/2, сладостр. сны. В 9 телеграмма М. от кого-то. Г. вошла, прося 5 фр. для телеграфн. мальчишки и сказала, что сами русские только что объявили, что они сдали Ригу и Мурманск. Верно, царству Сталина скоро конец. Киев, вероятно, возьмут через неделю, через две.

Приезд в Париж 28 марта 20 г., каштаны, новизна и прелесть всего (вплоть до колбасных лавок…). Какая была еще молодость! Праздничные дни были для всех нас.

3.VII.41.

Часов в 8 вечера вернулись из казарм Бахр. и Зуров. Там было все-таки тяжело – грязь, клопы; спали в одной камере (правда, большой) человек 30. Сидели и ждали опросов. Но никто ничего не спрашивал. А нынче вдруг приехала какая-то комиссия, на паспортах у всех поставила (пропуск. – О. М.) и распустила всех. Глупо и безобразно на редкость.

5.VII.41. Суб.

С утра довольно мутно и прохладный ветерок. Сейчас – одиннадцатый час – идет на погоду. И опять, опять, как каждое утро, ожидание почты. И за всем в душе тайная боль – ожидание неприятностей. Изумительно! Чуть не тридцать лет (за исключением десяти, сравнит, спокойных в этом смысле) живешь в ожидании – и всегда в поражении своих надежд!

Пришла газета. Немцы: "сотни тысяч трупов красных на полях сражений…" Русские: "тысячи трупов немцев на полях сражений…"

"Блажен, кто посетил сей мир". На мою долю этого блаженства выпало немножко много! J'en ai assez!

6.VII.41.

Неподвижный день с пухлым облачным небом. Вчера письмо от Andre Gide (он в Gabris've), беспокоится за меня в связи с арестами русских. Очень меня тронул.

Нынче ответил ему.

Ожидания! Жизнь вообще есть почти постоянное ожидание чего-то.

Читаю "Моя жизнь дома и в Ясной Поляне" Т. А. Кузминской. Очень много пустяков, интересных только ей.

Противно – ничего не знаешь толком, как идет война в России.

Англ. радио: Иден [211] сказал, что через 2 недели произойдет нечто такое, что поразит весь мир.

Новая мудрая мера: высылают, – вернее, рассылают, куда попало и неизвестно зачем, англичан. М-те Жако, прожившая в Грассе всю жизнь, должна уехать с детьми (и бросить весь свой дом) в какое-нибудь глухое место из тех шести, что ей предложили на выбор – в горах выше Грасса и еще где-то.

8.VII.41. Понедельник.

«…» Ездил один в Cannes. Купался. Жара, когда вышел из дому на автобус, страшная. На берегу песок как огонь.

Сидел в "Клэридже" – пустота, скука. Послал Олечке открытку:

Пишу тебе два mots, Целую за письмо, За чудную картинку, Где Ваня

кормит свинку.

В сумерки началась гроза, все увеличиваясь, все больше трепеща, дергаясь и вслед за тем на мгновение все открывая и заливая бледно-сиреневым светом; все усиливались и учащались удары грома, иногда соверш. оглушительные. Так и заснул под эти удары (около 12). Уже шумел ливень, точно заливая огонь молний (необъятных полетов, при которых иногда над Cannes в полнеба сверкала, извиваясь, огненно-золотистая змея).

9.VII.41. Среда.

С утра серо и прохладно. Потом только серо, стало теплей. Сбежал в город, купил бутылку джину (франц.) и 4 полбутылки коньяку. Сейчас около 5 часов. В газетах о том, как бешено, свирепо бьются русские.«…»

11 ч. вечера. Мутная невысокая луна, кусочек розового моря вдали за Cannes. Лягушки, серо, прохладно.

13.VII.41. Воскресенье.

Прохладно, слабое солнце (утро).

Взят Витебск.. Больно. «…» Как взяли Витебск? В каком виде? Ничего не знаем! Все сообщения – с обеих сторон – довольно лживы, хвастливы, русские даются нам в извращенном и сокращенном виде.

М. и Г. были на "Казбеке". Генер. Свечин говорил, что многие из Общевоинского Союза предложили себя на службу в окуп. немцами места в России. Народу – полно. Страстн. аплодисм. при словах о гибели большевиков.

14.VII.41. Понедельник.

Немцы говорят, что уже совсем разгромили врага, что взятие Киева – "вопрос нескольких часов". Идут и на Петербург.

Отличная погода, чувствую себя, слава Богу, не плохо. В городе все закрыто – праздник, "взятие Бастилии". Но ни танцев, ни процессий…

Вчера еще сообщено о подписании военного союза между Россией и Англией. В газетах об этом только нынче. Немецкие сообщения оглушительны.

17.VII.41. Четверг.

«…» купил "Ed. du Soir": "Смоленск, пал". Правда ли?

21.VII.41. Понедельник.

«…» Кто-то писал месяца 1 1/2 тому назад, что умер В.В. Барятинский [212]. Вспоминаю, как он приехал в Париж лет 20 тому назад. Слухи, что арестованы Деникин [213] и Евлогий [214].

24.VII.41. Четверг.

Мутный день. Ночью много спал.

Третий раз бомбардировали Москву. Это совсем ново для нее!

Газеты, радио – все брехня. Одно ясно – пока "не так склалось, як ждалось".

29.VII.41. Вторник.

Вчера купался. Зеленая, чистая, довольно крупная волна. И опять, опять изумление: ничего нигде во всем городе – куска хлеба не купишь. Выпил на голодный желудок крохотную бутылочку лимонного сока.

Вчера и сегодня все время читал первый том рассказов Алешки Толстого. Талантлив и в них, но часто городит чепуху как пьяный. «…»

2.VIII.41.

Серо, ветер, после полудня дождь от времени до времени. «…»

Вере, с которой вчера дошел до Грасса, после Cannes было плохо. Худеет и стареет ужасно.

Опять, опять перечитал за последние 3 дня 1-й том "Войны и мира". Кажется, особенно удивительна первая часть этого тома.

3.VIII.41. Воскр.

Был с М. и Г. у Самойловых. Очень сытный завтрак.

Ел с дикарской мыслью побольше наесться.

Читал I книгу "Тихого Дона" Шолохова. Талантлив, но нет словечка в простоте. И очень груб в реализме. Очень трудно читать от этого с вывертами языка с множеством местных слов.

С утра хмурилось. Потом солнце, но с тучами. Было душно, чувствовал себя тупым и слабым.

В газетах все то же и вся та же брехня. (…)

6.VII.41.

Сейчас 3 часа, очень горячее солнце. Юг неба в белесой дымке, над горами на востоке кремовые, розоватые облака, красивые и неясные, тоже в мути. Там всегда моя сладкая мука. «…»

7.VIII.41. Четверг.

С утра нечто похожее на утро начала русской осени – небольшая свежесть в воздухе, горьковатый запах дыма, легкий туман в долине.

Днем совсем распогодилось, но прохладн. ветер.

Немецкая большая сводка: чудовищные потери русских людьми и воен. материалом. "Полная победа" немцев.

10.VIII.41.

Был с Б. в J. les Pins. Взял 1000 фр. у Левина.

На солнце зной, в тени почти холодн. ветер. Опять дивился красоте залива, цветистости всего.

По немецк. сообщениям положение русских без меры ужасно.

Уже 2 воскресенья нет почты по утрам: воскресная доставка запрещена правительством.

З. был у Тюкова. Вернулся в восторге, в страшной бодрости. Ничего не поймешь!

Русские уже второй раз бомбардировали Берлин.

Что-то оч. важное решается в Виши.

12.8.41.

Погода все последнее время все-таки неважная. Солнце, облака, ветер с востока. Печет – и прохладный ветер. "Politique Bulgare. Mot d'ordre: lutter contre le bolchevisme!" (Политика Болгарии. Лозунг: бороться против большевизма! – фр.)

Страна за страной отличается в лживости, в холопстве. Двадцать четыре года не "боролись" – наконец-то продрали глаза. А когда ко мне прибежал на Belvedere сумасшедший Раскольников [215] с беременной женой (бывший большевицкий посланник в Болгарии), она с восторгом рассказывала, как колыбель их первенца тонула в цветах от царя Бориса [216]. «…»

Вести с русских фронтов продолжаю вырезывать и собирать.

Кончил "La porte etroite". Gide'a ("За закрытой дверью" Жида – фр.). Начало понравилось, дальше пошло что-то удивительно длинное, скучнейшее, совершенно невразумительное. «…»

"Москва под ударом" Белого [217]:

– За сквером просером пылел тротуар… – Там алашали… – Пхамкал, и пхымкал… – Протух в мерзи… – Рукач и глупач… И так написана вся

книга.

Да, не оглядывайся назад – превратишься в соляной столп! Не засматривайся в прошлое!

Шестой (т.е. четвертый) час, ровно шумит дождь, сплошь серое небо уже слилось вдали с затуманенной долиной. И будто близки сумерки.

Семь часов, за окнами уже сплошное, ровное серое, тихо и ровно шумит дождь. Уже надо было зажечь электричество.

22.8.41. Пятница.

В прошлую пятницу (15, католическое Успенье) был в Cannes. Уже не помню, купался ли. Возвратясь, шел домой, сидел, смотрел на горы над Ниццей – был прекраснейший вечер, горы были неясны, в своей вечной неподвижности и будто бы молчаливости, задумчивости, будто бы таящей в себе сон, воспоминания всего прошлого человеческой средиземной истории.

Прочел в этот вечер русское сообщение: "мы оставили Николаев". «…»

Рузвельт сказал, что, если будет нужно, война будет и в 44 году.

Сейчас (около полудня) газета; итальянок, газеты пишут, что война будет длиться 10 лет! Идиотизм или запугивание? Да, Херсон взят (по нем. сообщению), Гомель тоже (рус. сообщение).

Война в России длится уже 62-ой день (нынче).

Олеандры в нынеш. году цветут у нас (да и всюду) беднее – цвет мельче, реже. И уже множество цветов почернело, пожухло и свалилось.

Как нарочно, перечитываю 3-й т. "В«ойны» и м«ира»", – Бородино, оставление Москвы.

Ветер с востока, за горами облака, дует, довольно прохл. в приоткр. окна. Но в общем солнечно.

24.8.41. Воскр.

Вчера Cannes, купался. Никого не видал.

Юбочки, легкие, коротенькие, цветистые, по-старинному простые, женств., которые носят нынешнее лето. Стучат дерев. сандалиями.

Немцы пишут, что убили русских уже более 5 миллионов.

С неделю тому назад немцы объясняли невероятно ожесточенное сопротивление русских тем, что эта война не то, что во Франции, в Бельгии и т.д., где имелось дело с людьми, имеющими "lintelligence", – что в России война идет с дикарями, не дорожащими жизнью, бесчувственными к смерти. Румыны вчера объяснили иначе – тем, что "красные" идут на смерть "под револьверами жидов – комиссаров". Нынче румыны говорят,

что, несмотря на все их победы, война будет "непредвиденно долгая и жестокая".

Днем нынче было соверш. палящее солнце – настоящий провансальский день.

28.8.41. Четверг.

Был Andre Gide. Оч. приятное впечатл. Тонок, умен – и вдруг: Tolstoy – asiatique. В восторге от Пастернака (как от человека – "это он мне открыл глаза на настоящ. положение в России"), восхищ. Сологубом.

Вечером известие, что Персия сдалась.

Вчера: ранен Лаваль [218] (на записи волонтеров франц., идущих воевать с немцами на Россию). «…»

Gide видел Горького, но в гробу.

В Париже выдается литр вина на человека на целую неделю.

30.8.41. Суб.

С утра солнце, потом небо замутилось, совсем прохладно. Ночью ломило темя и трепетало сердце – опять пил на ночь (самод. водку)!

Взят Ревель. «…»

Кончил вчера вторую книгу "Тихого Дона". Все-таки он хам, плебей. И опять я испытал возврат ненависти к большевизму.

5.IX. Пятн.

Купался за эти дни 3 раза. В среду был в Ницце, завтракал с Пушкиной. Выпил опять лишнее. Спьяну пригласил ее к нам в среду.

У Полонских получил письмо от Алданова.

Дни в общем хорошие, уже немного осенние, но жаркие.

Контрнаступление русских. У немцев дела неважные.

Кровь, но не сильная.

Вчера ездил с М. и Г. (в Cannes), после купанья угощал их в "Пикадилли".

Китайские рассказы Pearl Buck [219]. Прочел первый. Очень приятно, благородно. Ничего не делаю. Беспокойство, грусть.

В газетах холопство, брехня, жульничество. Япония в полном мизере – всяческом. Довоевались, с. в. м.!

Нынче 76-ой день войны в России.

7.IX.41. Воскр.

Серо и прохладно. Безвыходная скука, одиночество. Нечего читать – стал опять перечитывать Тургенева: "Часы", "Сон", "Стук, стук", "Странная история". Все искусственно, "Часы" совершенно ненужная болтовня. «…»

Бесстыжая брехня газет и радио – все то же! Утешают свой народ. "В Пет. мрут с голоду, болезни…" – это из Гельсингфорса. Откуда там что-ниб. знают? «…»

14.IX.41. Воскр.

В ночь с 10 на 11, в час с половиной проснулся от стука в дверь – оч. испугался, думал, что с В. что-н. Оказалось – было два страшных удара, англ. бросили бомбы между Восса и Mandelieu на что-то, где будто бы что-то делали для немцев. Я не слыхал, а когда кинулся к окну, увидал нежную лунную ночь и висячий невысоко в воздухе над Восса малиновый овал – нечто жуткое, вроде явленной иконы – это освещали, чтобы видеть результаты бомбардировки. Говорят, разрушены и сожжены какие-то ангары. «…»

Опять перечитываю "Вешн«ие» воды". Так многое нехорошо, что даже тяжело.

Нынче прекрасное, солнечное, но прохл. утро.

На фронтах все то же – бесполезное дьявольское кровопролитие. Напирают на Птб. Взяли Чернигов.

16.IX.41. Вторн.

Ждем к завтраку Левина, Адамовича и Andre Gide.

19.IX.41.

Во вторник все названные были. Я читал "Русю" и "Пашу". «…»

Во время обеда радио: взята Полтава. В 9 часов: – взят Киев.

Приходили ко мне М. и Г. – Галина ревет, пила у меня rose.

Взято то, взято другое… Но – a quoi bon? Что дальше? Россия будет завоевана? Это довольно трудно себе представить!

22.IX.41. Понедельник.

Русское радио: "мы эвакуировали Киев". Должно быть, правда, что только вчера, а не 19-го, как сообщали немцы.

Г. и М. продолжают еще раз переписывать мои осенние и зимние рассказы, а я вновь и вновь перечитывать их и кое-где править, кое-что вставлять, кое-что – самую малость – зачеркивать.

Потери немцев вероятно чудовищны. Что-то дальше? Уже у Азовского

моря – страшный риск…

Послал (завтра утром отнесет на почту Бахрак) Олечке письмо: три маленьких открытки шведских и стихи:

Дорогая Олечка,
Подари мне кроличка
И пришли в наш дом
Заказным письмом.
Я его затем
С косточками съем,
Ушки пополам
Марге с Галей дам,
А для прочих всех -
Лапки, хвост и мех.

23.IX.41., 24.IX.41.

«…» Майский [220], русский посланник в Англии, заявил англ. правительству, что немцы потеряли людьми около трех с половиной миллионов, но что и у русских потери очень велики, что разрушены многие индустр. центры, что Россия нуждается в англ. помощи… Это англ. радио. Французское радио сообщило одно: «Майский признал, что положение русских катастрофично, что потеря Киева особенно ужасна…»

Прекрасная погода.

25.IX.41.

Прекрасное утро. Проснулся в 7. Бахр. и З. поехали за картошками к Муравьевым.

М. и Г. переписывали эти дни "Натали". Я еще чуть-чуть почеркал.

Питаемся с большим трудом и очень скудно: в городе решительно ничего нет. Страшно думать о зиме,

28.IX.41. Воскр.

Прекрасный день, начинался ветер, теперь стих (три часа). Как всегда, грустно – веселый, беспечный трезвон в городе. «…»

Третий день не выхожу – запухло горло, был небольшой жар, должно быть, простудился, едучи из Cannes в четверг вечером, сидя в заду автобуса возле топки.

Кончил "Обрыв". Нестерпимо длинно, устарело. Кое – что не плохо.

Очень грустно, одиноко.

30.IX.4I. Вторник.

Хорошая погода. Именины Веры, завтрак с Самойловыми, они привезли жареную утку.

Кровь. Сказка про Бову продолжается – "одним махом семьсот мух побивахом". "Полетел высоко – где-то сядет?"

8.X.41. Среда.

«…» Вчера вечером вернулся из Ниццы Бахр. A. Gide сейчас там. Какой-то швейц. издатель, по его реком., хочет издать на франц. языке мою новую книгу. Вот было бы счастье!

В Сербии и Чехии заговоры, восстания и расстрелы. «…»

9.X.41. Четверг.

Проснулся в 6 1/2 (т.е. 5 1/2 – теперь часы переведены только на час вперед), выпил кофе, опять заснул до 9. Утро прекрасное, тихое, вся долина все еще (сейчас 10 1/2) в светлом белесом пару. Полчаса тому назад пришел Зуров – радио в 9 часов: взят Орел (сообщили сами русские). "Дело оч. серьезно". Нет, немцы, кажется, победят. А может, это и не плохо будет?

Позавчера М. переписала "Балладу". Никто не верит, что я почти всегда все выдумываю – все, все. Обидно! "Баллада" выдумана вся, от слова до слова – и сразу в один час: как-то проснулся в Париже с мыслью, что непременно надо что-нибудь «послать» в "Посл. Н.", должен там; выпил кофе, сел за стол – и вдруг ни с того, ни с сего стал писать, сам не зная, что будет дальше. А рассказ чудесный.

Нынче Ницца встречает Дарлана [221].

Как живет внучка Пушкина и чем зарабатывает себе пропитание!

11.X.41. Суббота.

Самые страшные для России дни, идут страшные бои – немцы бросили, кажется, все, все свои силы. "Ничего, вот-вот русские перейдут в наступление – и тогда…" Но ведь то же самое говорили, думали и чувствовали и в прошлом году в мае, когда немцы двинулись на Францию. "Ожесточенные бои… положение серьезно, но не катастрофично…" – все это говорили и тогда.

14.X.41. Вт.

Рождение В. Завтракали у Тюкова.

17.X.41. Пятница.

Вчера вечером радио: взяты Калуга, Тверь (г. Калинин по-"советски") «…» и Одесса. Русские, кажется, разбиты вдребезги. д.б., вот-вот будет взята Москва, потом Петербург… А война, д.б., будет длиться всю зиму, – м.б. и больше. Подохнем с голоду. «…»

18.X.41.

Вчера кончил перечитывать "Обломова". Длинно, но хорошо (почти все), несравненно с "Обрывом". «…»

19.X.41. Воскр.

Пошел пятый месяц войны.

Недели 2 т.н. перечитал три романа Мориака. Разочарование.

Нынче кончил "Lecole des femmes" Gide'a. Скучно, пресно, незначительно. Зачем это написано? Умный человек, прекрасно пишет, знает жизнь – и только.

«Без даты»

Когда ехал в среду 22-го из Ниццы в Cannes в поезде, голубое вечернее море покрывалось сверху опалом.

29.X.41. Среда.

«…» В среду 22-го был в Ницце, много и очень бодро ходил, в 5 1/2 вошел на набережной в грасский автобус, чуть не всю дорогу стоял, – так было много народу, как всегда, – бодро поднялся в гору домой. Утром на другой день, – в день моего рождения, 23-го, – потерял так много крови, что с большим трудом сошел в столовую к завтраку, съел несколько ложек супу (как всегда, вода и всякая зелень, пресная, осточертевшая) и пересел в кресло к радио, чувствуя себя все хуже, с головой все больше леденеющей. Затем должен был вскочить и выбежать на крыльцо – рвота. Сунулся назад, в дом, в маленький кабинет возле салона – и упал возле дивана, потеряв сознание. Этой минуты не заметил, не помню – об этом узнал только на другой день, от Г., которая, подхватив меня с крыльца, тоже упала, вместе со мной, не удержав меня. Помню себя уже на диване, куда меня втащил Зуров, в метании от удушения и чего-то смертельно – отвратительного, режущего горло как бы новыми приступами рвоты. Лицо мое, говорят, было страшно, как у настоящего умирающего. Я и сам думал, что умру, но страха не испытывал, только твердил, что ужасно, что умру, оставив все

свои рукописи в беспорядке.

Прибежавший из Helios'a (из maison de sante возле нас) доктор (оч. милый венгерский еврей) был, как я видел, очень растерян. Хотел сделать впрыскивание камфоры – я с удивившей его энергией послал это впрыскивание к черту, потребовав камфарных капель. Кроводавления у меня оказалось всего 7 – доктор сказал, что меня спасло только мое сильное от природы сердце, пульс одно время был чуть ли не совсем не слышен.

Дня три я лежал после того в постели – слабость, озноб и жар: почему-то то падала, то поднималась – температура, доходя иногда до 37,5. М.б. была и легкая отрава – за завтраком в Ницце, где дали вместо печенки какой-то мерзкий сгусток – легкого, что ли, – черно-багровый, мягкий, текущий сукровицей – я с голоду съел половину его. Вчера и нынче уже не в постели, чувствую себя не плохо, только нынче вдруг опять сильная кровь. Читал (перечитывал) эти дни Бруссона "A. France en pantoufles" – много интересного, но много и скучной болтовни.

В Нанте и в Бордо немцы расстреляли за эти дни 100 человек заложников (по 50 на каждый из этих городов) – за то, что и в Нанте и в Бордо в один и тот же день было убито по немцу (из высших чинов).

Как раз во время моего припадка приходила Татьяна Мих. Львова-Толстая (дочь Мих. Льв. Толстого, сына Льва Ник.).

В среду 22-го была прекрасная совсем почти летняя погода. В четверг было светло, но уже холодно. И начались холода – как никогда рано. Были чуть не зимние дни, пока я лежал. Нынче ледяная светлая ночь, почти 3/4 луны.

1.XI.41. Суб.

Завтракала у нас Т. Мих. Она гостит у своей знакомой в Cabris, живет в Марокко. Читал ей "Бал«ладу» " и "Поздний час".

6.XI.41. Четверг.

5.35 вечера. Вернулись из "Сонино" (пешком). Сижу на постели, гляжу на море и Эстерель. Долина синевато туманится. Море слабо белеет. Над ним сизо, над сизым чуть румянится. Прелестно синеет Эстерель. За ним, правее, чуть смугло снизу, бруснично, выше чуть желтовато, еще выше зеленовато (и чем выше, тем зеленее, но все оч. слабо). К Марселю горизонт в сизой мути, выше мутно-кремовато, еще выше – легкая зелень. И все – пастель.

6 часов. Туманность долины исчезла, выделилась на темно-зеленом

белизна домиков по долине. Спектр красок на западе определеннее, гуще. Над Тулоном – довольно высоко – звезда (без очков для дали) круглая, крупная, дырчатая – круг брильянтов жидких; в очках – небольшая, оч. блестящая точка, золотая, с блестящими лучами. «…»

Воскресенье. 9. XI. 41.

Ночь, дождь, холод. Не такая была ночь когда-то – 8 лет тому назад 9 Ноября! (Премия.)

11.XI.41.

Мрачные тучи, дождь, иногда ливень, туман. Ночь, проснулся, страх смерти.

Липа под моим окном уже почти вся осыпалась, чуть не в один день.

Вчера в газетах речь Гитлера. Говорил, что установит "новую Европу на тысячи лет".

В России уже снег и дожди.

Письмо к Марге от Степуна о сумасшествии их матери.

21.XI.41. Пятница.

В среду поехал с Бахр. в Ниццу (глав. обр. к Дмитренко – холодеет и немного мертвеет правая рука). Дм. уехал к Куталадзе и к нам. Ночевал. Утром он ко мне зашел, сказал, что рука пустяки, что у нас он осмотрел Веру, Г. и Зурова – все сравн. слава Богу – и что у нас описали мебель за долги нашей хозяйке. «…» Обедали еще и с Жидом – все в "Императоре". В четверг завтрак в Grande Bleu – опять А. Жид и прочие. Завтрак был по настоящему времени удивительный.

23.XI.41. Воскресенье.

Ночью дождь. И утром, и почти весь день дождь, ветер, туман. Уже разделись обе липы.

Весь день за письм. столом – переписывал итинерарий своей жизни и заметки к продолжению "Арсеньева". Что-то похоже на возвращение к работе.

Сейчас 11 1/2 ночи, буря.

25.XI.41. Вторник.

Вчера, позавчера солнечно. Липы возле дома уже обе разделись. На верхней площадке редкие листья на липе, желто-зеленоватые на синем небе, как на синем стекле.

Нынче был в Cannes, «…» в "Пикадилли" – сандвич с сагой, тост, чай и два блюдечка вишнев, варенья (как всегда, без карточек), – 31 фр. Потом в Казино, открытая сцена, публика за столиками – точно ничего не случилось. «…»

Большие бои в Африке и в России.

"Фюрер разорвал завещание Петра Великого, хотевшего гегемонии в Европе" (немецк. газеты).

157-й день войны с Россией.

26.X1.41.

С утра прекрасный, тихий, солн. день. К вечеру затуманилось, серо, скучно. М. получила известие о смерти своей матери. Уехала с Г. в Cannes "на 3 дня" – ходить в церковь, служить панихиды. Мне нынче ужасно «их» жаль, грусть за их несчастную жизнь.

Все вспоминается почему-то и вся моя несчастная история с Г.

5.XII.41.

«…» Перечитывал "Crainqueville, Putois, Riqueb и пр. А. Франса, – все эти три вещи оч. хороши, остальное скучно.

Русские бьют немцев на юге. В Африке – "то сей, то оный бок гнется". Морозы в России.

Три дня тому назад свидание "двух солдат" – Пэтена и Геринга. "Последствия будут весьма важны". Какие именно? И о чем говорили "два солдата"? О французской Африке?

7.XII.41. Воскр.

«…» Читаю собр. соч. Бодлэра [222] «Мал. поэмы в прозе». Ничтожны, изысканны до Бальмонтовщины, мелодраматичны. «…»

Кашель ужасный. Ничего не могу делать. Нет, не тот я был год тому назад!

9 ч. вечера. Радио: японцы напали на Америку. На дворе мга. Зуров говорит, что шел снежок.

8.XII.41.

Солнечно и холодно. Кашель.

Война японцев с Америкой} идет уже полным ходом. Японцы, как и полагается негодяям, напали до объявления войны, без предупреждений.

К вечеру радио: есть уже тысячи 3 убитых и раненых.

В России 35 гр. мороза (по Ц.) Рус. атакуют и здорово бьют.

10.XII.41. Среда.

Во время нашего "обеда", в 7 1/2 вечера швейцарское радио: умер Мережковский.

13.XII.41.

Солнечно. К вечеру замутилось. Прошелся – опустил открытку Гиппиус. Чувствую себя оч. плохо. Ледяная рука.

Вчера Гитлер и Мус«солини» объявили войну Америке.

Вечер, 11 часов. Прошли с Верой до монастыря. «…» Вернулись, – Зуров: "швейцар, радио сообщило, что немцы за последн. покушения на них расстреляли в Париже 100 евреев и наложили на парижских (9) евреев 2 миллиарда контрибуции". Апокалипсис! Русские взяли назад Ефремов, Ливны и еще что-то. В Ефремове были немцы! Непостижимо! И какой теперь этот Ефремов, где был дом брата Евгения, где похоронен и он, и Настя, и. наша мать!

14.XII.41. Воскр. (Наше 1 Дек.)

Прекрасный день, солнечный и теплый – как в России в начале сентября. К вечеру замутилось.

Не спокоен и ничего не могу делать. Много думаю о Мережковском.

Мой экспромт Шаляпину (в ресторане "Петроград", против церкви на rue Daru в Париже, после панихиды по Вас. Нем«мировичу»-Данченко).

Хорошо ты водку пьешь,
Хорошо поешь и врешь,
Только вот что, mon ami,
Сделай милость, не хами.

Нынче правая рука не холодела.

15.XII.41. Понед.

Прекрасный день опять. Но прохладно. Опять рука (утром).

Каждый вечер жутко и странно в 9 часов: бьют часы Вестм. абб. в Лондоне – в столовой!

По ночам ветерок не коснется чела,
На балконе свеча не мерцает.

И меж белых гардин темно – синяя мгла
Тихо первой звезды ожидает…

Это стихи молодого Мережковского, очень мне понравившиеся когда-то, мне, мальчику! Боже мой. Боже мой, и его нет, и я старик! Был в городе по аптекам.

Русские бьют.

19.XII.41. 6 1/2 ч. вечера.

Письма от Манухиной и Веры Зайцевой: умер В. Н. Аргутинский (накануне был на похоронах Мережк.). (…)

23.XII.41. Вторник.

Все дни прекрасная погода, к вечеру в комнате оч. холодно. Серп молодого месяца и Венера (уже давно) над Марселем с заката.

В Африке не плохо, японцы бьют англичан, русские – немцев. Немцы все отступают, теряя оч. много людьми и воен. материалом.

19-го Хитлер сместил главноком. на рус. фронте маршала von Brauchitsch и взял на себя все верховное командование, обратившись к армии и Германии: откладываю наступление на Россию до весны. «…»

Завтра Сочельник. Устраиваем несчастный "парадный" обед – выдадут завтра мясо. Делаем водку.

24.XII.41. Сочельник католический.

Вечером "праздновали": сделали водку, нечто вроде селянки (купил капусты серой и плохой), вымоченные рыбки, по кусочку мяса.

28.XII.41. Воскресенье.

Все дни хорошая погода, но холодно. Ветер все с Марселя. Неприятно трепещут веерные пальмочки.

Русские взяли Калугу и Белев.

Каждое утро просыпаюсь с чем-то вроде горькой тоски, конченности (для меня) всего. "Чего еще ждать мне, Господи?" Дни мои на исходе. Если бы знать, что еще хоть 10 лет впереди! Но: какие же будут эти годы? Всяческое бессилие, возможная смерть всех близких, одиночество ужасающее…

На случай внезапной смерти неохотно, вяло привожу в некоторый порядок свои записи, напечатанное в разное время… И все с мыслью: а

зачем все это? Буду забыт почти тотчас после смерти.

Нынче (утро) солнце за облаками.

30.XII.41.

И вчера и нынче солнце и облака и оч. холодно. Вчера особенно изумительная, волшебно прекрасная ночь – почти половина луны так высоко, как видел только в тропиках. На закате красота – и дивная Венера.

Хотим "встречать" Нов. год – жалкие приготовления, ходим в город, где нет ровно ничего. Почему-то везде много коробок с содой. А что еще?

Пальцы в трещинах от холода, не искупаться, не вымыть ног, тошнотворные супы из белой репы…

Нынче записал на бумажке: "сжечь". Сжечь меня, когда умру. Как это ни страшно, ни гадко, все лучше, чем гнить в могиле.

Заплатил за электричество почти 500 фр. Тот, кому платил, делал себе по животу нечто вроде харакири: "Rien a manger! Rien de rien!"

Хотят, чтобы я любил Россию, столица которой – Ленинград, Нижний-Горький, Тверь-Калинин – по имени ничтожеств, типа метранпажа захолустной типографии! Балаган.

31.XII.41. Среда.

Еще год прошел. Сколько мне еще осталось!

Проснувшись в 9, чувствовал (уже не первый раз) тяжесть, некоторую боль в темени. М. б., маленькое отравление от печки, которую вчера опять затопил на ночь? Холод правой руки.

Прекрасный солнечный день.

Русские взяли Керчь и Феодосию.

1942

1.I.42. Четверг.

Вера вчера уехала в 6 вечера к вдове Куталадзе. "Встречали" Новый год без нее. Было мясо, самодельная водка, закусочки – соленые рыбки, кусочки марю, тертая белая репа, по щепотке скверного изюма, по апельсину (местному, оч. кислому), Бахрак поставил 2 б. Castel vert (по 20 фр., прежде стоившие по 5 фр.).

Нынче опять прекрасный день. Я вял, слаб (как всегда посл. месяцы).

Гитлер вчера вечером говорил своему народу и армии: "«…» Мы одержали самые великие победы во всемирной истории… Советы будут в 42 г. раздавлены. Кровь, которая будет пролита в этом году, будет последней пролитой кровью en Europe pour des generations…"

Вечера и ночи особенно удивительны по красоте. Венера над закатом оч. высоко. Луна по ночам над самой головой (нынче полнолуние). «…»

2.I.42. Пятница.

Довольно серо, холодно. Ездил ко вдове К«уталадзе», завтракал там (морковь и горошек), воротился к вечеру с В., которая ночевала 2 ночи там.

4.I.42. Воскр.

Серо, холодно. В комнате нестерпимо, нельзя писать от холода.

Сейчас поздний вечер, протопил у себя. Терпимо.

Немцы отступают (в России и в Африке), их бьют. У Куталадзе взял несколько книг. Читал Чехова.

Денежно продолжаю все больше разоряться. «…»

5.I.42. Понедельник.

«…» Нынче оч. голодный день: месиво из тыквы с маленькой дозой картофеля и тертая сырая репа (белая) – некоторое сходство с тертой редькой, кушанье оч. противное. (…)

Подумать только: 20 лет, 1/3 всей человеческой жизни прожили мы в Париже!

Барятинский, Аргутинский [223], Кульман, Куприн, Мережковский, Аминад [224]. Все были молоды, счастливы.

18.I. Воскр.

Вечером во вторник встречали новый год русский. Днем как следует шел снег. К вечеру приехали Либерманы и Гандшины. Либерман два раза сделал чудо – уходил за 2 комнаты, просил нас, сидевших в салоне, задумать, что он должен сделать: первый раз угадал, что нужно меня тронуть за ухо, второй – сесть на диван. «…»

Нынче прекрасный день, холод в доме легче. После заката немного прошелся – родился месяц – тонким серебр. волоском (на закатном небе) рядом с Венерой. Горы слились в темные зеленовато-синие массы. Когда вернулся через 1/2 часа, месяц-волосок стал золотой.

Вчера в Cannes свесился – 67-68. И это в одежде, в снизках, в тяжелых башмаках. А прежде в самой легкой одежде – 72-73. Вот что значит "безбойное питание".

20.I.42. Вторник.

Вчера довольно теплый день, с мягким солнцем, нынче хмуро, серо, скучно, все небо в пухлых облаках, и так холодно в комнате, что лежа читал в меховых перчатках. «…»

Пробовал читать Горького, "Вареньку Олесову", которую читал лет 40 тому назад с отвращением. Теперь осилил только страниц 30 – нестерпимо – так пошло и бездарно, несмотря на все притворство автора быть "художником". "Косые лучи солнца, пробираясь сквозь листву кустов сирени и акаций, пышно разросшихся у перил террасы, дрожали в воздухе тонкими золотыми лентами… Воздух был полон запаха липы, сирени и влажной земли…" (И липы и сирень цветут вместе.) «…»

7.2.42. Суббота.

Особенно тяжелый день. Весь день при электричестве: ставни, занавес, ширмы. Спазмы у Веры.

Холод, сырость, с утра то мелкий дождь, то снег.

"Записные книжки" Чехова. В общем, оч. неприятно. Преобладающее: "N. все считали почтенным человеком, а он был сволочь" – все в этом роде.

Весь день топлю.

26.2.42. Четверг.

Дней 10 т.н. В. была у Кудера. Исследование крови. Результаты не дурные. В прошлый четверг уехала в Ниццу – новые исследования и радиография желудка. В понедельник поехал к ней: опущен желудок и легкая язва в нем. Назначен режим и впрыскивание чего-то (д-ром Розановым). Вернулись с ней во вторник.

Слухи: русские нанесли большое поражение немцам, погибла будто бы их 16-я армия. «…»

27.2.42.

Слухи были верны.

Дождь, сыро, холодно. Топлю.

Читаю Гейне. Удивительный фельетонист, памфлетист.

1.3.42. Воскр.

Совсем теплый день. Зацвели фиолетовым цветом подушечки и какие-то ярко-сине-лиловатые цветочки в темно-зеленых стебельках. Опять пересматривал книгу "Темн. аллеи". Ходил в город – с большим трудом – бросил письмо Долгополову, от которого получил вчера 4236 фр.

2.3.42.

«…» Кончил "Темн. ал." и отложил до поры до времени. Есть еще кое-где фразы неприятные.

3.3.42.

Сильный насморк, слабость, вялость – как всегда теперь. Тоска и какое-то раскаяние по утрам.

4.3.42.

Серо, прохладно, нездоровье.

Большой английский налет на предместья Парижа, на заводы, где немцы делают танки.

Второй день без завтрака – в городе решительно ничего нет! Обедали щами из верхних капустных листьев – вода и листья!

И озверелые люди продолжают свое дьяволово дело – убийства и разрушение всего, всего! И все это началось по воле одного человека – разрушение жизни всего земного шара – вернее, того, кто воплотил в себе волю своего народа, которому не должно быть прощения до 77 колена.

Нищета, дикое одиночество, безвыходность, голод, холод, грязь – вот последние дни моей жизни. И что впереди? Сколько мне осталось? И чего? Верно, полной погибели. Был Жорж – мило брякнул (насчет Веры), что у Куталадзе рак начался тоже с язвы желудка. И ужас при мысли о ней. Она уже и теперь скелет, старуха страшная.

Полнолуние. Битвы в России. Что-то будет? Это главное, главное – судьба всего мира зависит от этого.

13.3.42. Пятница.

Длится англ. катастрофа на Д. Востоке. Большие битвы, наступление русских. «…»

«б.д.»

Как горько трогательна, тиха, одинока, слаба Вера!

30.3.42.

Послал письмо Олечке: Ты спрашиваешь, как мы пировали у наших друзей. Вот как:

У моих друзей пируя,
Ел змеиную икру я,
Пил настойку из клопов
И вино из бураков.

Остальное тоже было
Очень вкусно, очень мило:
Суп из наба, фарш из блох
И на жареное – мох. «…»

Все это недалеко от правды. "Новая Европа"!

31.3.42.

Хороший, почти летний день.

Марга и Г. завтра переезжают в Cannes – "на два месяца", говорят. Думаю, что навсегда. Дико, противоестественно наше сожительство. «…»

Вчера был в Cannes с Верой у зубного врача. Было солнечно, но с прохл. ветром. "Пикадилли", чай, два тоста, два крохотных блюдечка варенья (28 фр.). Тургеневский или Толстовский господин.

Все битвы и битвы в России. Немцы все грозят весенним (вернее, летним) наступлением. А вдруг и правда расшибут вдребезги? Все кажется, что нарвутся. Теперь все дело в Турции.

Нынче в газетах: "Le Japon veut la destruction complete de lAngl. et des Etas-Unis" (Япония стремится к уничтожению Англии и США – фр.). Ни более, ни менее. Бедные! Сколько работы впереди! А ведь надо еще

уничтожить Россию и Китай.

1.IV.42. Среда.

С утра пухлое небо, к полудню солнце, но слегка затуманенное.

В 11-45 ушла с мелкими вещами Г. Возле лавабо остановилась, положила их, согнувшись, на земле. Тут я отошел от окна. Конец. Почти 16 лет тому назад узнал ее. До чего была не похожа на теперешнюю! Против воли на душе спокойно и тяжело грустно. Как молод был и я тогда.

Час дня. Я все еще в халате, без штанов. Все не могу привести себя в порядок. Хотел ехать в Ниццу с утра – раздумал, проснулся в 6, потом опять спал от 9 до 10.

Сейчас в доме пусто – Бахр. в Ницце, В. и З. завтракают в городе – дома нечего. Я съел крутое яйцо и кусочек мортаделлы – все "благоприобретенное".

Очень страдал весь день от воспоминаний своей протекшей жизни.

4.IV.42.

Проспал 10 часов. Хороший день. Грусть. «…» Великая Суббота – наша и католическая.

Вечер. Обедали "роскошно": суп из трав и рыба. Вере посчастливилось утром найти.

Пасхальный стол: 4 красных яичка, букетик гиацинтов – и все!

Тупая, тихая грусть, одиночество, безнадежность. 12ч.15 м. (10ч.15 м). Разговелись – В., З. и я: по крохотному кусочку колбасы (дал З.) и 1/10 яйца.

Над Антибами всходит мутная луна. Значит, бывает в Пасх. ночь!

5.IV.42.

Христос Воскресе. Сохрани, Господи. С утра так себе, после полудня мелкий дождь. В доме очень прохладно.

Вдруг почему-то пришло в голову: Добчинский и Бобчинский… Да: Сквозник – Дмухановский, Яичница… даже Чичиков – все очень плоско, балаганно – и сто лет все с восторгом повторяют: Добчинский и Бобчинский!

Как-то ночью, уже в постели, с книгой, в мертвой тишине дома вдруг точно очнулся, с ужасом: какое одиночество! И это последние дни и ночи жизни!

10.IV.42.

Был в Ницце. Бюффа, Пушкина. Неприятно было, что сказала, что в ней "немецкая упорная кровь". Ее жадность к моему портсигару, воровское и нищенское существование. Завтрак – 250 фр.! У Полонских. Дама в картузе. Вел себя хмельно, глупо.

12. IV. 42. Воскресенье.

Кончил перечитывать рассказы Бабеля "Конармия", "Одесские рассказы" и "Рассказы". Лучшее – "Одесск. р.". Очень способный – и удивительный мерзавец. Все цветисто и часто гнусно до нужника. Патологическое пристрастие к кощунству, подлому, нарочито мерзкому. Как это случилось – забылось сердцем, что такое были эти "товарищи" и "бойцы"и прочее! Какой грязный хам, телесно и душевно! Ненависть у меня опять ко всему этому до тошноты. И какое сходство у всех этих писателей – хамов того времени – напр., у Бабеля – и Шолохова. Та же цветистость, те же грязные хамы и скоты, вонючие телом, мерзкие умом и душой.

"Все убито тишиной, и только луна, обхватив синими руками свою круглую, блещущую, беспечную голову, бродяжит под окном…"

"Гедали (еврей) обвивает меня несколькими ремнями своих дымчатых глаз…" «…»

О Божьей Матери (икона в Ипатьевском монастыре, занятом "текстильщиками"): "Худая баба сидела расставив колени, с зелеными и длинными, как змеи, грудями…"

18.IV.42. Суб.

Лавальские дни. Нынче вечером объявлено по радио официально: Петэн – нач. государства, Лаваль – правительства. Надо ждать, думаю, как и все, чего-то очень серьезного.

День рождения З. Тюков и Жорж. "Роскошн." завтрак – по куску телятины, маслины, самодельная водка. (…)

Весен. холод, сумрачная синева гор в облаках – и все тоска, боль воспоминаний о несчастных веснах 34, 35 годов, как отравила она (Г.) мне жизнь – и до сих пор еще отравляет! 15 лет! Все еще ничего не делаю – слабость, безволие – очень подорвалось здоровье!

Перечитал "Пунш«евую» водку" и "Могилу воина" [225] с большим интересом. Ловко пишет.

Все опять цветет и зеленеет. Эти дни одевается сероватой еще мелкой зеленью дуб, цветет у нас сирень, в розовых цветах и коричневой листве деревцо возле каштана, ярко и свежо зазеленевшего, на нижней площадке.

С месяц тому назад розовым и белым цвели абрикосы и миндаль.

Нынче впервые видел серп молодой луны. Чувствовал себя довольно бодро физически.

19.IV.42. Воскр.

«…» В 8 ч. вечера говорил Петэн. Сказал несколько слов всего, призывая французов "к мудрости и терпению", и заявил весьма загадочно: "настоящее время столь же решительно, как в июне 1940 г." Что это значит? Был какой-то жестокий ультиматум немецкий? Несчастный старик.

11 ч. вечера. Жабы, мелкий дождь и от времени до времени катится гром и вспыхивают голубые молнии. Первая гроза.

23.IV.42. Четверг.

23/10 (вторник) 1907 г., 35 лет тому назад, уехали с Верой в Палестину. Вечером, с Брянского вокзала. Нынче утром она принесла мне букет цветов, удивит, красивых.

29.IV.42. Среда.

«…» Нынче изредка дождь, облачно, потолок из мрачных облаков над горами в направлении к Vence. Оч. тяжкая погода. И я тяжко, оч. тяжко болен душевно – до отчаяния. «…»

Дикое одиночество, бесцельность существования. Да всего и не скажешь.

6.V.42.Среда.

«…» Очень грустно и скучно – погибаю в одиночестве. Ни души даже знакомой. И все воспоминания, воспоминания.

Вчера был в Cannes – зачем? Да, в синема Vox, смотрел La grande farandole – Fred Astaire и Ginger Rogers. Изумительно танцуют – опять был восхищен чрезвычайно.

Англичане захватывают (верно, уже захватили) Мадагаскар. Французское негодование.

Читаю "La memorial de Sainte Helene (Comte de la Cases)" [226]. Чувствую и себя на S. Helene. Страшно подумать, что он должен был чувствовать. А все-таки жил, диктовал, упивался прежней славой, надеялся. «…»

12.V.42.

Все скверная погода, тучи, сумрачно, холодно, иногда дождь. Уже дней

5 кровь. Верно, поэтому, – перед кровью, – чувствовал такую тоску. Нынче спокойнее. Читаю (по франц.) – "Уединенное" Розанова [227]. В общем ничтожно, иногда просто глупо в смысле необыкн. высокой оценки себя. «…»

"На всякий случай" занимался пересмотром того, что должно и не должно войти в будущее "полное" (более или менее) собрание моих писаний, писал распоряжения. Мучительно! Сколько ерунды и как небрежно напечатал я когда-то! Все из-за нужды.

13.V.42. Среда.

Весь день дождь, плывущий туман, свинцово-меловые зловещие тучи, холод. (А ночью перед этим часа два ужасная гроза.)

Будто бы взята Керчь.

23.V.42. Воскресенье.

Керчь давно взяли. Но Москва говорит, что возле К. все еще идут бои. Страшные бои из-за Харькова – уже недели две.

Последние дни уже лето. «…» И страх и тоска за Веру – опять неск. раз были боли, И она испугана, падает духом. Господи, спаси, совсем пропадаю.

Все хочу послать письмо Т. М. «Львовой» Толстой – и все не решаюсь.

Опять у нас в саду множество цветущих роз – и розовых, и белых, и пунцовых как пунцовый бархат – и вспоминаю с грустью, что в прошлом году я в это время еще писал (и вписал в "Натали" о такой розе).

Опять думал нынче: прекраснее цветов и птиц в мире ничего нет. Еще – бабочек.

26.V.42. Вторник.

Все кровь – уже дней десять. Чувствую себя ужасно, слабость страшная. Тоска, страх за Веру. Какая трогательная! Завтра едет в Ниццу к доктору, собирает свой чемоданчик… Мучительная нежность к ней до слез. «…»

3.VI.42.

Лето. Была дурная, неспокойная погода, теперь как будто установилась.

Май был необыкновенный – соверш. чудовищные битвы из-за Керчи и вокруг Харькова. Сейчас затишье – немцы, кажется, потерпели нечто небывалое. А из радио (сейчас почти одиннадцать вечера) как всегда они

заливаются. Удивительно – сколько блядского в этом пении, в языке! Думаю все время: что же это впереди! Если немцы не победят, полная погибель их. Если победят – как может существовать страна, ненавидимая почти всем миром? Но и в том, и в другом случае – что будет со страной, у которой погибло все самое сильное чуть ли не с 15 лет до 50! А уже погибли миллионы и еще погибнут.

Франц. радио – нечто поразительное. Тонем во лжи и холопстве.

Мне, верно, уже не поправиться – переломилось здоровье. Едва таскаю ноги. Неужели и в прошлом году было то же? Нет, этого не помню. М.б., забыл?

Читал вчера и нынче стихи – Г. Иванова [228], Гиппиус. Иванов все-таки поэт настоящий (в зачатке). Г. ужасна. Мошенница.

7.VI.42. Воскр.

«…» Вчера письмо от дочери Анны Ник. Готье – приехала в Антибы, но "маму уже похоронили". Нынче все думал о тех прекрасных лесах вокруг Рокфора, по которым старушка спешила к автобусам. Не видеть ей их больше!

1.VII.42. Среда.

Двенадцатый час вечера. В одиннадцать радио: Севастополь взят. Дорого, верно, достался!

Все время полное безволие, слабость, – ничего не могу, кроме чтения лежа. Перечитал первый том "Бр. Карамазовых". Три четверти – совершенный лубок, балаган. А меж тем очень ловкий, удивительно способный писака. «…»

Разгром англичан в Африке. Немцы уже в 100 кил. от Александрии.

Чем же все это кончится? Вот впереди месяц, два самых роковых для Европы – думаю, за эти 2 месяца выяснится.

14.VII.42. Вторник.

В прошлую среду вырвал еще зуб.

Прекрасный день. Попытка начать что-н. делать.

Прочел (перечитал, конечно) второй том "Бр. Карамазовых". Удивительно умен, ловок – и то и дело до крайней глупости неправдоподобная чепуха. В общем скука, не трогает ничуть. «…»

18.VII.42.

Скучный день, тоска.

Немцы в России все идут вперед. В Африке начались бои "решительные".

И все слабость, безволие, безделие! «…»

11 часов вечера, радио: "положение Тимошенко катастрофическое". Что-то должно быть вот-вот новое, огромное. Все еще не верится, что все пропало.

19.VII.42. Воскр.

Видел новую луну. Холодно, тучи, перед вечером прошел дождь.

Шестого июля объявили, что взят Воронеж. Оказалось – брехня: не взят и по сегодня.

10.VIII.42. Понед.

Купался всего 2 раза пока – за все лето. «…»

В России ужасно, – кажется, правда гибель нынче: взят Пятигорск. Битва морская американцев с японцами – японцы трубят большую победу. Беспорядки в Индии – арестован Ганди и весь инд. конгресс, позавчера потребовавший ухода англичан из Индии. «…»

13.VIII.42.

Кончил перечитывать "Дневник" Башкирцевой. Вторая половина книги очень примирила меня с ней. И какая действ. несчастная судьба! «…»

1.IX.42. Вторник.

Сухое лето, сгоревшие цветы олеандра. Еврейские дни дошли и до нас. В Париже, говорят, взяли 40 000. Хватают по ночам, 10 минут на сборы. И мужчинам и женщинам бреют головы – и затем человек исчезает без следа. Детей отнимают, рвут их документы, номеруют – будет без роду – племени, где-то воспитают по-своему. Молодых евреек – в бардаки, для солдат. У нас взяли, говорят, уже человек 700-800. «…»

2.IX.42.

Евреям (взятым) не дают пить.

Все грусть – о прошлой моей жизни здесь. Лоренские острова.

Перечитал Лоти "Fantome d'Orient". Скучно, длинно.

7.IX.42.

«…» Перечитываю "Любовь в жизни Толстого" Жданова [229]. Гадко –

до чего обнажили себя и муж и жена насчет своей крайней интимности!

Взят Новороссийск. И все-таки думаю – вот-вот будет большое и плохое для немцев.

Расстреляли 5 прав«ославных» священников в Праге – будто бы участвовали в убийстве какого-то немца и "укрывали у себя рус. парашютистов".

16.IX.42. Среда.

Все прекрасные дни. И все мука – тянет ехать в Cannes, Ниццу, видеть море, женщин, кого-то встретить, – одиночество страшное! – и все мысль: все это напрасно, будет только мука с автобусами – и мука воспоминаний моих прежних лет тут.

Ночи спокойные, теплые, с бледными звездами, с непрерывн. журчаньем сверчков и ночных цикад.

Нынче ездил в Cannes, купался – всего четвертый раз за все лето! И уже кончено лето – м.б., последнее мое. Дов. большая волна, вода приятная.

Немцы к Цар«ицыну» все "продвигаются" и все атаки русских неизменно "отбиты". День и ночь идут уже с полмесяца чудовищн. бои – и, конечно, чудовищн. потери у немцев. К концу войны в Германии останутся только мальчишки и старики. Полное сумасшествие! Только сумасш. кретин может думать, что он будет царствовать над Амер., Браз., Норвегией, Францией, Бельгией, Голл.. Данией, Польшей, Чехией, Австрией, Сербией, Албанией, Россией, Китаем – 16 странами, из которых все, не считая евреев, ненавидят Германию и будут ее ненавидеть небывалой ненавистью чуть не столетие. Но какая сказочная сила – пока.

12.IX.42.

Переписывал свои заметки, наброски рассказов. «…»

8.IX.42.

Был в Ницце. Привез "Нов. Журнал".

Истратил последнее. Какой позор – в Америке за все время собрали мне долларов 500!

20.IX.42.

Очень жаркий день. Безволье, вялость, уборка.

Перечитываю стихи Полонского – и как часто теперь, мысль: перечитываю в последний раз.

В "Нов. Журнале" (вторая книга) – "Натали". И опять, опять: никто не хочет верить, что в ней все от слова до слова выдумано, как и во всех почти моих рассказах, и прежних и теперешних. Да и сам на себя дивлюсь – как все это выдумалось – ну, хоть в "Натали". И кажется, что уж больше не смогу так выдумывать и писать.

Девять вечера. Золотой полумесяц, на него нашел белый оренбургский платок.

22.IX.42.

С утра туман, дождь и такая свежая сырость, что оделся по-осеннему. После полудня солнце, тепло. В. уехала завтракать к М. Ив.

Мой отец, моя мать, братья. Маша пока в некотором роде существуют – в моей памяти. Когда умру, им полный конец.

Все живее становится для меня мое прошлое. Вот вспомнил Птб. времени моего пребывания там в декабре 1896 г., Ольхину и т.д. – Боже, как все вижу, чувствую!

Все убираюсь, все надеюсь сесть за работу. Напрасная, должно быть, надежда!

В газетах – "La situation desperee de l'U.R.S.S.", "Desillusions et inquetudes" (Безнадежная ситуация в СССР", "Разочарование и беспокойство" – фр.) в Англии… И говорят, что с Царицыным собственно дело кончено и пора подумать о том, что дальше предпримут немцы после него и Кавказа.!…»

Радио – кошмар. Не лжет только, который час.

23.IX.42. Среда.

В час поехал в Ниццу. Теснота удивительная, сидел на железной приступке за креслом шофера, жгло левый бок от танка, лицо и книгу Лоти (Pays basque), которую читал, все время покрывала то одна, то другая цветистая юбочка каких-то двух крупных девок. Вернулся с каром в 7.30 вечера. «…» В каре дурацки сел у незакрывающего«ся» окна, мучился от холодного сильного ветра. Вечера уже осенние, нельзя не брать с собой пальто в поездки. (Ездил опять к зубному врачу.)

День был прекрасный, чувствовал себя все время бодро и легко. Свесился: 66-65 кило. А прежде всегда бывало 72-73.

И с Цар«ицыным» и с Кавказом немцы все-таки жестоко нарвались. Последние дни им просто нечего сказать: "берем дом за домом…" Перебили их русские, конечно, в ужасающем количестве. И то хлеб.

Из того, что делается на свете, знаем одну сотую. "Journal de Geneve"

получаем в особом издании – для Франции. Но и то нередко издание это не доходит к нам. За всю свою историю Франция никогда не была в такой погибели.

24.IX.42. Четверг.

Солнечно, крас. облака. Над горами над Вансом их потолки – прекрасные. Потом пошли хуже – серые.

Дочитывал 1-й т. стихов Полонского, вспоминал, как читал в Beausoleil. Теперь в последний раз в жизни? Вероятно. Вспоминал те чувства, что были в ранней молодости, в Озерках, при чтении некоторых стихов. 9/10 – скука, риторика и часто просто непонятная. Зато 1/10 превосходно.

Полнолуние. Удив. лунная ночь. Клубы и груды великолепн. белых облаков к западу, на юге и на востоке; на севере неприятн. белая туча из-за горы. Середина неба, огромная, глубокая, чиста, ясный месяц. Прошелся в одиннадцат. часу по обычной дороге – к плато Наполеон. Моя черная тень впереди. Страшные мысли – вдруг останусь один. Куда деваться? Как жить? Самоубийство?

Потом стал думать об этой кухарке на постоялом дворе. Все вообразил с страшной живостью. Возбуждение – и до того, что уже почувствовал все, что бывает перед концом Мурашки, стеснение во всей грудной клетке. «…»

1.X.42. Четверг.

«…» Вчера именины Веры. Роскошный обед – с колбасой "Собачья радость". «…»

14.X.42.

«…» Рождение В. Ездила в Восса в церковь, причащалась. Обед праздничный – по 3 порченых вареных картошки. Но чай с наст. вареньем – подарок Али ("довоенное").

Покров Пр. Богородицы. Защити, Матерь Божия.

Дела немецкие неважны. 76-ой день берут Царицын.

23.X.42.

Пятница. «…» Страшный день: мне 72!

Нынче радио о Царицыне: "все атаки большевиков отбиты". Скоро 3 месяца как берут его!

27.X.42. Вторн.

Третий день дождь, иногда ливень и грозы. В доме уже порядочно холодно.

Большие бои в Африке. Царицын все еще держится.

Чувствую себя плохо, особенно с утра. Верно, конец моим писаниям. Избавь, Господи.

9.XI.42. Понедельн.

Девятая годовщина Ноб. премии!

Вчера большое событие: высадка американцев в Сев. Афр«ике».

12.XI.42.

Четв. Вчера в 12 1/2 роковая весть: немцы занимают наше побережье.

Ницца занята вчера днем, Cannes поздно вечером – итальянцами.

В Grasse вошло нынче вечером 2000 итальянцев.

25.XI.42.

Утром думал, что умираю – отлив крови от головы.

27.XI.42. Пятн.

Вечером – швейц. радио – Тулон. Кончил "На пост«оялом» дворе".

28.XI.42.

Страшные вести о Т«улоне» – почти весь флот потопился. Взрывы арсенала. Тряслись дома. Пожары. Моряков погибло оч. много.

Все время прекр. солн. дни. Но уже страдаю от холода.

3.XII.42. Четверг.

Вчера в полдень Cannes. Потом Певзнеры и ресторан Паскаль. 3/4 красного тяжелого вина – опьянел. Зашел к Гукасову – не застал. Поехал на изв«озчике» с набережной в рус. церковь «…» ходил по церковному двору, обошел церковь – где вход в гробовое подземелье, куда меня в некий день внесут? Холодная, хорошая погода, предвечерн. время. Грустно, тупо, безнадежно. От искания этого входа – гадкое впечатление – глупо – зачем? Не дождавшись библ., ушел, доехал в автоб. до Cannes. На набережной, возле табачн. лавки, встретил Легранд. Бар. (…) Две рюмки коньяку. Потом бар в Карлтоне. Гукасов и те же. Два бок. белого вина.

Нынче кровь.

25.XII.42. Катол. Рожд. Пятница.

Вчера ужин с Бродскими в ресторане "Потиньер". Он приехал из Монте-Карло. Ужин больше 2 1/2 тысяч. Мы – на чужой счет! Вот тебе и слава!

Нынче холод, дождь. Убили Дарлана.

Перечитываю "Гарденинных" – как когда-то на Montfleury чуть не 20 л. тому н.! Многое не хорошо.

Все грустен. В жизни мне, в сущн., не осталось ничего! «…»

27.XII.42. Воскр.

Месяц тому назад, 27 Ноября, умер Осоргин.

Холодно, серо. Топлю.

Писал заметки о России.

Тем, что я не уехал с Цетлиным» и Алд«ановым» в Америку, я подписал себе смертный приговор. Кончить дни в Грассе, в нищете, в холоде, в собачьем голоде!

31.XII.42. Четв.

Грустил ужасно.

"Встречали" Нов. г. втроем (Б. уехал куда-то): во время боя часов выпили по стакану белого вина и "поужинали": по 5 соленых ржавых рыбок, по несколько кружков картошки и по три кружочка, оч. тоненьких, колбасы, воняющей дохлой собакой.

Холодно, но довольно хорошая погода.

Ноябрь, декабрь были почти сплошь солнечны.

Еще год прожит из маленькой человеческой жизни!

1943

1.I.43. Пятница.
Господи, спаси и помоги.

3.I.43. Воскр.
Письмо от Н. И. Кульман: умерли Бальмонт и проф. Оман. Исчез из мира и из моей жизни Б«альмонт»! А живо вижу знакомство с ним, в Москве, в номерах "Мадрид" на Тверской! Был рыжий, стрижен ежиком, налит сизой кровью, шея, щеки в крупных нарывах…
Солнечно, довольно тепло, но налеты мистраля.

1.2. Понед.
Ночь была сырая, с мгой. Проснулся в 4, не спал до 6. Заснул и проснулся в 9. Чувствую себя однако сносно.
Паулис произвед. вчера Хитлером. в маршалы, сдался в Царицыне, с ним еще 17 генералов. Царицын почти полностью свободен. Погибло в нем будто бы тысяч 300. Но в Берлине речи – 10-летие власти Хитлера.

2.2. Вторник.
Сдались последние. Царицын свободен вполне.

8.2. Понедельник.
Взяли русские Курск, идут на Белгород. Не сорвутся ли?

17. 2. Среда.
Во сне ломило темя. Утром кровь.
Опять, слава Богу, солнце. Чувствую себя мутно и слабо.

24. 2.
Нездоровится, повышена температура.
Солнечно.
Я был умен и еще умен, талантлив, непостижим чем-то божественным, что есть моя жизнь, своей индивидуальностью, мыслями, чувствами – как же может быть, чтобы это исчезло? Не может быть!

28.3. Воскр.

Вечер. Часы переведены еще на час вперед – сейчас уже 12 1/2, т.е. по-настоящему 10 1/2.

Радио: умер Рахманинов.

2.4. Пятница.

Послал "le Village" ("Деревня" – фр.) в Португалию.

Продолжаю читать фр. перевод дневников С.А. Толстой (2 тома). Одержимая!

Читаю записки Порошина [230], воспитателя Павла I. Обожествление мальчишки, часто оч. гадкого и наглого.

Часто думаю о возвращении домой. Доживу ли? И что там встречу?

3.4.43. Суббота.

Летний день. Деревцо на нижней площадке – розовые цветы, коричн. листья. Зацвело грушевое дерево, яблоня – самое прелестное. «…» Цветут левкои. Букет у меня на столе. Несказанно очароват. благоухание.

Мучительная медленность войны – наступление в Африке, выдохшееся наступление русских да и немцев в России…

10.4. Суб.

Кончил "18-й год" А. Толстого. Перечитал? Подлая и почти сплошь лубочная книжка. Написал бы лучше, как он сам провел 18-й год! В каких "вертепах белогвардейских"! Как говорил, что сапоги будет целовать у царя, если восстановится монархия, и глаза прокалывать ржавым пером большевикам… Я то хорошо помню, как проводил он этот год, – с лета этого года жили вместе в Одессе. А клуб Зейдемана, где он был старшиной, – игорный притон и притон вообще всяких подлостей!

11.4. Воскр.

«…» 31 марта умер (оч. тихо) Милюков [231]. Кончена долгая, – т.е. в сущности, оч. короткая – жизнь. Даже не верится. Давно ли – и т.д.

14.4. Среда.

«…» Ночью разбудил крик Зурова и быстрый, бешеный стук – думал, что это он в стену – оказалось, стрельба по англ. авиону. Был алерт.

Все дни солнечные, но с холодн. ветерком. Нынче день совсем хороший. М.б., от погоды мне лучше?

1.V. Суб.

Перечитываю жизнь Гете (по-франц.).

2.V.

Уже не помню, что вчера было (кроме того, что бешено убирался – могут выселить).

Весь день дождь, туман густым дымом.

С прошлой среды у нас с 11 вечера "couvrefeu" – из дому ни шагу.

4.5.

Прекр. день и прекр. облака над горами за Ниццей, – вечные, а наши жизни… Скоро, скоро и меня не будет, а они все будут. И вся моя жизнь здесь – как молод был, когда сюда приехал! «…»

7.V. Пятница.

Полночь с 1/4. Дождь, лягушки. Час тому назад англичане вошли в Тунис, американцы – в Безерту.

Не было утром газет – не вышли вовремя «для? – М.Г.» автоб. из Ниццы. Там аресты (среди французов), берут заложников.

Второй день дождь и холодно.

Завтра надеюсь поехать в Ниццу. Поеду ли?

Наступление русских на Кубань. Вчера взята Крымская.

9.V. Воскр.

Вчера был в Ницце. Солнечно, бело, слепит, почти жарко. "Гастроном".

Вечером, вернувшись, узнал о письме Г. к Вере (уже из Марсели): "Покидаем Францию". Бросилась в пропасть с головой. «…»

26.V. Среда.

Письма от В. Зайцевой и Михайлова: умер Нилус [232] (в ночь с суб. на воскр.). Бесчувственность. «…»

29.V.

Слабость, сонливость. Вот тебе и стрихнин!

Письмо от П. Б. Струве [233]: умерла его жена, Нина Александровна.

14.VI.

Надо начать хоть что-н. делать. Надо бодриться – господи, помоги.

Слабое солнце, туманно. Полдень. Дождь. «…»

15.VI.

Скука и все ожидание, чтобы война, наконец, двинулась.

Перечитал "Le baiser au lepreux", Mauriac'a. Поэтично, благородно, тонко, но в общем слабо, неубедительно. «…»

Оч. прохл. вечер, гадкая окраска гор и облаков.

18.VI. Пятница.

Прекр. день, но все то же – слабость, лень.

Перечитывал стихи А. К. Толстого – многое удивительно хорошо, – и свои "Избр. стихи". Не постигаю, как они могли быть не оценены!

В безделье провожу свои истинно последние дни. Но ничего не могу!

6.VII.

Большие бои в России. Немцы говорят о страшных потерях у русских, русские – о таких же у немцев. Те и другие о своих ни слова.

8.VII. Четв.

И вчера и нынче громадн. пожар в Эстерели. Оч. горячее солнце и хол. налеты мистраля.

10.VII. Суб.

Началась высадка в Силиции. Удастся ли? Оч. сомневаюсь. Дело большое!

25.VII. Воскр.

Утром квартирмейстер итальянцев – осматривал дом, чтобы, м.б., занять у нас неск. комнат.

Завтрак с Верой у Клягиных [234]. В 11 1/2 вечера: итальянок, король принял отставку Муссолини [235]! Пока еще ничего не понимаю. Но событие гигантское! Конец «цезаря», которому уже чуть не ставили золотые статуи!

27.VII.

День серенький.

Как дико! 23 года был царь и бог – и вдруг "подал в отставку"! Исчез,

не сказав на прощание ни слова Италии!

Ясно – Италия выйдет из войны и у нас будут немцы.

2.8.43. Понед.

Уже неск. дней очень жарко. Небо мутно от зноя. Ходил в 6 ч. к Клягину – все горячо и сладко пахнет – цветы, хвоя.

Сейчас 8 (солнце еще не село), и долина, и горы, и невидное море смутно, в жарк. дымке.

Все еще неизвестно, где Муссолини.

Бои в Сицилии продолжаются – англ., очевидно, не хотят спешить, ждут сдачи.

Да, какой позор свалился вдруг на Мус«солини»!

5.8. Четв.

Был в Ницце. Тотчас узнал, что взяли Орел. В третьем часу – Катанью. «…»

В Ницце множество немцев, много мальчишек; одеты все тяжело и неопрятно, сапоги пудовые.

6.8.

Два-три посл. дня сносно, ветерок. А до того нестерп. жара и духота, неподвижность. Не запомню таких жаров – оч. давно не было. И все пожары, пожары – то там, то тут. Нынче огненное солнце в дыму. Огромн. пожары в сторону Тулона и возле Cagnes. Говорят о поджогах.

Чувствую себя посл. время сносно. Погода?

Вечер. Пожары от Antibes до Cagnes.

"Великий Дуче" исчез как иголка. «…»

23.8. Воскр.

В понедельник 16-го ходили с Верой страшно – жарким утром в Bres'y. Чудесный, старый дом, огромное поместье. Одинокий, за 60 или больше, сухой, худой, умный. Нашел мое здоровье не плохим.

Все дни жара редкая – тяжкая, душная, ходил почти голый, спал посл. три ночи внизу, в маленьк. кабинете.

Записать о дневниках Гиппиус – верно, все пишет – и воображаю, что только не напишет про всех, про всех, про меня в частности! «…»

30.8. Понед.

Вчера завтрак с Верой у Клягина. Он читал 2 рассказа. Второго я

совсем не слыхал – выпил за завтр. рюмку мару и стакана 3 вина, за кофе 2 рюмки коньяку и 1/2 рюмки ликеру – и сидя, спал. Придя домой, спал от 6 до 10. В 11 лег и проспал еще часов 10. Переутомление. Нельзя мне так пить.

2.IX.

Четверг. Пришел Бахр и сказал, что в Grasse приходят немцы.

3.IX.

Все хорошие дни, а все слабость.

Нынче на рассвете высадка англичан в Италии, утром ужасная бомбард. Парижа. «…»

7.IX. Вторн.

Нынче письма из Ниццы: Елена Александр. Пушкина (фон Розен Мейер) умерла 14 Авг. после второй операции. Еще одна бедная человеч. жизнь исчезла из Ниццы – и чья же! родной внучки Александра Сергеевича! И м.б. только потому, что по нищете своей таскала тяжести, которые продавала и перепродавала ради того, чтобы не умереть с голоду! А Ницца с ее солнцем и морем все будет жить и жить! Весь день грусть. «…» Оргия нажив в Париже.

8.IX. Среда.

Огромная весть: в 6 1/2 ч. вечера узнали, что Италия вышла из войны, капитулировала – и никто в мире, кроме Руз«вельта», Черч«илля» и Сталина, не знал, что сговорились об этом еще 3 сент. (августа?) [236]. Что же с нами-то теперь будет?

12 1/2 ночи. Молодая луна за домом, ни одного огня в сумрачно видной долине, выстрелы. Итальянцы бегут.

9. IX.

Ночью разоружали и арестовывали итальянцев. Из Parc Palace Hotel бежали высшие чины, но пойманы на дороге в Ниццу.

Couvre feu у нас с нын. вечера с 8 вечера до 7 утра.

17.IX.

Опять поэтич. грусть – о той, первой, осени в Париже.

Как уже давно, давно это было!

Бомб. Париж, Нант, Montmolisson – сотни убитых. Сейчас, к вечеру,

все замутилось, серо, похоже на близкий дождь.

Ночью (прошлой) была где-то, близко от нас, бомб«ардировка».

25.IX. Суб.

Дождь, прохл., кажется, повернуло на осень.

Все последи, дни чувствовал себя не плохо, пишу по целым дням. (Принимаю уже дней 10 фитин.)

Рус. берут город за городом. Нынче – Рославль и Смоленск. «…»

13.X. Четв.

«…» Час ночи, мелкий дождь, луна за облаками. Весь день чувств, себя удивит, скверно, лежал пластом, засыпал. Вечером кровь.

В 3 ч. дня Италия в лице короля и Бодольо объявила войну Германии.

17.X.

Пил чай у Кл«ягина». Какой очар. живой человек! Бои в Мелитополе – берут дом за домом. Все последние дни холод – необычный в эту пору. Сейчас 11 веч. (т.е. 10 по-настоящему) – мрак, холод, дождь.

21.X. Четверг.

Письмо Олечке:

Милая Олечка, как поживаешь?
В школе бываешь иль просто гуляешь,
Дома же в куклы и с Котькой играешь,
А вечерами, под ручку с мама,
Ходишь то в гости, а то в синема?
Я вас обеих целую и жду
Вскоре иметь от тебя billet – doux.
P.S. Очень жалею, что Котьки тут нет:
Аля сварил бы его на обед.

23/10 окт. Суббота.

Господи, сохрани и помилуй. День моего рождения.

Спал мало, часов 7 (а мне всегда нужно 8 1/2 или 9), но чувствую себя сносно.

Дописал рассказик "Начало".

Вечер: взяли Мелитополь.

29.X. Пятница.

Вчера в полночь дописал последн. страницу "Речн«ого» ресторана". Все эти дни писал не вставая и без усталости, оч. напряженно, хотя не досыпал, терял кровь и были дожди. Нынче падение. День был тихий, милый, на душе тихо и грустно, воспоминания.

Взяты за эти дни Екатеринослав, Лоцманская Каменка (когда-то я там был перед проходом по порогам). Теперь это, верно, город, гнусно называемый "Днепродзержинск".

1.XI.43. Понед.

"День всех святых", завтра самый страшный праздник – "день всех мертвых". Сумрачно, холодно. Сейчас час ночи, соверш. непроглядная тьма, ни единого огня и мелкий дождь. Вечером писал начало "Иволги" – не знаю, что напишу дальше, пишу наугад. Нынче переписаны "Дубки", напис. 29-го и 30-го.

Вечером – взят Перекоп.

5.XI. Пятн.

Был у Клягина, он читал начало своего "Дяди Пети".

6.XI.

12 1/2 ночи. Туман, сыро, темно, полумесяц уже зашел.

Скверная погода к вечеру, сонливость, разбитость, но, одолевая себя, продолжал "Иволгу".

Взят Киев. В Грассе много русских в солдатской немецкой форме. Ходят из бара в бар.

11.XI. Четверг.

В одиннадцатом часу, в чудесную лунную ночь, началась бомбардировка Восса и продолжалась минут 40. Смотрели с заднего балкона и из окон. Редкое, дивное зрелище. Наш дом весь дрожал,

10.XII. Пятница.

10 лет тому назад стал в этот вечер почти миллионером. Банкет, Кронпринц, Ингрид. Нынче у нас за обедом голые щи и по 3 вареных картошки. Зато завтракали у Клягина – жито, рис, все плавает в жиру.

Взята Знаменка.

18.XII. Суббота.

Прекрасная погода.

Все думаю о краткости и ужасах жизни.

Слушал радио – прованс. музыка и пение – девушки – и опять: как скоро пройдет их молодость, начнется увядание, болезни, потом старость, смерть… До чего несчастны люди! И никто еще до сих пор не написал этого как следует!

1944

1.I.44. Новый год.

Господи, спаси и сохрани.

День опять солн. и оч. холодный.

Ничего не делал. Бесплодно тревожно.

Сейчас 11 1/2 ночи, первая треть луны, ледяная ночь. Ходил бросить письмо Долгополову – как всегда резкий свет электрич. фонарика в лицо возле клиники – ходят два немецких солдата с 6 часов возле нее. «…»

2.I.44.

Солнце только что село. Оч. высоко белый, чуть зеленоватый почти полумесяц (над Клягиным). Пять часов. Сижу у окна на запад – впереди вся в фиолет. дымке.

Пять часов 5 м. Уже все фиолет. исчезло – стало темнеть под зеленоватой дымкой. День был чудесный. Было 2 алерта – после второго где-то бухало, дым где-то за Cagnes.

1 ч. 35 м. вечера – опять алерт!

3.I.

Заснул вчера, несмотря на алерт, раньше 12. Спал не плохо и долго, от 9 до 10 в полусне. И опять около 9 алерт.

В 12 – опять.

Прекр. день, тишина, солнце. На солнце совсем горячо. Чувствую себя совсем не плохо.

Опять удив. закат.

Нынче утром опять страшно били Берлин.

Вчера взяты Новгород, Волынск и Олевск.

Вот-вот будут страшные дни!

4.I. Вторник.

Опять прекрасный день. В 2 – алерт.

Ездил на вокзал P. L. M. – посылка от Шведск. Кр. Креста.

Взяли Белую церковь, перешли в неск. местах польскую границу.

6.I. Четв.

"Праздновали" русский сочельник. «…» Грибной суп с кусочками

сальца, котлеты, картофельное пюре!

В 12-ом часу ночи (ледяной, лунной) вышли с В. погулять в сад – с дороги два резких огня фонариков, крики – дозора возле "Helios". Поспешили в дом.

7.I. Наше Рождество.

«…» Было 2 алерта.

Нынче и вчера читал рассказы Зощенко 37 г. Плохо, однообразно. Только одно выносишь – мысль, до чего мелка и пошла там жизнь. И недаром всегда пишет он столь убогим, полудикарским языком – это язык его несметных героев, той России, которой она стала.

8.I. Суб.

«…» Вся Европа разрушена чудовищно. Прошлая "вел. война" была совершен, пустяки. И Г«ермания», помимо того, как страшно сдерут с нее шкуру, потеряла уже 3/4 своего самого сильного населения. А что ждет Болгарию, Венгрию, Румынию и несчастную Италию, зарезанную этим быком!

17.I. Понед.

Солнце (порой горячее), облака.

Сейчас 12 ночи (т.е. 11) – луна еще не взошла.

Война все тянется. И конца этому не видно! Когда же, Господи, что-н«ибудь» решительное?

19.I. Среда.

Серо, холодно. Ничего не делал, тоска.

Взяты Красн. Село, Петергоф, Ропша, большая добыча. Убито тысяч 20.

20.I.

Опять прекр. день. Был у Кл«ягина».

Взят Новгород.

Ночи звездные, чистые, холодные. Что ни вспомнишь (а обрывки восп. поминутно), все больно, грустно. Иногда сплю по 9 и больше часов. И почти кажд. утро, как только откроешь глаза, какая-то грусть – бесцельность, конченность всего (для меня).

Просмотрел свои заметки о прежней России. Все думаю, если бы дожить, попасть в Р«оссию»! А зачем? Старость уцелевших (и женщин, с

которыми когда-то), кладбище всего, чем жил когда-то…

25.I.

«…» Вдруг вспомнил Гагаринск. переулок, свою молодость, выдуманную влюбленность в Лоп«атину», – которая лежит теперь почему-то (в 5 километрах от меня) в могиле в какой-то Валбоне. Это ли не дико!

27.1.

Без 1/4 6. Сижу у окна на запад. На горизонте небо зеленое – только что село солнце, – ближе вся часть неба (передо мной) в сплошном облаке, испод которого (неразборчиво. – О. М.) как руно и окрашен оранжево-медным.

Теперь цвет его все краснее, лесная долина к Драгиньяну в фиолетовом пару.

Кругом, – к Ницце, к Cannes, – все в меру, грубовато цветисто, – верно, завтра будет непогода.

Нынче, после завтрака, большая бодрость – бифштекс с кэри, настоящий кофе и лимон?

Получил 2 шведск. посылки. «..»

28.1. Пятн.

«…» Нынче утром С. Маковский читал свои стихи "Из Апокалипсиса".

Солнечно, совсем тепло.

Немец осматривал дом.

Был у Кл«ягина». Он читал.

Взяли Любань. Били Берлин.

30.I.

Гулял в одной куртке. Зацветают фиолет. подушечки.

Чудовищно били Бруншвик и Франкфурт.

31.I.44.

Вчера письмо от Зайцева – Г. и М. в Дрездене, Г. "ведет хозяйство" (у Степунов, конечно), "М. готовится к весеннему концерту".

Да, хорошо я выдумал слова мужика в "Вес. вечере": "Жизнь нам Господь Бог дает, а отнимает всякая гадина". «…»

4.2.

«…» Прочел две книжки К. Федина [237] – «Братья» и «Похищ„ение“

Европы». Оч. много знает, оч. неглуп – и наряду с этим сумбур, выдумки.

8.2. Вторн.

Взят Никополь и огромн. кол. воен. материала, взято пл. тысячи 2, убито тысяч 15.

Погода все та же. Ночи удивительные. Луна над самой головой. Небо пустое – только Юпитер (к востоку) и Орион (к западу, над нашими террасами).

15.2.

Немцами взяты у нас 2 комн. наверху.

Нынче 1-й день полной нем. оккупации A«lpes» M«aritimes».

18.3.44. Суббота.

«…» Разметал площадку перед домом, жег сухую листву, было совсем тепло. Вечером опять прохладно.

2.4.44. Воскр.

В 12 ч. ночи часы переведены еще на час вперед.

5.4.44.

Туман, к вечеру легкий дождь. Закричали как следует лягушки – с опозданием против обыкновенного чуть не на два месяца.

С 8 на 9.V.44.

Час ночи. Встал из-за стола – осталось дописать неск. строк "Чистого Понед«ельника»". Погасил свет, открыл окно проветрить комнату – ни малейш. движения воздуха; полнолуние, ночь неяркая, вся долина в тончайшем тумане, далеко на горизонте неясный розоватый блеск моря, тишина, мягкая свежесть молодой древесной зелени, Кое-где щелкание первых соловьев… Господи, продли мои силы для моей одинокой, бедной жизни в этой красоте и в работе!

14.5.44.

2 1/2 часа ночи (значит, уже не 14, а 15 мая).

За вечер написал "Пароход Саратов". Открыл окно, тьма, тишина, Кое-где мутн. звезды, сырая свежесть.

23.5.44.

Вечером написал "Камарг". Оч. холодная ночь, хоть бы зимой.

4.VI.44. Вечер.
Взят Рим! Вчера вечером вошли в него.

6.VI.44. Вторник.
В 5 1/2 утра началась высадка в Нормандии. Наконец-то!
Полнолуние. «…»

21.6. Среда.
Взят Выборг.
3 года т.н., в ночь с 21 на 22, Гитлер, как он любил выражаться, "упал как молния в ночи" на Россию. Ах, не следовало!

22.6.
В 3 ночи алерт. Стояло что-то красное, большое в стороне Ниццы, сверкали вспышки – узнали нынче, что били Вентимилью.
Уже почти час ночи, а хочется писать.

26.6.
Началось рус. наступление. Вчера молодой месяц, увидал с правой стороны. Взят Шербург.

27.6.
Взяты Витебск и Жлобин. Погода все скверная. Взята Одесса. Радуюсь. Как все перевернулось!

28.6.
У Клягина «меня» осматривал д-р Bres. Нашел не в плохом состоянии, лучше прошлогоднего; и аорта и сердце хороши, кроводавление 8 и 14. «…»

1.7.44. Суб.
Погода хорошая, хотя холодн. бриз, но все слабость. Нынче весь день буйное веселье немцев в "Гелиосе". Немцы в Грассе! И почему-то во всем этом Я! «…»

3.7.
Погода плоха, все слабость. Читал Стендаля. Бесконечная болтовня.

Но человек умный, хорошо знающий жизнь, людей. – Взят Минск.

16.7. Воскр.

«…» татарин Федя, другой татарин и самарский солдат. Вообще русские пленные у нас часто все лето.

Взято Гродно.

20.7.44. Четв.

Покушение на Хитлера.

Пухлые облака, все неприятн. погода. Вялость. Дико! Уже 5 лет живу в какой-то английск. вилле! Привык как к своему дому. Русские идут, идут.

21.7.

Облака, прохладно. К вечеру стал чувствовать себя бодрее.

Опять перечитал "Отца Сергия" и "Декабр«истов»". Сколько замечательного в "Сергие"! В "Дек." кое-что ненужное, напр., обращения к читателю. «…»

22.7.44.

Сон про свою смерть. Сумерки, церковь, я выбирал себе могильное место.

Прекр. день, но мистраль. Самочувств. весь день лучше.

Перечитал "Смерть Ив. Ильича". Конец невразумителен. Все лживые, кроме самого Ив. Ильича – он слова, литература; все верно насчет него, но живого образа нет.

23.7.

Взят Псков. Освобождена уже вся Россия! Совершено истинно гигантское дело! «…»

Звездные ночи. Млечный Путь фосфорически – дымный, будто студенистый. В его конце, почти над Эстерелем, мутные крупные звезды. И миллионы, миллионы звезд!

Под Брадами убито 30 т. немцев.

27.7.44. Четв.

Взяты Белосток, Станиславов, Львов, Двинск, Шавли и Режица. «…»

1.8.44. Вторник.

«…» 3/4 луны. Ходили бросать письмо о. Киприану – послал ему

"Балладу".

Возле "Helios" на часах немец и русский пленный, "студент" Колесников. Поговорили. На прощание немец крепко пожал мне руку.

3.8.

5 алертов за день. Полнолуние.

Черчиль вчера сказал, что война кончится не позднее октября. Посмотрим.

10.8.44. Четверг.

«…» Вчера перечитывал (давно не читал) "Вост. повести" Лермонтова: "Измаил – Бей", "Ангел смерти" и т.д. Соверш. детский, убогий вздор, но с замечательными проблесками. «…»

12.8.44. Суб.

Два алерта. Первый в 11 ч. утра. Испытал впервые настоящий страх – ударили близко, в Mallose'e, потом на холмы против Жоржа – и тотчас начались пожары.

Прекр., уже оч. жаркий день.

15.8.44. Вторник. Успение.

Спал с перерывами, тревожно – все гудели авионы. С седьмого часа утра началось ужасающее буханье за Эстерелем, длившееся до полдня и после. В первом часу радио: началась высадка союзников возле Фрежюса. Неописуемое волнение!

18.8.44. Пятн.

Взяли La Napoul (возле Cannes). Все время можно различить в море 6 больш. судов. То и дело глухой грохот орудий.

25.8.44. Пятница.

Все та же погода – жарко, сухо, жаркий вечер с востока, море все время в светлом белесом тумане.

День 23-го был удивительный: радио в 2 часа восторженно орало, что 50 тысяч партизан вместе с населением Парижа взяли Париж.

Вечером немцы «стали» взрывать что-то свое (снаряды?) в Грассе, потом на холмах против Жоржа начались взрывы в мелком лесу – треск, пальба, взлеты бенгальск. огней – и продолжались часа полтора. Сумерки были сумрачные, мы долго, долго смотрели на это страшное и великолепн.

зрелище с замиранием сердца. Ясно, что немцы бегут из Грасса!

На рассвете 24-го вошли в Грасс американцы. Необыкновенное утро! Свобода после стольких лет каторги!

Днем ходил в город – ликование неописуемое. Множество американцев.

Взяты Cannes. Нынче опять ходил в город. Толпа, везде пьют (уже все, что угодно), пляски, музыка – видел в "Эстерели" нечто отчаянное – наши девчонки с америк. солдатами (все больше летчики).

В Париже опять были битвы, – наконец, совсем освобожден. Туда прибыл Де Голль.

Румыния сдалась и объявила войну Германии. Антонеску арестован. Болгария просит мира.

"Федя" бежал от немцев за двое суток до прихода американца, все время лежал в кустах, недалеко от пекарни, где он работал (по дороге в St. Jaques).

Прошли в Собор помолиться Маленькой Терезе, поблагодарить за спасение нас от возможных несчастий.

На нижнем базаре разгромлена парикмахерская – все вдребезги. Первый раз видели погром. А у моей шляпницы – оказывается, она была за немцев, – в магазине окна выбиты, ничего не оставлено. Хозяева бежали с немцами, они итальянцы.

26.8.44. Суб.

Все та же погода. Вчера весь вечер и нынче ночью грохот где-то возле Cannes.

3 часа. Все небо над Ниццей в густом желтоватом дыму – д.б., горят Cagnes, St. Laurent.

27.8. Воскр.

Жарко. Гул авионов над нами.

«…» Леня видел, как толпа вела женщин в одних штанах и нагрудниках, били по голове винтовкой «…» будто бы за то, что путались с немцами. Слава Богу, американские власти запретили публичное издевательство. «…»

По радио слышали ликование в Париже, крики, марсельезу. А когда получим вести? И какие? Бился весь Париж. «…»

30.8. Среда.

Был у Кл«ягина». Там сказали, что взята Ницца. То же сказал Бахрак,

вернувшийся из города. "Говорят, Ницца сошла с ума от радости, тонет в шампанском".

31.8. Четв.

Все дни так жарко, что хожу полуголый. Оч. душно по ночам.

Перечитываю Гоголя – том, где "Рим", "Портрет"… Нестерпимое "плетение словес", бесконечные периоды. "Портрет" нечто соверш. мертвое, головное. Начало "Носа" патологически гадко – нос в горячем хлебе! "Рим" – задыхаешься от литературности и напыщенности…

А может быть, я еще побываю в Риме до смерти? Господи, если бы!

3.9.44. Воскр.

Союзники уже в Бельгии. Финны сдаются.

Прекрасный день, райские виды. И опять – та осень!

4.9.

«…» Нынче в 8 утра прекращены воен. действия между финнами и русскими. Взят Брюссель. Вошли в Голландию.

5.9. Вечер.

Россия объявила войну Болгарии. День был прохл.

7.10.44. Суб.

Сентябрь был плохой. Вчера и нынче буря, ливни, холод, да такой, что нынче вечером повесил на окна занавески.

Уже давно, давно все мои былые радости стали для меня мукой воспоминаний!

Полночь с 22 на 23 окт. 44.

Роковой день мой – уже 75-й год пойдет мне завтра. Спаси, Господи.

Завтра в 8 утра уезжает Бахрак, проживший у нас 4 года. 4 года прошло!

Холодная ночь, блеск синего Ориона. И скоро я никогда уже не буду этого видеть. Приговоренный к казни.

1.XII.44. Пятница.

«…» Спаси, Господи. Боюсь болезни, все хочу начать здоровее жить.

По ночам кричат филины. Точно раненый, которого перевязывают или которому запускают что-нибудь в рану:

– Уу! (тоска и боль). И заливисто гулко:

– У – у – у!

Русские все стали вдруг красней красного. У одних страх, у других холопство, у третьих – стадность. "Горе рака красит!"

1945

1.I.1945. Понед.

Сохрани, Господи. – Новый год.

Уже с месяц болевая точка в конце печени при некоторых движениях. Был долгий кашель, насморк, грипп.

Топлю по вечерам. Вера сидит у меня, переписывает на машинке некоторые мои вещи, чтобы были дубликаты. И еще, еще правлю некотор. слова.

Очень самого трогает "Холодная осень". Да, "великая октябрьская", Белая армия, эмиграция… Как уже далеко все! И сколько было надежд! Эмиграция, новая жизнь – и, как ни странно, еще молодость была! В сущности, удивительно счастливые были дни. И вот уже далекие и никому не нужные. "Патриоты", "Amis de la patrie sovietique"… (Необыкновенно глупо: "Советское отечество"! Уж не говоря о том, что никто там ни с кем не советуется.) «…»

12.2.45. 12 1/2 ночи.

Бедная, трогательная посылочка от Н. И. Кульман – соверш. необыкновенная женщина! Вечером прошелся, бросил ей открытку – благодарность. Холодно, мириады бледных белых точек, звезд; выделяются яркой, крупной белизной звезды Ориона.

Все перечитываю Пушкина. Всю мою долгую жизнь, с отрочества не могу примириться с его дикой гибелью! Лет 15 т. н. я обедал у какой-то герцогини в Париже, на обеде был Henri de Renier [238] в широком старомодном фраке, с гальскими усами. Когда мы после обеда стоя курили с ним, он мне сказал, что Дантес приходится ему каким-то дальним родственником – и: «que voulez – vous? Дантес защищал свою жизнь!» Мог бы и не говорить мне этого.

23.2.45.

Кажется, началось большое наступление союзников на Кельн.

Взята Познань.

Какая-то годовщина "Красной армии", празднества и в России и во Франции… Все сошли с ума (русские, тут) именно от побед этой армии, от "ее любви к родине, к жертвенности". Это все-таки еще не причина. Если так рассуждать, то ведь надо сходить с ума и от немцев – у них и победы

были сказочные чуть не четыре года, и "любви к родине и жертвенности" и было, и есть не меньше. А гунны? А Мамай?

Чудовищное разрушение Германии авионами продолжается. Зачем немцы хотят, чтобы от нее не осталось камня на камне, непостижимо!

Турция объявила войну ей и Японии.

24.2.45. Суббота.

В 10 вечера пришла Вера и сказала, что Зуров слушал Москву: умер Толстой. Боже мой, давно ли все это было – наши первые парижские годы и он, сильный, как бык, почти молодой!

25.2.45.

Вчера в 6 ч. вечера его уже сожгли. Исчез из мира совершенно! Прожил всего 62 года. Мог бы еще 20 прожить.

26.2.45.

Урну с его прахом закопали в Новодевичьем.

24. 3. 45. Суббота.

Полночь. Пишу под радио из Москвы – под "советский" гимн. Только что говорили Лондон и Америка о нынешнем дне, как об историческом – "о последней битве с Германией", о громадном наступлении на нее, о переправе через Рейн, о решительном последнем шаге к победе. Помоги, Бог! Даже жутко!

Берлин били прошлую ноч. 32-ую ночь подряд.

Вчера были именины Г. Как-то отпраздновала. Боже мой!

14.IV.45.

Вчера: взятие Вены.

Смерть Рузвельта.

16.IV.45. Понедельник.

Вышел вечером, в 10-м часу – совсем золотой рог молодого месяца над пиниями возле часовни. Ходил на дорогу, немного дальше спуска в город.

1946

14 октября 46 г. Покров.

Рождение Веры. Все думаю, какой чудовищный день послезавтра в Нюрнберге [239]. Чудовищно преступны, достойны виселицы – и все-таки душа не принимает того, что послезавтра будет сделано людьми. И совершенно невозможно представить себе, как могут все те, которые послезавтра будут удавлены как собаки, ждать этого часа, пить, есть, ходить в нужник, спать эти две их последние ночи на земле…

1949

В ночь с 2 на 3 октября.

Все одни и те же думы, воспоминания. И все то же отчаяние: как невозвратимо, непоправимо! Много было тяжелого, было и оскорбительное – как допустил себя до этого! И сколько прекрасного, счастливого – и все кажется, что не ценил его. И как много пропустил, прозевал – тупо, идиотски! Ах, если бы воротить! А теперь уже ничего впереди – калека и смерть почти на пороге.

1951

1/14 октября 1951 г. Париж.
Дай тебе, Господи, еще много лет и здоровья, драгоценная моя!

1953

«В ночь с 27 на 28 января 1953 Бунин, уже изменившимся почерком записал на листке, вырванном из тетради:»

– Замечательно! Все о прошлом, о прошлом думаешь и чаще всего все об одном и том же в прошлом: об утерянном, пропущенном, счастливом, неоцененном, о непоправимых поступках своих, глупых и даже безумных, об оскорблениях, испытанных по причине своих слабостей, своей бесхарактерности, недальновидности и о неотмщенности за эти оскорбления, о том, что слишком многое, многое прощал, не был злопамятен, да и до сих пор таков. А ведь вот-вот все, все поглотит могила!

23 Февраля 53.

Вчера Алданов рассказал, что сам Алешка Толстой говорил ему, что он. Т., до 16 лет носил фамилию Бострэм [240], а потом поехал к своему мнимому отцу графу Ник. Толстому и упросил узаконить его – графом Толстым.

2 мая 53 г.

Это все-таки поразительно до столбняка! Через некоторое очень малое время меня не будет – и дела и судьбы всего, всего будут мне неизвестны! И я приобщусь к Финикову, Роговскому, Шмелеву, Пантелеймонову!.. И я только тупо, умом стараюсь изумиться, устрашиться!

Окаянные дни

Печатались в течение 1920-х гг. в парижской газ. "Возрождение". Вошли в Собрание сочинений И. А. Бунина в издательстве "Петрополис". Берлин, 1935. Многократно переиздавались отдельным изданием за рубежом. Фрагменты из "Окаянных дней" вошли в последнее Собрание сочинений Бунина в 6 томах (т. 6. М., 1988).

Так как проблематика и круг имен "Окаянных дней" в принципе совпадают с бунинскими записями московского и одесского периода за 1918-1920 гг., составитель счел возможным не давать отдельного комментария. Об "Окаянных днях" в нашей печати см.: Михайлов О. "Окаянные дни" Бунина//Москва. 1989. № 3.

Москва, 1918 г.

1 января (старого стиля).

Кончился этот проклятый год. Но что дальше? Может, нечто еще более ужасное. Даже наверное так.

А кругом нечто поразительное: почти все почему-то необыкновенно веселы, – кого ни встретишь на улице, просто сияние от лица исходит:

– Да полно вам, батенька! Через две-три недели самому же совестно будет…

Бодро с веселой нежностью (от сожаления ко мне, глупому) тиснет руку и бежит дальше.

– Нынче опять такая же встреча, – Сперанский из "Русских Ведомостей". А после него встретил в Мерзляковском старуху. Остановилась, оперлась на костыль дрожащими руками и заплакала:

– Батюшка, возьми ты меня на воспитание! Куда ж нам теперь деваться? Пропала Россия, на тринадцать лет, говорят, пропала!

7 января.

Был на заседании "Книгоиздательства писателей", – огромная новость: "Учредительное Собрание" разогнали!

О Брюсове: все левеет, "почти уже форменный большевик". Не удивительно. В 1904 году превозносил самодержавие, требовал (совсем Тютчев!) немедленного взятия Константинополя. В 1905 появился с "Кинжалом" в "Борьбе" Горького. С начала войны с немцами стал ура – патриотом. Теперь большевик.

5 февраля.

С первого февраля приказали быть новому стилю. Так что по-ихнему нынче уже восемнадцатое.

Вчера был на собрании "Среды". Много было "молодых". Маяковский, державшийся, в общем, довольно пристойно, хотя все время с какой-то хамской независимостью, щеголявший стоеросовой прямотой суждений, был в мягкой рубахе без галстука и почему-то с поднятым воротником пиджака, как ходят плохо бритые личности, живущие в скверных номерах, по утрам в нужник.

Читали Эренбург, Вера Инбер. Саша Койранский сказал про них:

Завывает Эренбург,
Жадно ловит Инбер клич его, -
Ни Москва, ни Петербург
Не заменят им Бердичева.

6 февраля.

В газетах – о начавшемся наступлении немцев. Все говорят: "Ах, если бы!"

Ходили на Лубянку. Местами "митинги". Рыжий, в пальто с каракулевым круглым воротником, с рыжими кудрявыми бровями, с свежевыбритым лицом в пудре и с золотыми пломбами во рту, однообразно, точно читая, говорит о несправедливостях старого режима. Ему злобно возражает курносый господин с выпуклыми глазами. Женщины горячо и невпопад вмешиваются, перебивают спор (принципиальный, по выражению рыжего) частностями, торопливыми рассказами из своей личной жизни, долженствующими доказать, что творится черт знает что. Несколько солдат, видимо, ничего не понимают, но, как всегда, в чем-то (вернее, во всем) сомневаются, подозрительно покачивают головами.

Подошел мужик, старик с бледными вздутыми щеками и седой бородой клином, которую он, подойдя, любопытно всунул в толпу, воткнул между рукавов двух каких-то все время молчавших, только слушавших господ: стал внимательно слушать и себе, но тоже, видимо, ничего не понимая, ничему и никому не веря. Подошел высокий синеглазый рабочий и еще два солдата с подсолнухами в кулаках. Солдаты оба коротконоги, жуют и смотрят недоверчиво и мрачно. На лице рабочего играет злая и веселая улыбка, пренебрежение, стал возле толпы боком, делая вид, что он приостановился только на минуту, для забавы: мол, заранее знаю, что все говорят чепуху.

Дама поспешно жалуется, что она теперь без куска хлеба, имела раньше школу, а теперь всех учениц распустила, так как их нечем кормить:

– Кому же от большевиков стало лучше? Всем стало хуже и первым делом нам же, народу!

Перебивая ее, наивно вмешалась какая-то намазанная сучка, стала говорить, что вот-вот немцы придут и всем придется расплачиваться за то, что натворили.

– Раньше, чем немцы придут, мы вас всех перережем, – холодно сказал рабочий и пошел прочь.

Солдаты подтвердили: "Вот это верно!" – и тоже отошли.

О том же говорили и в другой толпе, где спорили другой рабочий и прапорщик. Прапорщик старался говорить как можно мягче, подбирая самые безобидные выражения, стараясь воздействовать логикой. Он почти заискивал, и все-таки рабочий кричал на него:

– Молчать побольше вашему брату надо, вот что! Нечего пропаганду по народу распускать!

К. говорит, что у них вчера опять был Р. Сидел четыре часа и все время бессмысленно читал чью-то валявшуюся на столе книжку о магнитных волнах, потом пил чай и съел весь хлеб, который им выдали. Он по натуре кроткий, тихий и уж совсем не нахальный, а теперь приходит и сидит без всякой совести, поедает весь хлеб с полным невниманием к хозяевам. Быстро падает человек!

Блок открыто присоединился к большевикам. Напечатал статью, которой восхищается Коган (П. С.). Я еще не читал, но предположительно рассказал ее содержание Эренбургу – и оказалось, очень верно. Песенка-то вообще не хитрая, а Блок человек глупый.

Из горьковской «Новой Жизни»:

"С сегодняшнего дня даже для самого наивного простеца становится ясно, что не только о каком-нибудь мужестве и революционном достоинстве, но даже о самой элементарной честности применительно к политике народных комиссаров говорить не приходится. Перед нами компания авантюристов, которые ради собственных интересов, ради промедления еще на несколько недель агонии своего гибнущего самодержавия, готовы на самое постыдное предательство интересов родины и революции, интересов российского пролетариата, именем которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых".

Из «Власти Народа»:

"Ввиду неоднократно наблюдающихся и каждую ночь повторяющихся случаев избиения арестованных при допросе в Совете Рабочих Депутатов, просим Совет Народных Комиссаров оградить от подобных хулиганских выходок и действий…" Это жалоба из Боровичей.

Из «Русского Слова»:

Тамбовские мужики, села Покровского, составили протокол:

"30-го января мы, общество, преследовали двух хищников, наших граждан Никиту Александровича Булкина и Адриана Александровича Кудинова. По соглашению нашего общества, они были преследованы и в тот же момент убиты".

Тут же выработано было этим "обществом" и своеобразное уложение о наказаниях за преступления:

– Если кто кого ударит, то потерпевший должен ударить обидчика десять раз.

– Если кто кого ударит с поранением или со сломом кости, то обидчика лишить жизни.

– Если кто совершит кражу, или кто примет краденое, то лишить жизни.

– Если кто совершит поджог и будет обнаружен, то лишить того жизни.

Вскоре были захвачены с поличным два вора. Их немедленно "судили" и приговорили к смертной казни. Сначала убили одного: разбили голову безменом, пропороли вилами бок и мертвого, раздев догола, выбросили на проезжую дорогу. Потом принялись за другого…

Подобное читаешь теперь каждый день.

На Петровке монахи колют лед. Прохожие торжествуют, злорадствуют:

– Ага! Выгнали! Теперь, брат, заставят! Во дворе одного дома на Поварской солдат в кожаной куртке рубит дрова. Прохожий мужик долго стоял и смотрел, потом покачал головой и горестно сказал:

– Ах, так твою так! Ах, дезелтир, так твою так! Пропала Рассея!

7 февраля.

Во "Власти Народа" передовая: "Настал грозный час – гибнет Россия и Революция. Все на защиту революции, так еще недавно лучезарно сиявшей миру!" – Когда она сияла, глаза ваши бесстыжие?

В "Русском Слове": "Убит бывший начальник штаба генерал Янушкевич. Он был арестован в Чернигове и, по распоряжению местного революционного трибунала, препровождался в Петроград в Петропавловскую крепость. В пути генерала сопровождали два красногвардейца. Один из них ночью четырьмя выстрелами убил его, когда поезд подходил к станции Оребеж".

Еще по-зимнему блестящий снег, но небо синеет ярко, по-весеннему, сквозь облачные сияющие пары.

На Страстной наклеивают афишу о бенефисе Яворской. Толстая розово-рыжая баба, злая и нахальная, сказала:

– Ишь, расклеивают! А кто будет стены мыть? А буржуи будут ходить по театрам! Им запретить надо ходить по театрам. Мы вот не ходим. Все немцами пугают, – придут, придут, а вот что-й-то не приходят!

По Тверской идет дама в пенсне, в солдатской бараньей шапке, в рыжей плюшевой жакетке, в изорванной юбке и в совершенно ужасных калошах.

Много дам, курсисток и офицеров стоят на углах улиц, продают что-то.

В вагон трамвая вошел молодой офицер и, покраснев, сказал, что он "не может, к сожалению, заплатить за билет".

Перед вечером. На Красной площади слепит низкое солнце, зеркальный, наезженный снег. Морозит. Зашли в Кремль. В небе месяц и розовые облака. Тишина, огромные сугробы снега. Около артиллерийского склада скрипит валенками солдат в тулупе, с лицом точно вырубленным из дерева. Какой ненужной кажется теперь эта стража!

Вышли из Кремля – бегут и с восторгом, с неестественными ударениями кричат мальчишки:

– Взятие Могилева германскими войсками!

8 февраля.

Андрей (слуга брата Юлия) все больше шалеет, даже страшно.

Служит чуть не двадцать лет и всегда был неизменно прост, мил, разумен, вежлив, сердечен к нам. Теперь точно с ума спятил. Служит еще аккуратно, но, видно, уже через силу, не может глядеть на нас, уклоняется от разговоров с нами, весь внутренне дрожит от злобы, когда же не выдерживает молчанья, отрывисто несет какую-то загадочную чепуху.

Нынче утром, когда мы были у Юлия, Н. Н. говорил, как всегда, о том, что все пропало, что Россия летит в пропасть. У Андрея, ставившего на стол чайный прибор, вдруг запрыгали руки, лицо залилось огнем:

– Да, да, летит, летит! А кто виноват, кто? Буржуазия! И вот увидите, как ее будут резать, увидите! Вспомните тогда вашего генерала Алексеева!

Юлий спросил:

– Да Вы, Андрей, хоть раз объясните толком, почему вы больше всего ненавидите именно его?

Андрей, не глядя на нас, прошептал:

– Мне нечего объяснять… Вы сами должны понять…

– Но ведь неделю тому назад вы горой стояли за него. Что же случилось?

– Что случилось? А вот погодите, поймете…

Приехал Д. – бежал из Симферополя. Там, говорит, "неописуемый ужас", солдаты и рабочие "ходят прямо по колено в крови". Какого-то старика полковника живьем зажарили в паровозной топке.

9 февраля.

Вчера были у Б. Собралось порядочно народу – и все в один голос: немцы, слава Богу, продвигаются, взяли Смоленск и Бологое.

Утром ездил в город.

На Страстной толпа.

Подошел, послушал. Дама с муфтой на руке, баба со вздернутым носом. Дама говорит поспешно, от волнения краснеет, путается.

– Это для меня вовсе не камень, – поспешно говорит дама, – этот монастырь для меня священный храм, а вы стараетесь доказать…

– Мне нечего стараться, – перебивает баба нагло, – для тебя он освящен, а для нас камень и камень! Знаем! Видали во Владимире! Взял маляр доску, намазал на ней, вот тебе и Бог. Ну, и молись ему сама.

– После этого я с вами и говорить не желаю.

– И не говори!

Желтозубый старик с седой щетиной на щеках спорит с рабочим:

– У вас, конечно, ничего теперь не осталось, ни Бога, ни совести, – говорит старик.

– Да, не осталось.

– Вы вон пятого мирных людей расстреливали.

– Ишь ты! А как вы триста лет расстреливали?

На Тверской бледный старик генерал в серебряных очках и в черной папахе что-то продает, стоит робко, скромно, как нищий…

Как потрясающе быстро все сдались, пали духом!

Слухи о каких-то польских легионах, которые тоже будто бы идут спасать нас. Кстати, – почему именно "легион"? Какое обилие новых и все высокопарных слов! Во всем игра, балаган, "высокий" стиль, напыщенная ложь…

Жены всех этих с.с., засевших в Кремле, разговаривают теперь по разным прямым проводам совершенно как по своим домашним телефонам.

10 февраля.

"Мир, мир, а мира нет. Между народом Моим находятся нечестивые; сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. И народ Мой любит это. Слушай, земля: вот Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их".

Это из Иеремии, – все утро читал Библию. Изумительно. И особенно слова: "И народ Мой любит это… вот Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их".

Потом читал корректуру своей "Деревни" для горьковского книгоиздательства "Парус". Вот связал меня черт с этим заведением! А "Деревня" вещь все-таки необыкновенная. Но доступна только знающим Россию. А кто ее знает?

Потом просматривал (тоже для "Паруса") свои стихи за 16 год.

Хозяин умер, дом забит,
Цветет на стеклах купорос,
Сарай крапивою зарос,
Варок, давно пустой, раскрыт,
И по хлевам чадит навоз…
Жара, страда… Куда летит
Через усадьбу шалый пес?

Это я писал летом 16 года, сидя в Васильевском, предчувствуя то, что в те дни предчувствовалось, вероятно, многими, жившими в деревне, в близости с народом.

Летом прошлого года это осуществилось полностью:

Вот рожь горит, зерно течет,
А кто же будет жать, вязать?
Вот дым валит, набат гудет,
Да кто ж решится заливать?
Вот встанет бесноватых рать
И как Мамай всю Русь пройдет…

До сих пор не понимаю, как решились мы просидеть все лето 17 года в деревне и как, почему уцелели наши головы!

"Еще не настало время разбираться в русской революции беспристрастно, объективно…" Это слышишь теперь поминутно. Беспристрастно! Но настоящей беспристрастности все равно никогда не будет. А главное: наша "пристрастность" будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна "страсть" только "революционного народа"? А мы-то что ж, не люди, что ли?

Вечером на "Среде". Читал Ауслендер – что-то крайне убогое, под Оскара Уайльда. Весь какой-то дохлый, с высохшими темными глазами, на которых золотом отблеск, как на засохших лиловых чернилах.

Немцы будто бы не идут, как обычно идут на войне, сражаясь, завоевывая, а "просто едут по железной дороге" – занимать Петербург. И совершится это будто бы через 48 часов, ни более ни менее.

В "Известиях" статья, где "Советы" сравниваются с Кутузовым. Более

наглых жуликов мир не видел.

14 февраля.

Несет теплым снегом.

В трамвае ад, тучи солдат с мешками – бегут из Москвы, боясь, что их пошлют защищать Петербург от немцев.

Все уверены, что занятие России немцами уже началось. Говорит об этом и народ: "Ну, вот, немец придет, наведет порядок".

Как всегда, страшное количество народа возле кинематографов, жадно рассматривают афиши. По вечерам кинематографы просто ломятся. И так всю зиму.

У Никитских Ворот извозчик столкнулся с автомобилем, помял ему крыло. Извозчик, рыжебородый великан, совершенно растерялся:

– Простите, ради Бога, в ноги поклонюсь! Шофер, рябой, землистый, строг, но милостив:

– Зачем в ноги? Ты такой же рабочий человек, как и я. Только в другой раз смотри не попадайся мне!

Чувствует себя начальством, и недаром. Новые господа.

Газеты с белыми колонками – цензура. Муралов "выбыл" из Москвы.

Извозчик возле "Праги" с радостью и смехом:

– Что ж, пусть приходит. Он, немец-то, и прежде все равно нами владал. Он уж там, говорят, тридцать главных евреев арестовал. А нам что? Мы народ темный. Скажи одному "трогай", а за ним и все.

15 февраля.

После вчерашних вечерних известий, что Петербург уже взят немцами, газеты очень разочаровали. Все те же призывы "встать, как один, на борьбу с немецкими белогвардейцами".

Луначарский призывает даже гимназистов записываться в красную гвардию, "бороться с Гинденбургом".

Итак, мы отдаем немцам 35 губерний, на миллионы пушек, броневиков, поездов, снарядов…

Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут облепленные им – красота и радость. Особенно была хороша одна – прелестные синие глаза из-за поднятой к лицу меховой муфты… Что ждет эту молодость?

К вечеру все по-весеннему горит от солнца. На западе облака в золоте. Лужи и еще не растаявший белый, мягкий снег.

16 февраля.

Вчера вечером у Т. Разговор, конечно, все о том же, – о том, что творится. Все ужасались, один Шмелев не сдавался, все восклицал:

– Нет, я верю в русский народ!

Нынче все утро бродил по городу. Разговор двух прохожих солдат, бодрый, веселый:

– Москва, брат, теперь ни… не стоит.

– Теперь и провинция ни… не стоит.

– Ну, вот немец придет, наведет порядок.

– Конечно. Мы все равно властью не пользуемся. Везде одни рогатые.

– А не будь рогатых, гнили бы мы теперь с тобой в окопах…

В магазине Белова молодой солдат с пьяной, сытой мордой предлагал пятьдесят пудов сливочного масла и громко говорил:

– Нам теперь стесняться нечего. Вон наш теперешний главнокомандующий Муралов такой же солдат, как и я, а на днях пропил двадцать тысяч царскими.

Двадцать тысяч! Вероятно, восторженное создание хамской фантазии. Хотя черт его знает, – может, и правда.

В четыре часа в Художественном Кружке собрание журналистов – "выработка протеста против большевистской цензуры". Председательствовал Мельгунов. Кускова призывала в знак протеста совсем не выпускать газет. Подумаешь, как это будет страшно большевикам! Потом все горячо уверяли друг друга, что большевики доживают последние часы. Уже вывозят из Москвы свои семьи. Фриче, например, уже вывез.

Говорили про Саликовского:

– Да вы только подумайте! И журналист-то был паршивый, но вот эта смехотворная Рада, и Саликовский – киевский генерал-губернатор!

Возвращались с Чириковым. У него самые достоверные и новейшие сведения: генерал Каменев застрелился; на Поварской – главный немецкий штаб; жить на ней очень опасно, потому что здесь будет самый жаркий бой; большевики работают в контакте с монархистами и тузами из купцов; по согласию с Мирбахом, решено избрать на царство Самарина… С кем же в таком случае будет жаркий бой?

Ночью.

Простясь с Чириковым, встретил на Поварской мальчишку солдата, оборванного, тощего, паскудного и вдребезги пьяного. Ткнул мне мордой в грудь и, отшатнувшись назад, плюнул на меня и сказал:

– Деспот, сукин сын!

Сейчас сижу и разбираю свои рукописи, заметки, – пора готовиться на

юг, – и как раз нахожу кое-какие доказательства своего "деспотизма". Вот заметка 22 февраля 15 года:

– Наша горничная Таня, видимо, очень любит читать. Вынося из-под моего письменного стола корзину с изорванными черновиками, кое-что отбирает, складывает и в свободную минуту читает, – медленно, с тихой улыбкой на лице. А попросить у меня книжку боится, стесняется… Как жестоко, отвратительно мы живем!

Вот зима 16 года в Васильевском:

– Поздний вечер, сижу и читаю в кабинете, в старом спокойном кресле, в тепле и уюте, возле чудесной старой лампы. Входит Марья Петровна, подает измятый конверт из грязно-серой бумаги:

– Прибавить просит. Совсем бесстыжий стал народ.

Как всегда, на конверте ухарски написано лиловыми чернилами рукой измалковского телеграфиста: "Нарочному уплатить 70 копеек". И, как всегда, карандашом и очень грубо цифра семь исправлена на восемь, исправляет мальчишка этого самого "нарочного", то есть измалковской бабы Махоточки, которая возит нам телеграммы. Встаю и иду через темную гостиную и темную залу в прихожую. В прихожей, распространяя крепкий запах овчинного полушубка, смешанный с запахом избы и мороза, стоит закутанная заиндевевшей шалью, с кнутом в руке, небольшая баба.

– Махоточка, опять приписала за доставку? И еще прибавить просишь?

– Барин, – отвечает Махоточка, деревянным с морозу голосом, – ты глянь, дорога-то какая. Ухаб на ухабе. Всю душу выбило. Опять же стыдь, мороз, коленки с пару зашлись. Ведь двадцать верст туда и назад…

С укоризной качаю головой, потом сую Махоточке рубль. Проходя назад по гостиной, смотрю в окна: ледяная месячная ночь так и сияет на снежном дворе. И тотчас же представляется необозримое светлое поле, блестящая ухабистая дорога, промерзлые розвальни, стукающие по ней, мелко бегущая бокастая лошаденка, вся обросшая изморозью, с крупными, серыми от изморози ресницами… О чем думает Махоточка, сжавшись от холоду и огненного ветра, привалившись боком в угол передка?

В кабинете разрываю телеграмму: "Вместе со всей Стрельной пьем славу и гордость русской литературы!" Вот из-за чего двадцать верст стукалась Махоточка по ухабам.

17 февраля.

Вчера журналисты в один голос говорили, что не верят, что мир с немцами действительно подписан.

– Не представляю себе, – говорил А. А. Яблоновский, – не представляю подпись Гогенцоллерна рядом с подписью Бронштейна!

Нынче был в доме Зубова (на Поварской). Там Коля разбирает какие-то книги. Совсем весна, очень ярко от снега и солнца, – в ветвях берез, сине-голубое, оно особенно хорошо.

В половине пятого на Арбатской площади, залитой ярким солнцем, толпы народа рвут из рук газетчиков "Вечерние Новости": мир подписан!

Позвонил во "Власть Народа": правда ли, что подписан? Отвечают, что только что звонили в "Известия", и что оттуда твердый ответ: да, подписан.

Вот тебе и "не представляю".

18 февраля.

Утром собрание в "Книгоиздательстве Писателей". До начала заседания я самыми последними словами обкладывал большевиков. Клестов-Ангарский, – он уже какой-то комиссар, – ни слова.

На стенах домов кем-то расклеены афиши, уличающие Троцкого и Ленина в связи с немцами, в том, что они немцами подкуплены. Спрашиваю Клестова:

– Ну, а сколько же именно эти мерзавцы получили?

– Не беспокойтесь, – ответил он с мутной усмешкой, – порядочно…

По городу общий голос:

– Мир подписан только со стороны России, немцы отказались подписать…

Дурацкое самоутешение.

К вечеру матовым розовым золотом светились кресты церквей.

19 февраля.

Коган рассказывал мне о Штейнберге, комиссаре юстиции: старозаветный, набожный еврей, не ест трефного, свято чтит субботу… Затем о Блоке: он сейчас в Москве, страстный большевик, личный секретарь Луначарского. Жена Когана с умилением:

– Но не судите его строго! Ведь он совсем, совсем ребенок!

В пять часов вечера узнал, что в Экономическое Общество Офицеров на Воздвиженке пьяные солдаты бросили бомбу. Убито, говорят, не то шестьдесят, не то восемьдесят человек.

Читал только что привезенную из Севастополя "резолюцию, вынесенную командой линейного корабля "Свободная Россия". Совершенно замечательное произведение:

– Всем, всем и за границу Севастополя бесцельно по-дурному стреляющим!

– Товарищи, вы достреляетесь на свою голову, скоро нечем будет стрелять и по цели, вы все расстреляете и будете сидеть на бобах, а тогда вас, голубчиков, и пустыми руками заберут.

– Товарищи, буржуазия глотает и тех, кто лежит сейчас в гробах и могилах. Вы же, предатели, стреляльщики, тратя патроны, помогаете ей и остальных глотать. Мы призываем всех товарищей присоединиться к нам и запретить стрельбу всем, имеющим конячую голову.

– Товарищи, давайте сделаем так от нынешнего дня, чтобы всякий выстрел говорил нам: "Одного буржуя, одного социалиста уже нет в живых!" Каждая пуля, выпущенная нами, должна лететь в толстое брюхо, она не должна пенить воду в бухте.

– Товарищи, берегите патроны пуще глаза. С одним глазом еще можно жить, но без патронов нельзя.

– Если стрельба при ближайших похоронах возобновится по городу и бухте, помните, что и мы, военные моряки линейного корабля "Свободная Россия", выстрелим один разочек, и тогда не пеняйте на нас, если у всех полопаются барабанные перепонки и стекла в окнах.

– Итак, товарищи, больше в Севастополе пустой, дурной стрельбы не будет, будет стрельба только деловая – в контрреволюцию и буржуазию, а не по воде и воздуху, без которых и минуты никто не может жить!

20 февраля.

Ездил на Николаевский вокзал.

Очень, даже слишком, солнечно и легкий мороз. С горы за Мясницкими воротами – сизая даль, груды домов, золотые маковки церквей. Ах, Москва! На площади перед вокзалом тает, вся площадь блещет золотом, зеркалами. Тяжкий и сильный вид ломовых подвод с ящиками. Неужели всей этой силе, избытку конец? Множество мужиков, солдат в разных, в каких попало шинелях и с разным оружием – кто с саблей на боку, кто с винтовкой, кто с огромным револьвером у пояса… Теперь хозяева всего этого, наследники этого колоссального наследства – они…

В трамвае, конечно, давка.

Две старухи яростно бранят "правительство":

– Дают, глаза их накройся, по осьмушке сухарей, небось год валялись, пожуешь – вонь, душа горит!

Рядом с ними мужик, тупо слушает, тупо глядит, странно, мертво,

идиотски улыбается. На коричневое лицо нависли грязные лохмотья белой маньчжурки. Глаза белые.

А среди всех прочих, сидящих и стоящих, возвышаясь надо всеми на целую голову, стоит великан военный в великолепной серой шинели, туго перетянутой хорошим ремнем, в серой круглой военной шапке, как носил Александр Третий. Весь крупен, породист, блестящая коричневая борода лопатой, в руке в перчатке держит Евангелие. Совершенно чужой всем, последний могикан.

На обратном пути слепит идущая прямо на солнце улица. Вдруг все приподнимаются и смотрят: сцена древней Москвы, картина Сурикова: толпа мужиков и баб в полушубках, окружившая мужика в армяке цвета ржаного хлеба и в красной телячьей шапке, который поспешно распрягает лежащую и бьющуюся на мостовой лошадь; громадные набитые соломой розвальни, оглобли которых она безобразно вывернула, падая, взлезли на тротуар. Мужик орет всем нутром: "Ребят, подцоби!" Но никто не трогается.

В шесть вышли. Встретили М. Говорит, что только что слышал, будто Кремль минируют, хотят взорвать при приходе немцев. Я как раз смотрел в это время на удивительное зеленое небо над Кремлем, на старое золото его древних куполов… Великие князья, терема, Спас-на-Бору, Архангельский собор – до чего все родное, кровное и только теперь как следует почувствованное, понятое! Взорвать? Все может быть. Теперь все возможно.

Слухи: через две недели будет монархия и правительство из Адрианова, Сандецкого и Мищенко; все лучшие гостиницы готовятся для немцев.

Эсеры будто бы готовят восстание. Солдаты будто бы на их стороне.

21 февраля.

Была Каменская. Их выселяют, как и сотни прочих. Сроку дано всего 48 часов, а их квартиру и в неделю не соберешь.

Встретил Сперанского. Говорит, что, по сведениям "Русских Ведомостей", в Петербург едет немецкая комиссия – для подсчета убытков, которые причинены немецким подданным, и что в Петербурге будет немецкая полиция; в Москве тоже будет немецкая полиция и уже есть немецкий штаб; Ленин в Москве, сидит в Кремле, поэтому-то и объявлен Кремль на осадном положении.

22 февраля.

Утром горестная работа: отбираем книги – что оставить, что продать (собираю деньги на отъезд).

Юлию из "Власти Народа" передавали "самые верные сведения": Петербург объявлен вольным городом; градоначальником назначается Луначарский. (Градоначальник Луначарский!) Затем: завтра московские банки передаются немцам; немецкое наступление продолжается… Вообще черт ногу сломит!

Вечером в Большом театре. Улицы, как всегда теперь, во тьме, но на площади перед театром несколько фонарей, от которых еще гуще мрак неба. Фасад театра темен, погребально – печален; карет, автомобилей, как прежде, перед ним уже нет. Внутри пусто, заняты только некоторые ложи. Еврей с коричневой лысиной, с седой подстриженной на щеках бородой и в золотых очках, все трепал по заду свою дочку, все садившуюся на барьер девочку в синем платье, похожую на черного барана. Сказали, что это какой-то "эмиссар".

Когда вышли из театра, между колонн черно-синее небо, два-три туманно-голубых пятна звезд и резко дует холодом. Ехать жутко. Никитская без огней, могильно-темна, черные дома высятся в темно-зеленом небе, кажутся очень велики, выделяются как-то по-новому. Прохожих почти нет, а кто идет, так почти бегом.

Что средние века! Тогда по крайней мере все вооружены были, дома были почти неприступны…

На углу Поварской и Мерзляковского два солдата с ружьями. Стража или грабители? И то и другое.

23 февраля.

Опять стали выходить "буржуазные газеты" – с большими пустыми местами.

Встретил К. "Немцы будут в Москве через несколько дней. Но страшно: говорят, будут отправлять русских на фронт против союзников". Да, все то же. И все то же тревожное, нудное, не разрешающееся ожидание.

Все говорим о том, куда уехать. Был вечером у Юлия и попал, возвращаясь домой, под обстрел. Бешено садили из винтовок откуда-то сверху Поварской.

У П. были полотеры. Один с черными сальными волосами, гнутый, в бордовой рубахе, другой рябой, буйно-курчавый. Заплясали, затрясли волосами, лица лоснятся, лбы потные. Спрашиваем:

– Ну, что ж скажете, господа, хорошенького?

– Да что скажешь. Все плохо.

– А что ж, по-вашему, дальше будет?

– А Бог знает, – сказал курчавый. – мы народ темный. Что мы знаем? Я хучь читать умею, а он совсем слепой. Что будет? То и будет: напустили из тюрем преступников, вот они нами и управляют, а их надо не выпускать, а давно надо было из поганого ружья расстрелять. Царя ссадили, а при нем подобного не было. А теперь этих большевиков не сопрешь. Народ ослаб. Я вот курицы не могу зарезать, а на них бы очень просто налягнул. Ослаб народ. Их и всего-то сто тысяч наберется, а нас сколько миллионов и ничего не можем. Теперь бы казенку открыть, дали бы нам свободу, мы бы их с квартир всех по клокам растащили.

– Там жиды все, – сказал черный.

– И поляки вдобавок. Он и Ленин-то, говорят, не настоящий – энтого давно убили, настоящего-то.

– А про мир с немцами что вы думаете?

– Этого мира не будет. Это скоро прекратят. А поляки опять наши будут. Главное, хлеба нету. Он вчера купил себе пышечку за три рубля, а я так пустой суп и хлебал…

24 февраля.

На днях купил фунт табаку и, чтобы он не сох, повесил на веревочке между рамами, между фортками. Окно во двор. Нынче в шесть утра что-то бах в стекло. Вскочил и вижу: на полу у меня камень, стекла пробиты, табаку нет, а от окна кто-то убегает. – Везде грабеж!

Перистые облака, порою солнце, синие клоки луж…

В доме напротив нас молебствие, принесли икону "Нечаянной Радости", поют священники. Очень странно кажется это теперь. И очень трогательно. Многие плакали.

Опять долбят, что среди большевиков много монархистов и что вообще весь этот большевизм устроен для восстановления монархии. Опять чепуха, сочиненная, конечно, самими же большевиками.

Савич и Алексеев будто бы сейчас в Пскове, "формируют правительство".

Звонит на станцию "Власть Народа": дайте 60-42. Соединяют. Но телефон, оказывается, занят – и "Власть Народа" неожиданно подслушивает чей-то разговор с Кремлем:

– У меня пятнадцать офицеров и адъютант Каледина. Что делать?

– Немедленно расстрелять.

Про анархистов: необыкновенно будто бы веселые и любезные люди; большевистский "Совет" их весьма боится; глава – Бармаш, вполне

сумасшедший кавказец.

В Севастополе "атаман" матросов – некто Ривкин, аршин ростом, клоками борода; участвовал во многих ограблениях и убийствах; "нежнейшей души человек".

Очень многие всегда делают теперь вид, что будто имеют такие сведения, которых ни у кого нет.

В кофейне Филиппова видели будто бы Адрианова, бывшего московского градоначальника. Он будто бы один из главнейших тайных советников в "Совете рабочих депутатов".

25 февраля.

Юрка Саблин, – командующий войсками! Двадцатилетний мальчишка, специалист по кэкуоку, конфектно – хорошенький…

Слух: союзники – теперь уж союзники! – вошли в соглашение с немцами, поручили им навести порядок в России.

Опять какая-то манифестация, знамена, плакаты, музыка – и кто в лес, кто по дрова, в сотни глоток:

– Вставай, подымайся, рабочай народ!

Голоса утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские, мордовские, у мужчин, все как на подбор, преступные, иные прямо сахалинские.

Римляне ставили на лица своих каторжников клейма: "Cave furem". На эти лица ничего не надо ставить, – и без всякого клейма все видно.

И при чем тут Марсельеза, гимн тех самых французов, которым только что изменили самым подлым образом!

26 февраля.

Не то мужик, не то рабочий вслух разбирает на углу Поварской объявление о газете "Вечерний Час", читает имена сотрудников. Прочитал и сказал:

– Все одна сволочь. Прославились!

Из редакции "Русских Ведомостей": Троцкий – немецкий шпион, был сыщиком при нижегородском охранном отделении. Это опубликовал в "Правде" Стучка, по злобе на Троцкого.

27 февраля.

Опять праздник, – годовщина революции. Но народу нигде нет, и вовсе не потому, что опять нынче зима и метель. Просто уже надоедает.

Какая-то дикая и жуткая ерунда: у нас весь день сам собой звонит, не

умолкая, телефон и из него сыплется огонь.

"Разбегаются! Карахан назначен послом в Константинополь, Каменев – в Берлин…"

Читали статейку Ленина. Ничтожная и жульническая, то интернационал, то "русский национальный подъем".

28 февраля.

Опять зима. Много снегу, солнечно, стекла домов блестят.

Вести со Сретенки – немецкие солдаты заняли Спасские казармы.

В Петербург будто бы вошел немецкий корпус. Завтра декрет о денационализации банков. Думаю, что опять-таки это все сами большевики нас дурачат.

А телефон и нынче звонит – трещит, звенит и сыплет красные огненные искры!

1 марта.

Вечер у Ш.

Идя к нему, видели адвоката Т. Подъехал к своему дому на красной лошади. Приостановились, поздоровались. Бодр, говорит, что большевики заняты сейчас одним: "награбить как можно больше денег, так как сами отлично знают, что царствию их конец".

У Ш., кроме нас, Д. и Грузинский.

Грузинскому рассказывал в трамвае солдат:

"Хожу без работы, пошел в совет депутатов просить места – мест, говорят, нету, а вот тебе два ордера на право обыска, можешь отлично поживиться. Я их послал куда подале, я честный человек…"

Д. получил сведения из Ростова: корниловское движение слабо. Г. возражал: напротив, оно крепнет и растет.д. прибавил: "Большевики творят в Ростове ужасающие зверства. Могилу Каледина разрыли, расстреляли 600 сестер милосердия…" Ну, если не шестьсот, то все-таки, вероятно,. порядочно. Не первый раз нашему христолюбивому мужичку, о котором сами же эти сестры распустили столько легенд, избивать их, насиловать.

Говорят, что Москва будет во власти немцев семнадцатого марта. Градоначальником будет Будберг.

Повар от Яра говорил мне, что у него отняли все, что он нажил за тридцать лет тяжкого труда, стоя у плиты, среди девяностоградусной жары. "А Орлов-Давыдов, – прибавил он, – прислал своим мужикам телеграмму, – я сам ее читал: жгите, говорит, дом, режьте скот, рубите леса, оставьте только одну березку, – на розги, – и елку, чтобы было на чем вас вешать".

Слух, что в Москве немцы организовали сыскное отделение; следят будто за малейшим шагом большевиков, все отмечают, все записывают.

Вести из нашей деревни: мужики возвращают помещикам награбленное.

В последнем, верно, есть правда. Слышу на улицах:

– Нет, теперь солдаты стали в портки пускать. То все бахвалились, беспечничали, – пускай, мол, придет немец, черт с ним, – а теперь, как стало до серьезного доходить, здорово побаиваются. Большое, говорят, наказание нам будет, да и поделом, по правде сказать: уж очень мы освинели!

Да, если бы в самом деле повеяло чем-нибудь "серьезным", живо бы эта "стихийность великой русской революции" присмирела. Как распоясалась деревня в прошлом году летом, как жутко было жить в Васильевском! И вдруг слух: Корнилов ввел смертную казнь – и почти весь июль Васильевское было тише воды, ниже травы. А в мае, в июне по улицам было страшно пройти, каждую ночь то там, то здесь красное зарево пожара на черном горизонте. У нас зажгли однажды на рассвете гумно и, сбежавшись всей деревней, орали, что это мы сами зажгли, чтобы сжечь деревню. А в полдень в тот же день запылал скотный двор соседа, и опять сбежались со всего села, и хотели меня бросить в огонь, крича, что это я поджег, и меня спасло только бешенство, с которым я кинулся на орущую толпу.

2 марта.

"Развратник, пьяница Распутин, злой гений России". Конечно, хорош был мужичок. Ну, а вы-то, не вылезавшие из "Медведей" и "Бродячих Собак"?

Новая литературная низость, ниже которой падать, кажется, уже некуда: открылась в гнуснейшем кабаке какая-то "Музыкальная табакерка" – сидят спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы (Алешка Толстой, Брюсов и так далее) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные. Брюсов, говорят, читал "Гавриилиаду", произнося все, что заменено многоточиями, полностью. Алешка осмелился предложить читать и мне, – большой гонорар, говорит, дадим.

"Вон из Москвы!" А жалко. Днем она теперь удивительно мерзка. Погода мокрая, все мокро, грязно, на тротуарах и на мостовой ямы, ухабистый лед, про толпу же и говорить нечего. А вечером, ночью пусто, небо от редких фонарей чернеет тускло, угрюмо. Но вот тихий переулок,

совсем темный, идешь – и вдруг видишь открытые ворота, за ними, в глубине двора, прекрасный силуэт старинного дома, мягко темнеющий на ночном небе, которое тут совсем другое, чем над улицей, а перед домом столетнее дерево, черный узор его громадного раскидистого шатра…

Читал новый рассказ Тренева ("Батраки"). Отвратительно. Что-то, как всегда теперь, насквозь лживое, претенциозное, рассказывающее о самых страшных вещах, но ничуть не страшное, ибо автор несерьезен, изнуряет "наблюдательностью" и такой чрезмерной "народностью" языка и всей вообще манеры рассказывать, что хочется плюнуть. И никто этого не видит, не чует, не понимает, напротив, все восхищаются. "Как сочно, красочно!"

"Съезд Советов". Речь Ленина. О, какое это «…»!

Читал о стоящих на дне моря трупах, – убитые, утопленные офицеры. А тут "Музыкальная табакерка".

3 марта.

Немцы взяли Николаев и Одессу. Москва, говорят, будет взята семнадцатого, но не верю и все собираюсь на юг.

Маяковского звали в гимназии Идиотом Полифемовичем.

5 марта.

Серо, редкий снежок. На Ильинке возле банков туча народу – умные люди выбирают деньги. Вообще, многие тайком готовятся уезжать.

В вечерней газете – о взятии немцами Харькова. Газетчик, продававший мне газету, сказал:

– Слава Тебе Господи. Лучше черти, чем Ленин.

7 марта.

В городе говорят:

– Они решили перерезать всех поголовно, всех до семилетнего возраста, чтобы потом ни одна душа не помнила нашего времени.

Спрашиваю дворника:

– Как думаешь, правда?

Вздыхает:

– Все может быть, все может быть.

– И ужели народ допустит?

– Допустит, дорогой барин, еще как допустит-то! Да и что ж с ними сделаешь? Татары, говорят, двести лет нами владали, а ведь тогда разве такой жидкий народ был?

Шли ночью по Тверскому бульвару: горестно и низко клонит голову

Пушкин под облачным с просветами небом, точно опять говорит: "Боже, как грустна моя Россия!"

И ни души кругом, только изредка солдаты и б...и.

8 марта.

К. П. про Спиридонову:

– Меня никогда не влекло к ней. Революционная ханжа, истеричка. Дурное издание Фигнер, которую она прежде сознательно копировала…

Да, а ведь какой героиней была одно время эта Спиридонова.

Великолепные дома возле нас (на Поварской) реквизируются один за одним. Из них вывозят и вывозят куда-то мебель, ковры, картины, цветы, растения – нынче весь день стояла на возу возле подъезда большая пальма, вся мокрая от дождя и снега, глубоко несчастная. И все привозят, внедряют в эти дома, долженствующие быть какими-то "правительственными" учреждениями, мебель новую, конторскую…

Неужели так уверены в своем долгом и прочном существовании?

"Поношение сокрушило сердце мое…"

9 марта.

Нынче В. В. В. – он в длинных сапогах, в поддевке на меху, – все еще играет в "земгусара", – понес опять то, что уже совершенно осточертело читать и слушать:

– Россию погубила косная, своекорыстная власть, не считавшаяся с народными желаниями, надеждами, чаяниями… Революция в силу этого была неизбежна…

Я ответил:

– Не народ начал революцию, а вы. Народу было совершенно наплевать на все, чего мы хотели, чем мы были недовольны. Я не о революции с вами говорю, – пусть она неизбежна, прекрасна, все, что угодно. Но не врите на народ – ему ваши ответственные министерства, замены Щегловитовых Малянтовичами и отмены всяческих цензур были нужны, как летошний снег, и он это доказал твердо и жестоко, сбросивши к черту и временное правительство, и учредительное собрание, и "все, за что гибли поколения лучших русских людей", как вы выражаетесь, и ваше "до победного конца".

11 марта.

Люди спасаются только слабостью своих способностей, – слабостью воображения, внимания, мысли, иначе нельзя было бы жить.

Толстой сказал про себя однажды:

– Вся беда в том, что у меня воображение немного живее, чем у других…

Есть и у меня эта беда.

Грязная темная погода, иногда летает снег.

Отбирали книги на продажу, собираю деньги, уезжать необходимо, не могу переносить этой жизни, – физически.

Вечером у Б. Рассказывал про Фриче, которого видел на днях. "Да, да, давно ли это была самая жалкая и смиренная личность в обшарпанном сюртучишке, а теперь – персона, комиссар иностранных дел, сюртук с атласными отворотами!" Играл на фисгармонии Баха, венгерские народные песни. Очаровательно. Потом смотрели старинные книги, – какие виньетки, заглавные буквы! И все это уже навеки погибший золотой век. Уже давно во всем идет неуклонное падение.

Как злобно, неохотно отворял нам дверь швейцар! Поголовно у всех лютое отвращение ко всякому труду.

Жена архитектора Малиновского, тупая, лобастая, за всю свою жизнь не имевшая ни малейшего отношения к театру, теперь комиссар театров: только потому, что они с мужем друзья Горького по Нижнему. Утром были в "Книгоиздательстве писателей", и Гонтарев рассказывал, как Ш. битый час ждал Малиновскую где-то у подъезда, когда же подкатил наконец автомобиль с Малиновской, кинулся высаживать ее с истинно холопским подобострастием.

Грузинский сказал:

– Я теперь всеми силами избегаю выходить без особой нужды на улицу. И совсем не из страха, что кто-нибудь даст по шее, а из страха видеть теперешние уличные лица.

Понимаю его как нельзя более, испытываю то же самое, только, думаю, еще острее.

Ветер разносит редкие, совсем весенние облака по бледно голубеющему небу, около тротуаров блестит, бежит весенняя вода.

12 марта.

Встретил адвоката Малянтовича. И этот был министром. И таким до сих пор праздник, с них все как с гуся вода. Розовый, оживленный:

– Нет, вы не волнуйтесь. Россия погибнуть не может уж хотя бы по одному тому, что Европа этого не допустит: не забывайте, что необходимо европейское равновесие.

Был (по делу издания моих сочинений "Парусом") у Тихонова, вечного

прихлебателя Горького. Да, очень странное издательство! Зачем понадобилось Горькому завести этот "Парус" и за весь год издать только книжечку Маяковского? Зачем Горький купил меня, заплатил семнадцать тысяч вперед и до сих пор не выпустил ни одного тома? Что скрывается под вывеской "Паруса"? И, особенно, в каких же отношениях с большевиками вся эта компания – Горький, Тихонов, Гиммер-Суханов? "Борются", якобы, с ними, а вот Тихонов и Гиммер приехали и остановились в реквизированной большевиками "Национальной Гостинице", куда я вошел через целую цепь солдат, сидящих на площадках лестниц с винтовками, после того, как получил пропуск от большевистского "коменданта" гостиницы. Тихонов и Гиммер в ней как дома. На стенах портреты Ленина и Троцкого. Насчет дела Тихонов вертелся: "Вот-вот начнем печатать, не беспокойтесь".

Рассказывал, как большевики до сих пор изумлены, что им удалось захватить власть и что они все еще держатся:

– Луначарский после переворота недели две бегал с вытаращенными глазами: да нет, вы только подумайте, ведь мы только демонстрацию хотели произвести и вдруг такой неожиданный успех!

13 марта.

Какой позор! Патриарх и все князья церкви идут на поклон в Кремль!

Видел В. В. Горячо поносил союзников: входят в переговоры с большевиками вместо того, чтобы идти оккупировать Россию!

Обедал и вечер провел у первой жены Горького, Е. П. Был Бах (известный революционер, старый эмигрант), Тихонов и Миролюбов. Этот все превозносил русский народ, то есть мужиков: "Милосердный народ, прекрасный народ!" Бах говорил (в сущности, не имея ни малейшего понятия о России, потому что всю жизнь прожил за границей):

– Да о чем вы спорите, господа? А во французской революции не было жестокостей? Русский народ – народ, как все народы. Есть, конечно, и отрицательные черты, но масса и хорошего…

Возвращались с Тихоновым. Он дорогой много, много рассказывал о большевистских главарях, как человек очень близкий им: Ленин и Троцкий решили держать Россию в накалении и не прекращать террора и гражданской войны до момента выступления на сцену европейского пролетариата. Их принадлежность к немецкому штабу? Нет, это вздор, они фанатики, верят в мировой пожар. И всего боятся, как огня, везде им снятся заговоры. До сих пор трепещут и за свою власть, и за свою жизнь. Они, повторяю, никак не ожидали своей победы в октябре. После того, как пала

Москва, страшно растерялись, прибежали к нам в "Новую Жизнь", умоляли быть министрами, предлагали портфели…

15 марта.

Все та же морозная погода. И нигде не топят, холод на квартирах ужасный.

Закрыты "Русские Ведомости" – из-за статьи Савинкова.

Многим все кажется, что Савинков убьет Ленина.

"Комиссар по делам печати" Подбельский закрыл и привлек к суду "Фонарь" – "за помещение статей, вносящих в население тревогу и панику". Какая забота о населении, поминутно ограбляемом, убиваемом!

22 марта.

Вчера вечером, когда за мокрыми деревьями уже заблестели огни, в первый раз увидал грачей.

Нынче сыро, пасмурно, хотя в облаках много свету.

Все читаю, все читаю, чуть не плача от какого-то злорадного наслаждения, газеты. Вообще этот последний год будет стоить мне, верно, не меньше десяти лет жизни!

Ночью в черно-синем небе пухлые белые облака, среди них редкие яркие звезды. Улицы темны. Очень велики в небе темные, сливающиеся в один дома; их освещенные окна мягки, розовы.

23 марта.

Вся Лубянская площадь блестит на солнце. Жидкая грязь брызжет Из-под колес. И Азия, Азия – солдаты, мальчишки, торг пряниками, халвой, маковыми плитками, папиросами. Восточный крик, говор – и какие все мерзкие даже и по цвету лица, желтые и мышиные волосы! У солдат и рабочих, то и дело грохочущих на грузовиках, морды торжествующие.

Старик букинист Волнухин, в полушубке, в очках. Милый, умница; грустный, внимательный взгляд.

Именины Н. Говорили, что все слова на "ны" требуют выпивки. Крепок еще "старый режим".

"Кабак" Премирова. Несомненно талант. Да что с того? Литературе конец. А в Художественном Театре опять "На Дне". Вовремя! И опять этот осточертевший Лука!

К. П. до сих пор твердо убеждена, что Россию может спасти только Минор.

Меньшевистская газета "Вперед". Все одно и то же, все одно и то же!

Жены всех комиссаров тоже все сделаны комиссарами.

Рота красногвардейцев. Идут вразнобой, спотыкаясь, кто по мостовой, кто по тротуару. "Инструктор" кричит: "Смирно, товарищи!"

Газетчик, бывший солдат:

– Ах, сволочь паскудная! На войну идут и девок с собой берут! Ей-Богу, барин, гляньте – вот один под ручку с своей шкурой!

Очень черная весенняя ночь. Просветы в облаках над церковью, углубляющие черноту, звезды, играющие белым блеском.

Особняк Цетлиных на Поварской занят анархистами. Над подъездом черная вывеска с белыми буквами. Внутри всюду освещено – великолепные матовые люстры за гардинами.

24 марта.

Теперь, несчастные, говорим о выступлении уже Японии на помощь России, о десанте на Дальнем Востоке; еще о том, что рубль вот-вот совсем ничего не будет стоить, что мука дойдет до тысячи рублей за пуд, что надо делать запасы… Говорим – и ничего не делаем: купим два фунта муки и успокоимся.

У Н. В. Давыдова в Большом Левшинском. Желтоватый домик (бывший писателя Загоскина) с черной крышей во дворе, за железной оградой с железными черными чашами на воротах. Бирюзовое небо в сети деревьев. Старая Москва, которой вот-вот конец навеки.

В кухне у П. солдат, толстомордый, разноцветные, как у кота, глаза. Говорит, что, конечно, социализм сейчас невозможен, но что буржуев все-таки надо перерезать. "Троцкий молодец, он их крепко по шее бьет".

Серьезная сухая дама и девочка в очках. Торгуют на улице папиросами.

Купил книгу о большевиках, изданную "Задругой". Страшная галерея каторжников! У молодого Луначарского шея пол-аршина длины.

Одесса, 1919 г.

12 апреля (старого стиля).

Уже почти три недели со дня нашей погибели.

Очень жалею, что ничего не записывал, нужно было записывать чуть не каждый момент. Но был совершенно не в силах. Чего стоит одна умопомрачительная неожиданность того, что свалилось на нас 21 марта! В полдень 21-го Анюта (наша горничная) зовет меня к телефону. "А откуда звонят?" – "Кажется, из редакции" – то есть из редакции "Нашего Слова", которое мы, прежние сотрудники "Русского Слова", собравшиеся в Одессе, начали выпускать 19 марта в полной уверенности на более или менее мирное существование "до возврата в Москву". Беру трубку: "Кто говорит?" – "Валентин Катаев. Спешу сообщить невероятную новость: французы уходят". – "Как, что такое, когда?" – "Сию минуту". – "Вы с ума сошли?" – "Клянусь вам, что нет. Паническое бегство!" – Выскочил из дому, поймал извозчика и глазам своим не верю: бегут нагруженные ослы, французские и греческие солдаты в походном снаряжении, скачут одноколки со всяким воинским имуществом… А в редакции – телеграмма: "Министерство Клемансо пало, в Париже баррикады, революция…"

Двенадцать лет тому назад мы с В. приехали в этот день в Одессу по пути в Палестину. Какие сказочные перемены с тех пор! Мертвый, пустой порт, мертвый, загаженный город… Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, – всю эту мощь, сложность, богатство, счастье…

– Перед тем как проснуться нынче утром, видел, что кто-то умирает, умер. Очень часто вижу теперь во сне смерти – умирает кто-нибудь из друзей, близких, родных, особенно часто брат Юлий, о котором страшно даже и подумать: как и чем живет, да и жив ли? Последнее известие о нем было от 6 декабря прошлого года. А письмо из Москвы к В. от 10 августа пришло только сегодня. Впрочем, почта русская кончилась уже давно, еще летом 17 года: с тех самых пор, как у нас впервые, на европейский лад, появился "министр почт и телеграфов". Тогда же появился впервые и "министр труда" – и тогда же вся Россия бросила работать. Да и сатана Каиновой злобы, кровожадности и самого дикого самоуправства дохнул на Россию именно в те дни, когда были провозглашены братство, равенство и свобода. Тогда сразу наступило исступление, острое умопомешательство.

Все орали друг на друга за малейшее противоречие: "Я тебя арестую, сукин сын!" Меня в конце марта 17 года чуть не убил солдат на Арбатской площади – за то, что я позволил себе некоторую "свободу слова", послав к черту газету "Социал-Демократ", которую навязывал мне газетчик. Мерзавец солдат прекрасно понял, что он может сделать со мной все, что угодно, совершенно безнаказанно, – толпа, окружавшая нас, и газетчик сразу же оказались на его стороне: "В самом деле, товарищ, вы что же это брезгуете народной газетой в интересах трудящихся масс? Вы, значит, контрреволюционер?" – Как они одинаковы, все эти революции! Во время французской революции тоже сразу была создана целая бездна новых административных учреждений, хлынул целый потоп декретов, циркуляров, число комиссаров, – непременно почему-то комиссаров, – и вообще всяческих властей стало несметно, комитеты, союзы, партии росли, как грибы, и все "пожирали друг друга", образовался совсем новый, особый язык, "сплошь состоящий из высокопарнейших восклицаний вперемешку с самой площадной бранью по адресу грязных остатков издыхающей тирании…" Все это повторяется потому прежде всего, что одна из самых отличительных черт революций – бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна.

– Ах, эти сны про смерть! Какое вообще громадное место занимает смерть в нашем и без того крохотном существовании! А про эти годы и говорить нечего: день и ночь живем в оргии смерти. И все во имя "светлого будущего", которое будто бы должно родиться именно из этого дьявольского мрака. И образовался на земле уже целый легион специалистов, подрядчиков по устроению человеческого благополучия. "А в каком же году наступит оно, это будущее?" – как спрашивает звонарь у Ибсена. Всегда говорят, что вот-вот: "Это будет последний и решительный бой!" – Вечная сказка про красного бычка.

– Ночью лил дождь. День серый, прохладный. Деревцо, зазеленевшее у нас во дворе, побледнело. И весна-то какая-то окаянная! Главное – совсем нет чувства весны. Да и на что весна теперь?

Все слухи и слухи. Жизнь в непрестанном ожидании (как и вся прошлая зима здесь, в Одессе, и позапрошлая в Москве, когда все так ждали немцев, спасения от них). И это ожидание чего-то, что вот-вот придет и все разрешит, сплошное и неизменно – напрасное, конечно, не пройдет нам даром, изувечит наши души, если даже мы и выживем. А за всем тем, что было бы, если бы не было даже ожидания, то есть надежды?

"Боже мой, в какой век повелел Ты родиться мне!"

13 апреля.

Вчера долго сидел у нас поэт Волошин. Нарвался он с предложением своих услуг ("по украшению города к первому мая") ужасно. Я его предупреждал: не бегайте к ним, это не только низко, но и глупо, они ведь отлично знают, кто вы были еще вчера. Нес в ответ чепуху: "Искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении только как поэт и как художник". В украшении чего? Виселицы, да еще и собственной? Все-таки побежал. А на другой день в "Известиях": "К нам лез Волошин, всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам…" Теперь Волошин хочет писать "письмо в редакцию", полное благородного негодования. Еще глупей.

Слухи и слухи. Петербург взят финнами. Колчак взял Сызрань, Царицын… Гинденбург идет не то на Одессу, не то на Москву… Все-то мы ждем помощи от кого-нибудь, от чего-нибудь, от чуда, от природы! Вот теперь ходим ежедневно на Николаевский бульвар: не ушел ли, избавь Бог, французский броненосец, который зачем-то маячит на рейде и при котором все-таки как будто легче.

15 апреля.

Десять месяцев тому назад ко мне приходил какой-то Шпан, на редкость паршивый и оборванный человечек, нечто вроде самого плохонького коммивояжера, и предлагал мне быть моим импресарио, ехать с ним в Николаев, в Харьков, в Херсон, где я буду публично читать свои произведения "кажный вечер за тысячу думскими". Нынче я его встретил на улице: он теперь один из сотоварищей этого сумасшедшего мерзавца профессора Щепкина, комиссар по театральному делу, он выбрит, сыт, – по всему видно, что сыт, – и одет в чудесное английское пальто, толстое и нежное, с широким хлястиком сзади.

Против наших окон стоит босяк с винтовкой на веревке через плечо, – "красный милиционер". И вся улица трепещет его так, как не трепетала бы прежде при виде тысячи самых свирепых городовых. Вообще, что же это такое случилось? Пришло человек шестьсот каких-то "григорьевцев", кривоногих мальчишек во главе с кучкой каторжников и жуликов, кои и взяли в полон миллионный, богатейший город! Все помертвели от страха, прижукнулись. Где, например, все те, которые так громили месяц тому назад добровольцев?

16 апреля.

Вчера перед вечером гуляли. Тяжесть на душе несказанная. Толпа, наполняющая теперь улицы, невыносима физически, я устал от этой

скотской толпы до изнеможения. Если бы отдохнуть, скрыться куда-нибудь, уехать, например, в Австралию! Но уже давно все пути, все дороги заказаны. Теперь даже на Большой Фонтан проехать, и то безумная мечта: и нельзя без разрешения, и убить могут, как собаку.

Встретили Л. И. Гальберштата (бывший сотрудник "Русских Ведомостей", "Русской Мысли"). И этот "перекрасился". Он, вчерашний ярый белогвардеец, плакавший (буквально) при бегстве французов, уже пристроился при газете "Голос Красноармейца". Воровски шептал нам, что он "совершенно раздавлен" новостями из Европы: там будто бы твердо решено – никакого вмешательства во внутренние русские дела… Да, да, это называется "внутренними делами", когда в соседнем доме, среди бела дня, грабят и режут разбойники!

Вечером у нас опять сидел Волошин. Чудовищно! Говорит, что провел весь день с начальником чрезвычайки Северным (Юзефовичем), у которого "кристальная душа". Так и сказал: кристальная.

– Проф. Евгений Щепкин, "комиссар народного просвещения", передал управление университетом "семи представителям революционного студенчества", таким, говорят, негодяям, каких даже и теперь днем с огнем поискать.

В "Голосе Красноармейца" известие о "глубоком вторжении румын в Советскую Венгрию". Мы все бесконечно рады. Вот тебе и невмешательство во "внутренние" дела! Впрочем, ведь это не Россия.

– "Блок слышит Россию и революцию, как ветер…" О, словоблуды! Реки крови, море слез, а им все нипочем.

– Часто вспоминаю то негодование, с которым встречали мои будто бы сплошь черные изображения русского народа. Да еще и до сих пор негодуют, и кто же? Те самые, что вскормлены, вспоены той самой литературой, которая сто лет позорила буквально все классы, то есть "попа", "обывателя", мещанина, чиновника, полицейского, помещика, зажиточного крестьянина, – словом вся и всех, за исключением какого-то "народа", – "безлошадного", конечно, – "молодежи" и босяков.

17 апреля.

"Старый, насквозь сгнивший режим рухнул без возврата… Народ пламенным, стихийным порывом опрокинул – и навсегда – сгнивший трон Романовых…"

Но почему же в таком случае с первых же мартовских дней все сошли с ума на ужасе перед реакцией, реставрацией?

– "Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой…" Как

любил рычать это Горький! А и сон-то весь только в том, чтобы проломить голову фабриканту, вывернуть его карманы и стать стервой еще худшей, чем этот фабрикант.

– "Революции не делаются в белых перчатках…" Что ж возмущаться, что контрреволюции делаются в ежовых рукавицах?

– "Утешься ради скорби всего Иерусалима!" До самого завтрака пролежал в постели с закрытыми глазами.

Читаю книгу о Савиной – ни с того ни с сего, просто потому, что надо же делать что-нибудь, а что именно, теперь совершенно все равно, ибо главное ощущение теперь, что это не жизнь. А потом, повторяю, это изнуряющее ожидание: да не может же продолжаться так, да спасет же нас кто-нибудь или что-нибудь – завтра, послезавтра, может, даже нынче ночью!

– С утра было серо, после полудня дождь, вечером ливень.

Два раза выходил смотреть на их первомайское празднество. Заставил себя, ибо от подобных зрелищ мне буквально всю душу перевертывает. "Я как-то физически чувствую людей", записал однажды про себя Толстой. Вот и я тоже. Этого не понимали в Толстом, не понимают и во мне, оттого и удивляются порой моей страстности, "пристрастности". Для большинства даже и до сих пор "народ", "пролетариат" только слова, а для меня это всегда – глаза, рты, звуки голосов, для меня речь на митинге – все естество произносящего ее.

Когда выходил в полдень: накрапывает, возле Соборной площади порядочно народу, но стоят бессмысленно, смотрят на всю эту балаганщину необыкновенно тупо. Были, конечно, процессии с красными и черными знаменами, были какие-то размалеванные "колесницы" в бумажных цветах, лентах и флагах, среди которых стояли и пели, утешали "пролетариат" актеры и актрисы в оперно-народных костюмах, были "живые картины", изображавшие "мощь и красоту рабочего мира", "братски" обнявшихся коммунистов, "грозных" рабочих в кожаных передниках и "мирных пейзан", – словом, все, что полагается, что инсценировано по приказу из Москвы, от этой гадины Луначарского. Где у некоторых большевиков кончается самое подлое издевательство над чернью, самая гнусная купля ее душ и утроб, и где начинается известная доля искренности, нервической восторженности? Как, например, изломан и восторжен Горький! Бывало, на Рождестве на Капри (утрированно окал, на нижегородский лад): "Нонче, ребята, айдате на пьяццу: там, дьявол их забери, публика будет необыкновеннейшие штуки выкидывать, – вся, понимаете, пьяцца танцует, мальчишки орут, как черти, расшибают под

самым носом достопочтеннейших лавочников хлопушки, ходят колесом, дудят в тысячу дудок… Будет, понимаете, несколько интереснейших цеховых процессий, будут петь чудеснейшие уличные песни…" И на зеленых глазках – слезы.

Перед вечером был на Екатерининской площади. Мрачно, мокро, памятник Екатерины с головы до ног закутан, забинтован грязными, мокрыми тряпками, увит веревками и залеплен красными деревянными звездами. А против памятника чрезвычайка, в мокром асфальте жидкой кровью текут отражения от красных флагов, обвисших от дождя и особенно паскудных.

Вечером почти весь город в темноте: новое издевательство, новый декрет – не сметь зажигать электричества, хотя оно и есть. А керосину, свечей не достанешь нигде, и вот только Кое-где видны сквозь ставни убогие, сумрачные огоньки: коптят самодельные каганцы. Чье это издевательство? Разумеется, в конце концов, народное, ибо творится в угоду народу. Помню старика рабочего у ворот дома, где прежде были "Одесские Новости", в первый день водворения большевиков. Вдруг выскочила из-под ворот орава мальчишек с кипами только что отпечатанных "Известий" и с криками: "На одесских буржуев наложена контрибуция в 500 миллионов!" – Рабочий захрипел, захлебнулся от ярости и злорадства: "Мало! Мало!" – Конечно, большевики настоящая "рабоче – крестьянская власть". Она "осуществляет заветнейшие чаяния народа". А уж известно, каковы "чаяния" у этого "народа", призываемого теперь управлять миром, ходом всей культуры, права, чести, совести, религии, искусства.

"Без всяких аннексий и контрибуций с Германии!" – "Правильно, верно!" – "Пятьсот миллиардов контрибуции с России!" – "Мало, мало!"

– "Левые" все "эксцессы" революции валят на старый режим, черносотенцы – на евреев. А народ не виноват! Да и сам народ будет впоследствии валить все на другого – на соседа и на еврея: "Что ж я? Что Илья, то и я. Это нас жиды на все это дело подбили…"

19 апреля.

Пошел, чтобы хоть чем-нибудь себя рассеять, делать съестные запасы. Говорят, что все закроется, ничего не будет. И точно, в лавках, еще не закрывшихся, почти ничего нет, точно провалилось все куда-то. Случайно наткнулся в лавочке на Софийской на круг качкавала. Цена дикая – 28 рублей фунт.

Был А. М. Федоров. Был очень приятен, жаловался на свое

бедственное положение. В самом деле, исчез последний ресурс – кто же теперь снимет его дачку? Да и нельзя сдавать, она теперь "народное достояние". Всю жизнь работал, кое-как удалось купить клочок земли на истинно кровные гроши, построить (залезши в долги) домик – и вот оказывается, что домик "народный", что там будут жить вместе с твоей семьей, со всей твоей жизнью какие-то "трудящиеся". Повеситься можно от ярости!

Весь день упорный слух о взятии румынами Тирасполя, о том, что Макензен уже в Черновицах, и даже "о падении Петрограда". О, как люто все хотят этого! И все, конечно, враки.

Вечером с Н. в синагоге. Так все жутко и гадко вокруг, что тянет в церкви, в эти последние убежища, еще не залитые потопом грязи, зверства. Только слишком много было оперы, хорошо только порою: дико-страстные вопли, рыдания, за которыми целые века скорби, бесприютности, восток, древность, скитания – и Единый, перед Коим можно излить душу то в отчаянной, детски-горестной жалобе, за душу хватающей своим криком, то в мрачном, свирепо-грозном, все понижающемся реве.

Сейчас все дома темны, в темноте весь город, кроме тех мест, где эти разбойничьи притоны, там пылают люстры, слышны балалайки, видны стены, увешанные черными знаменами, на которых белые черепа с надписями: "Смерть, смерть буржуям!"

Пишу при вонючей кухонной лампочке, дожигаю остатки керосину. Как больно, как оскорбительно. Каприйские мои приятели, Луначарские и Горькие, блюстители русской культуры и искусства, приходившие в священный гнев при каждом предостережении какой-нибудь "Новой Жизни" со стороны "царских опричников", что бы вы сделали со мной теперь, захватив меня за этим преступным писанием при вонючем каганце, или на том, как я буду воровски засовывать это писание в щели карниза?

– Прав был дворник (Москва, осень 17 года):

– Нет, простите! Наш долг был и есть – довести страну до учредительного собрания!

Дворник, сидевший у ворот и слышавший эти горячие слова, – мимо него быстро шли и спорили, – горестно покачал головой:

– До чего в самом деле довели, сукины дети!

– Сперва меньшевики, потом грузовики, потом большевики и броневики…

Грузовик – каким страшным символом остался он для нас, сколько этого грузовика в наших самых тяжких и ужасных воспоминаниях! С самого первого дня своего связалась революция с этим ревущим и

смердящим животным, переполненным сперва истеричками и похабной солдатней из дезертиров, а потом отборными каторжанами.

Вся грубость современной культуры и ее "социального пафоса" воплощены в грузовике – говорит, кричит, заикаясь, со слюной во рту, глаза сквозь криво висящее пенсне кажутся особенно яростными. Галстучек высоко вылез сзади на грязный бумажный воротничок, жилет донельзя запакощенный, на плечах кургузого пиджачка – перхоть, сальные жидкие волосы всклокочены… И меня уверяют, что эта гадюка одержима будто бы "пламенной, беззаветной любовью к человеку", "жаждой красоты, добра и справедливости"!

А его слушатели?

Весь день праздно стоящий с подсолнухами в кулаке, весь день механически жрущий эти подсолнухи дезертир. Шинель внакидку, картуз на затылок. Широкий, коротконогий. Спокойно-нахален, жрет и от времени до времени задает вопросы, – не говорит, а все только спрашивает, и ни единому ответу не верит, во всем подозревает брехню. И физически больно от отвращения к нему, к его толстым ляжкам в толстом зимнем хаки, к телячьим ресницам, к молоку от нажеванных подсолнухов на молодых, животно-первобытных губах.

– "Российская история" Татищева:

"Брат на брата, сыневе против отцев, рабы на господ, друг другу ищут умертвить единого ради корыстолюбия, похоти и власти, ища брат брата достояния лишить, не ведущие, яко премудрый глаголет: ища чужого, о своем в оный день возрыдает…"

А сколько дурачков убеждено, что в российской истории произошел великий "сдвиг" к чему-то будто бы совершенно новому, доселе небывалому!

Вся беда (и страшная), что никто даже малейшего подлинного понятия о "российской истории" не имел.

20 апреля.

Кинулся к газетам – ничего особенного. "В ровенском направлении попытка противника…" Кто же, наконец, этот противник?

Тон газет все тот же, – высокопарно-площадной жаргон, – все те же угрозы, остервенелое хвастовство, и все так плоско, лживо так явно, что не веришь ни единому слову и живешь в полной отрезанности от мира, как на каком-то Чертовом острове.

Анюта говорит, что уже два дня не выдают даже и этого ужасного горохового хлеба, от которого все на дворе у нас кричали от колик, и кому

же не выдают? – тому самому пролетариату, которого так забавляли позавчера. А на стенах воззвания: "Граждане! Все к спорту!" Совершенно невероятно, а истинная правда. Почему к спорту? Откуда залетел в эти анафемские черепа еще спорт?

Был Волошин. Помочь ему удрать в Крым хотят через "морского комиссара и командующего черноморским флотом", Немица, который, кстати сказать, поэт, "особенно хорошо пишущий рондо и триолеты". Выдумывают какую-то тайную "миссию" в Севастополь. Беда только в том, что ее не на чем послать: весь флот Немица состоит из одного парусного дубка, а его не во всякую погоду пошлешь.

– Бешенство слухов: Петроград взят генералом Гурко, Колчак под Москвой, немцы вот-вот будут в Одессе…

Какая у всех свирепая жажда их погибели! Нет той самой страшной библейской казни, которой мы не желали бы им. Если б в город ворвался хоть сам дьявол и буквально по горло ходил в их крови, половина Одессы рыдала бы от восторга.

Лжи столько, что задохнуться можно. Все друзья, все знакомые, о которых прежде и подумать бы не смел, как о лгунах, лгут теперь на каждом шагу. Ни единая душа не может не солгать, не может не прибавить и своей лжи, своего искажения к заведомо лживому слуху. И все это от нестерпимой жажды, чтобы было так, как нестерпимо хочется. Человек бредит, как горячечный, и, слушая этот бред, весь день все-таки жадно веришь ему и заражаешься им. Иначе, кажется, не выжил бы и недели. И каждый день это самоодурманивание достигает особой силы к вечеру, – такой силы, что ложишься спать точно эфиром опоенный, почти с полной верой, что ночью непременно что-нибудь случится, и так неистово, так крепко крестишься, молишься так напряженно, до боли во всем теле, что кажется, не может не помочь Бог, чудо, силы небесные. Засыпаешь, изнуренный от того невероятного напряжения, с которым просишь об их погибели, и за тысячу верст, в ночь, в темноту, в неизвестность шлешь всю свою душу к родным и близким, свой страх за них, свою любовь к ним, свою муку, да сохранит и спасет их Господь, – и вдруг вскакиваешь среди ночи с бешено заколотившимся сердцем: где-то трах-трах-трах, иногда где-то совсем близко, точно каменный град по крышам, – вот оно, что-то таки случилось, кто-то, может быть, напал на город – и конец, крах этой проклятой жизни! А наутро опять отрезвление, тяжкое похмелье, кинулся к газетам, – нет, ничего не случилось, все тот же наглый и твердый крик, все новые "победы". Светит солнце, идут люди, стоят у лавок очереди… и опять тупость, безнадежность, опять впереди пустой долгий день, да нет,

не день, а дни, пустые, долгие, ни на что не нужные! Зачем жить, для чего? Зачем делать что-нибудь? В этом мире, в их мире, в мире поголовного хама и зверя, мне ничего не нужно…

"У нас совсем особая психика, о которой будут потом сто лет писать". Да мне-то какое утешение от этого? Что мне до того времени, когда от нас даже праху не останется? "Этим записям цены не будет". А не все ли равно? Будет жить и через сто лет все такая же человеческая тварь, – теперь-то я уж знаю ей цену!

– Ночь. Пишу слегка хмельной. Вечером, с видом заговорщика, пришел А. В. Васьковский, притворил дверь и шепотом наговорил таких вещей, так настаивал, что все, о чем говорили днем, есть сущая правда, что Петр разволновался до красноты ушей, потом слазил под лестницу и вытащил две бутылки вина. Я так слаб от нервности, что захмелел от двух бокалов. Понимаю всю чушь этих слухов, – и все-таки верю и пишу дрожащими, холодными руками…

"Ах, мщения, мщения!", – как писал Батюшков после пожара Москвы в 1812 году.

Савина писала летом 15 года мужу с Кавказа: "Ужели Господь попустит и наши солдатики, наши чудо-богатыри должны будут перенести этот стыд и горе – наше поражение!"

Что это было? Глупость, невежество, происходившие не только от незнания народа, но и от нежелания знать его? Все было. Да была и привычная корысть лжи, за которую так или иначе награждали. "Я верю в русский народ!" За это рукоплескали.

Известная часть общества страдала такой лживостью особенно. Так извратились в своей профессии быть "друзьями народа, молодежи и всего светлого", что самим казалось, что они вполне искренни. Я чуть не с отрочества жил с ними, был как будто вполне с ними, – и постоянно, поминутно возмущался, чувствуя их лживость, и на меня часто кричали:

– Это он-то лжив, этот кристальный человек, всю свою жизнь отдавший народу?!

В самом деле: то, что называется "честный", красивый старик, очки, белая большая борода, мягкая шляпа… Но ведь это лживость особая, самим человеком почти несознаваемая, привычная жизнь выдуманными чувствами, уже давно, разумеется, ставшими второй натурой, а все-таки выдуманными.

Какое огромное количество таких "лгунов" в моей памяти!

Необыкновенный сюжет для романа, и страшного романа.

– Как мы врали друг другу, что наши "чудо-богатыри" – лучшие в мире

патриоты, храбрейшие в бою, нежнейшие с побежденным врагом!

– Значит, ничего этого не было?

Нет, было. Но у кого? Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом – Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, "шаткость", как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: "Из нас, как из древа, – и дубина, и икона", – в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев. Если бы я эту "икону", эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так беспрерывно, так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу. И кто же? Те, которым, в сущности, было совершенно наплевать на народ, – если только он не был поводом для проявления их прекрасных чувств, – и которого они не только не знали и не желали знать, но даже просто не замечали, как не замечали лиц извозчиков, на которых ездили в какое-нибудь Вольно-Экономическое общество. Мне Скабичевский признался однажды:

– Я никогда в жизни не видал, как растет рожь. То есть, может, и видел, да не обратил внимания.

А мужика, как отдельного человека, он видел? Он знал только "народ", "человечество". Даже знаменитая "помощь голодающим" происходила у нас как-то литературно, только из жажды лишний раз лягнуть правительство, подвести под него лишний подкоп. Страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была.

То же и во время войны. Было, в сущности, все то же жесточайшее равнодушие к народу. "Солдатики" были объектом забавы. И как сюсюкали над ними в лазаретах, как ублажали их конфетами, булками и даже балетными танцами! И сами солдатики тоже комедничали, прикидывались страшно благодарными, кроткими, страдающими покорно: "Что ж, сестрица, все Божья воля!" – и во всем поддакивали и сестрицам, и барыням с конфетами, и репортерам, врали, что они в восторге от танцев Гельцер (насмотревшись на которую однажды один солдатик на мой вопрос, что это такое по его мнению, ответил: "Да черт… Чертом представляется, козлекает…")

Страшно равнодушны были к народу во время войны, преступно врали об его патриотическом подъеме, даже тогда, когда уже и младенец не мог не видеть, что народу война осточертела. Откуда это равнодушие? Между прочим, и от ужасно присущей нам беспечности, легкомысленности,

непривычки и нежелания быть серьезными в самые серьезные моменты. Подумать только, до чего беспечно, спустя рукава, даже празднично отнеслась вся Россия к началу революции, к величайшему во всей ее истории событию, случившемуся во время величайшей в мире войны!

Да, уж чересчур привольно, с деревенской вольготностью, жили мы все (в том числе и мужики), жили как бы в богатейшей усадьбе, где даже и тот, кто был обделен, у кого были лапти разбиты, лежал, задеря эти лапти, с полной беспечностью, благо потребности были дикарски ограничены.

"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь". Да и делали мы тоже только кое-что, что придется, иногда очень горячо и очень талантливо, а все-таки по большей части как Бог на душу положит – один Петербург подтягивал. Длительным будничным трудом мы брезговали, белоручки были, в сущности, страшные. А отсюда, между прочим, и идеализм наш, в сущности, очень барский, наша вечная оппозиционность, критика всего и всех: критиковать-то ведь гораздо легче, чем работать. И вот:

– Ах, я задыхаюсь среди этой Николаевщины, не могу быть чиновником, сидеть рядом с Акакием Акакиевичем, – карету мне, карету!

Отсюда Герцены, Чацкие. Но отсюда же и Николка Серый из моей "Деревни", – сидит на лавке в темной, холодной избе и ждет, когда подпадет какая-то "настоящая" работа, – сидит, ждет и томится. Какая это старая русская болезнь, это томление, эта скука, эта разбалованность – вечная надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за тебя сделает: стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку колечко!

Это род нервной болезни, а вовсе не знаменитые "запросы", будто бы происходящие от наших "глубин".

"Я ничего не сделал, ибо всегда хотел сделать больше обыкновенного".

Это признание Герцена.

Вспоминаются и другие замечательные его строки:

"Нами человечество протрезвляется, мы его похмелье… Мы канонизировали человечество… канонизировали революцию… Нашим разочарованием, нашим страданием мы избавляем от скорбей следующие поколения…"

Нет, отрезвление еще далеко.

– Закрою глаза и все вижу как живого: ленты сзади матросской бескозырки, штаны с огромными раструбами, на ногах бальные туфельки от Вейса, зубы крепко сжаты, играет желваками челюстей… Вовек теперь не забуду, в могиле буду переворачиваться!

21 апреля.

"Ультиматум Раковского и Чичерина Румынии, – в 48 часов очистить Буковину и Бессарабию!" Так неправдоподобно – глупо (даже если это все то же издевательство над чернью), что приходит в голову: "Да уж не делается ли все это по чьему-то приказу, немецкому, что ли, – с целью изо дня в день позорить коммунистов, революционеров, вообще революцию?" Затем – "От победы к победе – новые успехи доблестной красной армии. Расстрел 26 черносотенцев в Одессе…"

В "Известиях", – ох, какое проклятое правописание! – после передовой об ультиматуме, напечатан поименный список этих двадцати шести, расстрелянных вчера, затем статейка о том, что "работа" в одесской чрезвычайке "налаживается", что "работы вообще много", и наконец гордое заявление: "Вчера удалось добыть угля для отправки поезда в Киев". – Счастливый день! И это после ультиматума-то!

Ну, а если румыны не послушаются Раковского, что тогда? И как дьявольски однообразны все эти клоунские выходки! Впрочем, может быть, грубо инсценируется что-нибудь, дается кому-то придирка? Кому же именно?

Да, а "буржуи" уж совсем было поверили в Петроград. Ведь говорили, что вот тот-то своими глазами видел телеграмму о занятии Петрограда (после того, как англичане будто бы подвезли хлеба для него)…

Слух, что и у нас будет этот дикий грабеж, какой идет уже в Киеве, – "сбор" одежды и обуви.

– Давеча прочитал про этот расстрел двадцати шести как-то тупо.

Сейчас в каком-то столбняке. Да, двадцать шесть, и ведь не когда-нибудь, а вчера, у нас, возле меня. Как забыть, как это простить русскому народу? А все простится, все забудется. Впрочем, и я только стараюсь ужасаться, а по-настоящему не могу, настоящей восприимчивости все-таки не хватает. В этом и весь адский секрет большевиков – убить восприимчивость. Люди живут мерой, отмерена им и восприимчивость, воображение, – перешагни же меру. Это – как цены на хлеб, на говядину. "Что? Три целковых фунт?!" А назначь тысячу – и конец изумлению, крику, столбняк, бесчувственность. "Как? Семь повешенных?!" – "Нет, милый, не семь, а семьсот!" – И уж тут непременно столбняк – семерых-то висящих еще можно представить себе, а попробуй-ка семьсот, даже семьдесят!

– В три часа, – все время шел дождь, – выходили. Встретили Полевицкую с мужем. – "Ужасно ищу роль для себя в мистерии – так хотелось бы сыграть Богоматерь!" – О, Боже мой. Боже мой! Да, все это в

теснейшей связи с большевизмом. В литературе, в театре он уже давным-давно…

Купил спичек, 6 рублей коробка, а месяц тому назад стоили полтинник.

Когда выходишь, идешь как при начале тяжелой болезни.

– Сейчас (8 часов вечера, а по-"советскому" уже половина одиннадцатого) закрывал, возвратись с прогулки, ставни: ломоть месяца, совсем золотой, чисто блестит сквозь молодую зелень дерева под окном на очистившемся западном небе, тонком и еще светлом.

Вышел в семь, поминутно дождь, похоже на осенний вечер. Прошел по Херсонской, потом завернул к Соборной площади. Еще светло, а уже все закрыто, все магазины, – тягостная, тревожащая душу пустота. Пока дошел до площади, дождь перестал, шел к собору под молодой зеленью уже зацветавших каштанов, по блестящему мокрому асфальту. Вспомнил мрачный вечер "первого мая". А в соборе венчали, пел женский хор. Вошел, и, как всегда за последнее время, эта церковная красота, этот остров "старого" мира в море грязи, подлости и низости "нового", тронули необыкновенно. Какое вечернее небо в окнах! В алтаре, в глубине, окна уже лилово синели – любимое мое. Милые девичьи личики у певших в хоре, на головах белые покрывала с золотым крестиком на лбу, в руках ноты и золотые огоньки маленьких восковых свечей – все было так прелестно, что, слушая и глядя, очень плакал. Шел домой, – чувство легкости, молодости. И наряду с этим – какая тоска, какая боль!

– Когда вернулся, у нас во дворе, в квартире милиционера, играли на фортепьяно и танцевали. Встретил Марусю, – в сумерках, наряженная, с блестящими глазами, показалась очень хороша, – и на мгновение сердцем вспомнил то далекое, невозвратимое очарование, что испытывал когда-то в ранней молодости, вот в такой же апрельский вечер, в деревенском саду.

Маруся прошлым летом жила у нас на даче кухаркой и целый месяц скрывала в кухне и кормила моим хлебом большевика, своего любовника, и я знал это, знал. Вот какова моя кровожадность, и в этом все дело: быть такими же, как они, мы не можем. А раз не можем, конец нам!

Пишу при светильничке – масло и поплавок в банке. Темь, копоть, порчу зрение.

В сущности, всем нам давно пора повеситься, – так мы забиты, замордованы, лишены всех прав и законов, живем в таком подлом рабстве, среди непрестанных заушений, издевательств! Какое самообладание У лошадей простого звания, Не обращающих внимания На трудности существования!

Милый мальчик, царство небесное ему! (Это шутливые стихи одного молодого поэта, студента, поступившего прошлой зимой в полицейские, – идейно, – и убитого большевиками.) – Да, мы теперь лошади очень простого звания.

22 апреля.

Вспомнился мерзкий день с дождем, снегом, грязью, – Москва, прошлый год, конец марта. Через Кудринскую площадь тянутся бедные похороны – и вдруг, бешено стреляя мотоциклетом, вылетает с Никитской животное в кожаном картузе и кожаной куртке, на лету грозит, машет огромным револьвером и обдает грязью несущих гроб:

– Долой с дороги!

Несущие шарахаются в сторону и, спотыкаясь, тряся гроб, бегут со всех ног. А на углу стоит старуха и, согнувшись, плачет так горько, что я невольно приостанавливаюсь и начинаю утешать, успокаивать. Я бормочу: – "Ну будет, будет, Бог с тобой" – спрашиваю: – "Родня, верно, покойник-то?" А старуха хочет передохнуть, одолеть слезы и наконец с трудом выговаривает:

– Нет… Чужой… Завидую…

И еще вспомнилось. Москва, конец марта позапрошлого года. Большой, толстый князь Трубецкой кричит, театрально сжимая свои маленькие кулачки:

– Помните, господа: пгусский сапог безжалостно газдавит нежные гостки гусской свободы! Все на защиту ее!

Устами князя говорили тогда сотни тысяч уст. Нечего сказать, нашли для кого защищать "русскую свободу"!

Зимой 18 года те же сотни тысяч возложили все свои упования на спасение (только уже не русской свободы) именно через немцев. Вся Москва бредила их приходом.

– Понедельник, газет нет, отдых в моем помешательстве (длящемся с самого начала войны) на чтении их. Зачем я над собой зверствую, рву себе сердце этим чтением?

На редкость твердо уверены все эти Пешехоновы, что только им принадлежит решение российской судьбы. И когда же? Когда они должны были бы в тартарары провалиться хотя бы от одного стыда за все то, что они явили на диво всему миру за свое шестимесячное царствование в 17 году.

– Совершенно нестерпим большевистский жаргон. А каков был вообще язык наших левых? "С цинизмом, доходящим до грации… Нынче

брюнет, завтра блондин… Чтение в сердцах… Учинить допрос с пристрастием… Или-или: третьего не дано… Сделать надлежащие выводы… Кому сие ведать надлежит… Вариться в собственном соку… Ловкость рук… Нововременские молодцы…" А это употребление с какой-то якобы ядовитейшей иронией (неизвестно над чем и над кем) высокого стиля? Ведь даже у Короленко (особенно в письмах) это на каждом шагу. Непременно не лошадь, а Росинант, вместо "я сел писать" – "я оседлал своего Пегаса", жандармы – "мундиры небесного цвета". Кстати, о Короленко. Летом 17 года какую громовую статью напечатал он в "Русских Ведомостях" в защиту Раковского!

– По вечерам жутко мистически. Еще светло, а часы показывают что-то нелепое, ночное. Фонарей не зажигают. Но на всяких "правительственных" учреждениях, на чрезвычайках, на театрах и клубах "имени Троцкого", "имени Свердлова", "имени Ленина" прозрачно горят, как какие-то медузы, стеклянные розовые звезды. И по странно пустым, еще светлым улицам, на автомобилях, на лихачах, – очень часто с разряженными девками, – мчится в эти клубы и театры (глядеть на своих крепостных актеров) всякая красная аристократия: матросы с огромными браунингами на поясе, карманные воры, уголовные злодеи и какие-то бритые щеголи во френчах, в развратнейших галифе, в франтовских сапогах непременно при шпорах, все с золотыми зубами и большими, темными, кокаинистическими глазами… Но жутко и днем. Весь огромный город не живет, сидит по домам, выходит на улицу мало. Город чувствует себя завоеванным, и завоеванным как будто каким-то особым народом, который кажется гораздо более страшным, чем, я думаю, казались нашим предкам печенеги. А завоеватель шатается, торгует с лотков, плюет семечками, "кроет матом". По Дерибасовской или движется огромная толпа, сопровождающая для развлечения гроб какого-нибудь жулика, выдаваемого непременно за "павшего борца" (лежит в красном гробу, а впереди оркестры и сотни красных и черных знамен), или чернеют кучки играющих на гармоньях, пляшущих и вскрикивающих:

Эй, яблочко,

Куда котишься!

Вообще, как только город становится "красным", тотчас резко меняется толпа, наполняющая улицы. Совершается некий подбор лиц, улица преображается.

Как потрясал меня этот подбор в Москве! Из-за этого больше всего и уехал оттуда.

Теперь то же самое в Одессе – с самого того праздничного дня, когда в

город вступила "революционно-народная армия", и когда даже на извозчичьих лошадях как жар горели красные банты и ленты.

На этих лицах прежде всего нет обыденности, простоты. Все они почти сплошь резко отталкивающие, пугающие злой тупостью, каким-то угрюмо-холуйским вызовом всему и всем.

И вот уже третий год идет нечто чудовищное. Третий год только низость, только грязь, только зверство. Ну, хоть бы на смех, на потеху что-нибудь уж не то что хорошее, а просто обыкновенное, что-нибудь просто другое!

– "Нельзя огулом хаять народ!"

А "белых", конечно, можно.

Народу, революции все прощается, – "все это только эксцессы".

А у белых, у которых все отнято, поругано, изнасиловано, убито, – родина, родные колыбели и могилы, матери, отцы, сестры, – "эксцессов", конечно, быть не должно.

– "Революция – стихия…"

Землетрясение, чума, холера тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются. А революцию всегда "углубляют".

"Народ, давший Пушкина, Толстого".

А белые не народ.

"Салтычиха, крепостники, зубры…" Какая вековая низость – шулерничать этой Салтычихой, самой обыкновенной сумасшедшей. А декабристы, а знаменитый московский университет тридцатых и сороковых годов, завоеватели и колонизаторы Кавказа, все эти западники и славянофилы, деятели "эпохи великих реформ", "кающийся дворянин", первые народовольцы. Государственная Дума? А редакторы знаменитых журналов? А весь цвет русской литературы? А ее герои? Ни одна страна в мире не дала такого дворянства.

"Разложение белых…"

Какая чудовищная дерзость говорить это после того небывалого в мире "разложения", которое явил "красный" народ.

Впрочем, многое и от глупости. Толстой говорил, что девять десятых дурных человеческих поступков объясняются исключительно глупостью.

– В моей молодости, – рассказывал он, – был у нас приятель, бедный человек, вдруг купивший однажды на последние гроши заводную металлическую канарейку. Мы голову сломали, ища объяснение этому нелепому поступку, пока не вспомнили, что приятель наш просто ужасно глуп.

23 апреля.

Каждое утро делаю усилия одеваться спокойно, преодолевать нетерпение к газетам – и все напрасно. Напрасно старался и нынче. Холод, дождь, и все-таки побежал за этой мерзостью и опять истратил на них целых пять целковых. Что Петербург? Что ультиматум румынам? Ни о том, ни о другом, конечно, ни слова. Крупно: "Колчаку Волги не видать!" Затем: образовалось "Временное Рабоче-Крестьянское Правительство" Бессарабии, Нансен просит "Совет Четырех" о хлебе для России, где "ежемесячно умирают от голода и болезней сотни тысяч". Абрашка-Гармонист (Регинин из "Биржевки") продолжает забавлять красноармейцев: "Тут вскочил как ошарашенный Колчак и присел от перепуга на столчак", "в Париже баррикады, старый палач Клемансо в панике", болгарский коммунист Касанов "объявил войну Франции", – так буквально и сказано! – в одесский порт вчера пришло посыльное французское судно, а "блокада продолжается, французы останавливают даже парусники…". Все в городе диву даются, стараясь понять поведение французов, и все бегают на Николаевский бульвар, смотреть на французский миноносец, сереющий вдали на совершенно пустом море, и дрожат: как бы не ушел, избавь Бог! Все кажется, что есть хоть какая-то защита, что, в случае каких-нибудь уж слишком чрезмерных зверств над нами, миноносец может начать стрелять… что если он уйдет, уж всему конец, полный ужас, полная пустота мира…

Весь вечер сидел Волошин. Очень хвалил этого морского комиссара Немица, – "он видит и верит, что идет объединение и строительство России". Читал свои переводы из Верхарна. Опять думаю: Верхарн большой талант, но, прочитав десяток его стихов, начинаешь задыхаться от этого дьявольского однообразия приемов, диких преувеличений, сумасшедшего, "большевистского" нажима на воображение читателя.

– Русская литература развращена за последние десятилетия необыкновенно. Улица, толпа начала играть очень большую роль. Все – и литература особенно – выходит на улицу, связывается с нею и подпадает под ее влияние. И улица развращает, нервирует уже хотя бы по одному тому, что она страшно неумеренна в своих хвалах, если ей угождают. В русской литературе теперь только "гении". Изумительный урожай! Гений Брюсов, гений Горький, гений Игорь Северянин, Блок, Белый… Как тут быть спокойным, когда так легко и быстро можно выскочить в гении? И всякий норовит плечом пробиться вперед, ошеломить, обратить на себя внимание.

Вот и Волошин. Позавчера он звал на Россию "Ангела Мщения", который должен был "в сердце девушки вложить восторг убийства и в душу детскую кровавые мечты". А вчера он был белогвардейцем, а нынче готов петь большевиков. Мне он пытался за последние дни вдолбить следующее: чем хуже, тем лучше, ибо есть девять серафимов, которые сходят на землю и входят в нас, дабы принять с нами распятие и горение, из коего возникают новые, прокаленные, просветленные лики. Я ему посоветовал выбрать для этих бесед кого-нибудь поглупее.

А. К. Толстой когда-то писал: "Когда я вспомню о красоте нашей истории до проклятых монголов, мне хочется броситься на землю и кататься от отчаяния". В русской литературе еще вчера были Пушкины, Толстые, а теперь почти одни "проклятые монголы".

Ночь на 24 апреля.

Последний раз я был в Петербурге в начале апреля 17 года. В мире тогда уже произошло нечто невообразимое: брошена была на полный произвол судьбы – и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны – величайшая на земле страна. Еще на три тысячи верст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми ямами: дело было кончено, и кончено такой чепухой, которой еще не бывало, ибо власть над этими тремя тысячами верст, над вооруженной ордой, в которую превращалась многомиллионная армия, уже переходила в руки "комиссаров" из журналистов вроде Соболя, Иорданского. Но не менее страшно было и на всем прочем пространстве России, где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество.

Я приехал в Петербург, вышел из вагона, пошел по вокзалу: здесь, в Петербурге, было как будто еще страшнее, чем в Москве, как будто еще больше народа, совершенно не знающего, что ему делать, и совершенно бессмысленно шатавшегося по всем вокзальным помещениям. Я вышел на крыльцо, чтобы взять извозчика: извозчик тоже не знал, что ему делать, – везти или не везти, – и не знал, какую назначить цену.

– В Европейскую, – сказал я.

Он подумал и ответил наугад:

– Двадцать целковых.

Цена была по тем временам еще совершенно нелепая. Но я согласился, сел и поехал – и не узнал Петербурга.

В Москве жизни уже не было, хотя и шла со стороны новых

властителей сумасшедшая по своей бестолковости и горячке имитация какого-то будто бы нового строя, нового чина и даже парада жизни. То же, но еще в превосходной степени, было и в Петербурге. Непрерывно шли совещания, заседания, митинги, один за другим издавались воззвания, декреты, неистово работал знаменитый "прямой провод" – и кто только не кричал, не командовал тогда по этому проводу! – по Невскому то и дело проносились правительственные машины с красными флажками, грохотали переполненные грузовики, не в меру бойко и четко отбивали шаг какие-то отряды с красными знаменами и музыкой… Невский был затоплен серой толпой, солдатней в шинелях внакидку, неработающими рабочими, гулящей прислугой и всякими ярыгами, торговавшими с лотков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сластями, и всем, чего просишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов, а на мостовой лежал навозный лед, были горбы и ухабы. И на полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие мужики с бородами:

– Теперь народ, как скотина без пастуха, все перегадит и самого себя погубит.

Я спросил:

– Так что же делать?

– Делать? – сказал он. – Делать теперь нечего. Теперь шабаш. Теперь правительства нету.

Я взглянул вокруг, на этот Петербург… "Правильно, шабаш". Но в глубине-то души я еще на что-то надеялся и в полное отсутствие правительства все-таки еще не совсем верил.

Не верить, однако, нельзя было.

Я в Петербурге почувствовал это особенно живо: в тысячелетнем и огромном доме нашем случилась великая смерть, и дом был теперь растворен, раскрыт настежь и полон несметной праздной толпой, для которой уже не стало ничего святого и запретного ни в каком из его покоев. И среди этой толпы носились наследники покойника, шальные от забот, распоряжений, которых, однако, никто не слушал. Толпа шаталась из покоя в покой, из комнаты в комнату, ни на минуту не переставая грызть и жевать подсолнухи, пока еще только поглядывая, до поры до времени помалкивая. А наследники носились и без умолку говорили, всячески к ней подлаживались, уверяли ее и самих себя, что это именно она, державная толпа, навсегда разбила "оковы" в своем "священном гневе", и все старались внушить и себе и ей, что на самом-то деле они ничуть не наследники, а так только – временные распорядители, будто бы ею же

самой на то уполномоченные.

Я видел Марсово Поле, на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, комедию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гробы почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых! Комедию проделали с полным легкомыслием и, оскорбив скромных прах никому не ведомых покойников высокопарным красноречием, из края в край изрыли и истоптали великолепную площадь, обезобразили ее буграми, натыкали на ней высоких голых шестов в длиннейших и узких черных тряпках и зачем-то огородили ее дощатыми заборами, на скорую руку сколоченными и мерзкими не менее шестов своей дикарской простотой.

Я видел очень большое собрание на открытии выставки финских картин. До картин ли было нам тогда! Но вот оказалось, что до картин. Старались, чтобы народу на открытии было как можно больше, и собрался "весь Петербург" во главе с некоторыми новыми министрами, знаменитыми думскими депутатами, и все просто умоляли финнов послать к черту Россию и жить на собственной воле: не умею иначе определить тот восторг, с которым говорились речи финнам по поводу "зари свободы, засиявшей над Финляндией". И из окон того богатого особняка, в котором происходило все это и который стоял как раз возле Марсова Поля, я опять глядел на это страшное могильное позорище, в которое превратили его.

А затем я был еще на одном торжестве в честь все той же Финляндии, – на банкете в честь финнов, после открытия выставки. И, Бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось все то, что я видел в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет! Собрались на него все те же – весь "цвет русской интеллигенции", то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, новые министры и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но над всеми возобладал – поэт Маяковский. Я сидел с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский с того, что без всякого приглашения подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов. Галлен глядел на него во все глаза – так, как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся. Маяковский это заметил.

– Вы меня очень ненавидите? – весело спросил он меня.

Я без всякого стеснения ответил, что нет: слишком было бы много

чести ему. Он уже было раскрыл свой корытообразный рот, чтобы еще что-то спросить меня, но тут поднялся для официального тоста министр иностранных дел, и Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там он вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что министр оцепенел. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: "Господа!" Но Маяковский заорал пуще прежнего. И министр, сделав еще одну и столь же бесплодную попытку, развел руками и сел. Но только что он сел, как встал французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уж перед ним-то русский хулиган не может не стушеваться. Не тут-то было! Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. Но мало того: к безмерному изумлению посла, вдруг пришла в дикое и бессмысленное неистовство и вся зала: зараженные Маяковским, все ни с того ни с сего заорали и стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать и тушить электричество. И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно, потрясенный до глубины души этим излишеством свинства, и желая выразить свой протест против него, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из немногих русских слов, ему известных:

– Много! Многоо! Многоо! Многоо!

И еще одно торжество случилось тогда в Петербурге – приезд Ленина. "Добро пожаловать!" – сказал ему Горький в своей газете. И он пожаловал – в качестве еще одного притязателя на наследство. Притязания его были весьма серьезны и откровенны. Однако его встретили на вокзале почетным караулом и музыкой и позволили затесаться в один из лучших петербургских домов, ничуть, конечно, ему не принадлежащий.

"Много"? Да как сказать? Ведь шел тогда у нас пир на весь мир, и трезвы-то на пиру были только Ленины и Маяковские.

Одноглазый Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея. Ленин и Маяковский (которого еще в гимназии пророчески прозвали Идиотом Полифемовичем) были оба тоже довольно прожорливы и весьма сильны своим одноглазием. И тот и другой некоторое время казались всем только площадными шутами. Но недаром Маяковский назвался футуристом, то есть человеком будущего: полифемское будущее России принадлежало несомненно им, Маяковским, Лениным. Маяковский утробой почуял, во что вообще превратится вскоре русский пир тех дней и как великолепно заткнет рот всем прочим трибунам Ленин с балкона Кшесинской: еще великолепнее, чем сделал это он сам, на пиру в честь готовой послать нас к черту Финляндии!

В мире была тогда Пасха, весна, и удивительная весна, даже в Петербурге стояли такие прекрасные дни, каких не запомнишь. А надо всеми моими тогдашними чувствами преобладала безмерная печаль. Перед отъездом был я в Петропавловском соборе. Все было настежь – и крепостные ворота, и соборные двери. И всюду бродил праздный народ, посматривая и поплевывая семечками. Походил и я по собору, посмотрел на царские гробницы, земным поклоном простился с ними, а выйдя на паперть, долго стоял в оцепенении: вся безграничная весенняя Россия развернулась перед моим умственным взглядом. Весна, пасхальные колокола звали к чувствам радостным, воскресным. Но зияла в мире необъятная могила. Смерть была в этой весне, последнее целование…

– "Разочарования, – говорит Герцен, – мир не знал до великой французской революции, скепсис пришел вместе с республикой 1792 года".

Что до нас, то мы должны унести с собой в могилу разочарование величайшее в мире.

– Перечитал написанное. Нет, вероятно, еще можно было спастись. Разврат тогда охватил еще только главным образом города. В деревне был еще некоторый разум, стыд. Вспомнил свои прежние записи, вынул и развернул: вот, например, 5 мая 1917 года:

Был на мельнице. Много мужиков, несколько баб. Громкий разговор под шум мельницы. Возле притолоки, прислонясь к ней и внимательно слушая Колю, наклонив ухо и глядя в землю, стоит высокий мужик с опущенными плечами, с черной курчавой бородой и нежным румянцем, уходящим в волосы. Шапка надвинута на белый хрящ носа. Коля рассказывает, что солдаты никого не признают и уходят с фронта. Мужик вдруг встрепенулся и, уставившись в него черными блестящими глазами, яростно заговорил:

– Вот, вот! Вот они, сукины дети! Кто их распустил? Кому они тут нужны? Их, сукиных детей, арестовать надо!

В это время, верхом на серой лошади, подъехал молодой солдат в хаки и стеганых штанах, напевая и насвистывая. Мужик кинулся на него:

– Вот он! Видишь, катается! Кто его пустил? Зачем его собирали, зачем его обряжали?

Солдат слез, привязал лошадь и на раскоряченных ногах, с притворно беззаботным видом, вошел в мельницу.

– Что ж мало навоевал? – закричал за ним мужик. – Ты что ж, казенную шапку, казенные портки надел дома сидеть? (Солдат с неловкой улыбкой обернулся.) Ты бы уж лучше совсем туда не ездил, сволочь ты этакая! Возьму вот, сдеру с тебя портки и сапоги да головой об стену! Рад,

что начальства теперь у вас нету, подлец! Зачем тебя отец с матерью кормили?

Мужики подхватили, подняли общий негодующий крик.

Солдат с неловкой усмешкой, стараясь быть презрительным, пожимал плечами.

24 апреля.

Вчера ночью выдумал прятать эти заметки так хорошо, что, кажется, сам черт не найдет. Впрочем, черт теперь мальчишка и щенок. Все-таки могут найти, и тогда несдобровать мне. В "Известиях" обо мне уже писали: "Давно пора обратить внимание на этого академика с лицом гоголевского сочельника, вспомнить, как он воспевал приход в Одессу французов!"

– Посмотрел газеты. Все тот же балаган. "Бессарабское рабоче-крестьянское правительство опубликовало вчера манифест, объявляющий войну Румынии. Но это не хищническая война империалистов…" и т.д.

Статья Троцкого "о необходимости добить Колчака". Конечно, это первая необходимость и не только для Троцкого, но и для всех, которые ради погибели "проклятого прошлого" готовы на погибель хоть половины русского народа.

– В Одессе народ очень ждал большевиков – "наши идут". Ждали и многие обыватели – надоела смена властей, уж хоть что-нибудь одно, да, вероятно, и жизнь дешевле будет. И ох как нарвались все! Ну, да ничего, привыкнут. Как тот старик мужик, что купил себе на ярмарке очки такой силы, что у него от них слезы градом брызнули.

– Макар, да ты с ума сошел! Ведь ты ослепнешь, ведь они тебе совсем не по глазам!

– Кто, барин? Очки-то? Ничего, они оглядятся…

Волошин рассказывал, что председатель одесской чрезвычайки Северный (сын одесского доктора Юзефовича) говорил ему:

– Простить себе не могу, что упустил Колчака, который был у меня однажды в руках!

Более оскорбительного я за всю мою жизнь не слыхал.

– Дыбенко… Чехов однажды сказал мне:

– Вот чудесная фамилия для матроса: Кошкодавленко.

Дыбенко стоит Кошкодавленки.

О Коллонтай (рассказывал вчера Н. Н.):

– Я ее знаю очень хорошо. Была когда-то похожа на ангела. С утра надевала самое простенькое платьице и скакала в рабочие трущобы – "на работу". А воротясь домой, брала ванну, надевала голубенькую рубашечку

– и шмыг с коробкой конфет в кровать к подруге: "Ну, давай, дружок, поболтаем теперь всласть!"

Судебная и психиатрическая медицина давно знает и этот (ангелоподобный) тип среди прирожденных преступниц и проституток.

– Из "Известий":

"Крестьяне говорят: дайте нам коммуну, лишь бы избавьте нас от кадетов…"

У дверей "Политуправления" стоит огромный плакат. Краснокожая баба, с бешеным дикарским рылом, с яростно оскаленными зубами, с разбегу всадила вилы в зад убегающего генерала. Из зада хлещет кровь. Подпись:

– Не зарись, Деникин, на чужую землю! "Не зарись" должно обозначать "не зарься".

– По приказу самого Архангела Михаила никогда не приму большевистского правописания. Уж хотя бы по одному тому, что никогда человеческая рука не писала ничего подобного тому, что пишется теперь по этому правописанию.

– Подумать только: надо еще объяснять то тому, то другому, почему именно не пойду я служить в какой-нибудь Пролеткульт! Надо еще доказывать, что нельзя сидеть рядом с чрезвычайкой, где чуть не каждый час кому-нибудь проламывают голову, и просвещать насчет "последних достижений в инструментовке стиха" какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками! Да порази ее проказа до семьдесят седьмого колена, если она даже и "антерисуется" стихами!

Вообще, теперь самое страшное, самое ужасное и позорное даже не сами ужасы и позоры, а то, что надо разъяснять их, спорить о том, хороши они или дурны. Это ли не крайний ужас, что я должен доказывать, например, то, что лучше тысячу раз околеть с голоду, чем обучать эту хряпу ямбам и хореям, дабы она могла воспевать, как ее сотоварищи грабят, бьют, насилуют, пакостят в церквах, вырезывают ремни из офицерских спин, венчают с кобылами священников!

Кстати об одесской чрезвычайке. Там теперь новая манера пристреливать – над клозетной чашкой.

А у "председателя" этой чрезвычайки, у Северного, "кристальная душа", по словам Волошина. А познакомился с ним Волошин, – всего несколько дней тому назад, – "в гостиной одной хорошенькой женщины".

– Анюта говорит:

– Пригнали красноармейцев из России.

Знаю, уже некоторых видел. Нынче встретил опять одного –

толстомордого, коротконогого, у которого при разговоре поднимается левый угол губы. Страшный тип. Я был над спуском в порт в конце Торговой, он лежал с другим солдатом на ограде, с обезьяньей быстротой щелкал подсолнухами, исподлобья поглядывая на меня. Зачем я, несчастный, хожу туда? Смотреть на пустой рейд, на море, все тая надежду на спасение с той стороны!

Кончил воспоминания Булгакова. Толстой говорил ему:

– Курсистки, читающие Горького и Андреева, искренно верят, что не могут постигнуть их глубины… Прочел пролог к "Анатэме" – полная бессмыслица… Что у них у всех в головах, у всех этих Брюсовых, Белых?

Чехов тоже не понимал, что. На людях говорил, что "чудесно", а дома хохотал: "Ах, такие сякие! Их бы в арестантские роты отдать!" И про Андреева: "Прочитаю две страницы, – надо два часа гулять на свежем воздухе!"

Толстой говорил:

– Теперь успех в литературе достигается только глупостью и наглостью.

Он забыл помощь критиков.

Кто они, эти критики?

На врачебный консилиум зовут врачей, на юридическую консультацию – юристов, железнодорожный мост оценивают инженеры, дом – архитекторы, а вот художество всякий, кто хочет, люди, часто совершенно противоположные по натуре всякому художеству. И слушают только их. А отзыв Толстых в грош не ставится, – отзыв как раз тех, которые прежде всего обладают огромным критическим чутьем, ибо написание каждого слова в "Войне и мире" есть в то же самое время и строжайшее взвешивание, тончайшая оценка каждого слова.

– Когда совсем падаешь духом от полной безнадежности, ловишь себя на сокровенной мечте, что все-таки настанет же когда-нибудь день отмщения и общего, всечеловеческого проклятия теперешним дням. Нельзя быть без этой надежды. Да, но во что можно верить теперь, когда раскрылась такая несказанно страшная правда о человеке?

Все будет забыто и даже прославлено! И прежде всего литература поможет, которая что угодно исказит, как это сделало, например, с французской революцией то вреднейшее на земле племя, что называется поэтами, в котором на одного истинного святого всегда приходится десять тысяч пустосвятов, выродков и шарлатанов.

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые!

Да, мы надо всем, даже и над тем несказанным, что творится сейчас, мудрим, философствуем. Все-то у нас не веревка, а "вервие", как у того крыловского мудреца, что полетел в яму, но и в яме продолжал свою элоквенцию. Ведь вот и до сих пор спорим, например, о Блоке: впрямь его ярыги, убившие уличную девку, суть апостолы или все-таки не совсем? Михрютка, дробящий дубиной венецианское зеркало, у нас непременно гунн, скиф, и мы вполне утешаемся, налепив на него этот ярлык.

Вообще, литературный подход к жизни просто отравил нас. Что, например, сделали мы с той громадной и разнообразнейшей жизнью, которой жила Россия последнее столетие? Разбили, разделили ее на десятилетия – двадцатые, тридцатые, сороковые, шестидесятые годы – и каждое десятилетие определили его литературным героем: Чацкий, Онегин, Печорин, Базаров… Это ли не курам на смех, особенно ежели вспомнить, что героям этим было одному "осьмнадцать" лет, другому девятнадцать, третьему самому старшему двадцать!

– Газеты зовут в поход на Европу. Вспомнилось: осень 14 года, собрание московских интеллигентов в Юридическом Обществе. Горький, зеленея от волнения, говорил речь:

– Я боюсь русской победы, того, что дикая Россия навалится стомиллионным брюхом на Европу!

Теперь это брюхо большевицкое, и он уже не боится.

Рядом с этим есть в газетах и "предупреждение". "В связи с полным истощением топлива электричества скоро не будет". Итак, в один месяц все обработали: ни фабрик, ни железных дорог, ни трамваев, ни воды, ни хлеба, ни одежды – ничего!

Да, да – "вот выйдут семь коров тощих и пожрут семь тучных, но сами от того не станут тучнее".

Сейчас (одиннадцатый час, ночь) открыл окно, выглянул на улицу: луна низко, за домами, нигде ни души и так тихо, что слышно, как где-то на мостовой грызет кость собака, – и откуда только могла она взять эту кость? Вот дожили, – даже кости дивишься!

Перечитываю "Обрыв". Длинно, но как умно, крепко. Все-таки делаю усилие, чтобы читать – так противны теперь эти Марки Волоховы. Сколько хамов пошло от этого Марка! "Что же это вы залезли в чужой сад и едите чужие яблоки?" – "А что это значит: чужой, чужие? И почему мне не есть, если хочется?" Марк истинно гениальное создание, и вот оно, изумительное дело художников: так чудесно схватывает, концентрирует и воплощает человек типическое, рассеянное в воздухе, что во сто крат усиливает его существование и влияние – и часто совершенно наперекор

своей задаче. Хотел высмеять пережиток рыцарства – и сделал Дон Кихота, и уже не от жизни, а от этого несуществующего Дон Кихота начинают рождаться сотни живых Дон-Кихотов. Хотел казнить марковщину – и наплодил тысячи Марков, которые плодились уже не от жизни, а от книги. – Вообще, как отделить реальное от того, что дает книга, театр, кинематограф? Очень многие живые участвовали в моей жизни и воздействовали на меня, вероятно, гораздо менее, чем герои Шекспира, Толстого. А в жизнь других входит Шерлок, в жизнь горничной – те, которую она видела в автомобиле на экране.

25 апреля.

Вчера поздно вечером, вместе с "комиссаром" нашего дома, явились измерять в длину, ширину и высоту все наши комнаты "на предмет уплотнения пролетариатом". Все комнаты всего города измеряют, проклятые обезьяны, остервенело катающие чурбан! Я не проронил ни слова, молча лежал на диване, пока мерили у меня, но так взволновался от этого нового издевательства, что сердце стукало с перерывами и больно пульсировала жила на лбу. Да, это даром для сердца не пройдет. А какое оно было здоровое и насколько бы еще меня хватило, сколько бы я мог еще сделать!

"Комиссар" нашего дома сделался "комиссаром" только потому, что моложе всех квартирантов и совсем простого звания. Принял комиссарский сан из страху; человек скромный, робкий и теперь дрожит при одном слове "революционный трибунал", бегает по всему дому, умоляя исполнять декреты, – умеют нагонять страх, ужас эти негодяи, сами всячески подчеркивают, афишируют свое зверство! А у меня совершенно ощутимая боль возле левого соска даже от одних таких слов, как "революционный трибунал". Почему комиссар, почему трибунал, а не просто суд? Все потому, что только под защитой таких священно-революционных слов можно так смело шагать по колено в крови, что, благодаря им, даже наиболее разумные и пристойные революционеры, приходящие в негодование от обычного грабежа, воровства, убийства, отлично понимающие, что надо вязать, тащить в полицию босяка, который схватил за горло прохожего в обычное время, от восторга захлебываются перед этим босяком, если он делает то же самое во время, называемое революционным, хотя ведь всегда имеет босяк полнейшее право сказать, что он осуществляет "гнев низов, жертв социальной несправедливости".

– Когда дописывал предыдущие слова – стук в парадную дверь, через секунду превратившийся в бешеный. Отворил – опять комиссар и толпа

товарищей и красноармейцев. С поспешной грубостью требуют выдать лишние матрацы. Сказал, что лишних нет, – вошли, посмотрели и ушли. И опять омертвение головы, опять сердцебиение, дрожь в отвалившихся от бешенства, от обиды руках и ногах.

Внезапная музыка во дворе – бродячая немецкая гармония, еврей в шляпе и женщина. Играют польку, – и как все странно, некстати теперь!

День солнечный, почти такой же холодный, как вчера. Облака, но небо синее, дерево во дворе уже густое, темно-зеленое, яркое.

Во дворе, когда отбирали матрацы, кухарки кричали (про нас): "Ничего, ничего, хорошо, пускай поспят на дранках, на досках!"

Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: "За сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки…"

Вышел с Катаевым, чтобы пройтись, и вдруг на минуту всем существом почувствовал очарование весны, чего в нынешнем году (в первый раз в жизни) не чувствовал совсем. Почувствовал, кроме того, какое-то внезапное расширение зрения, – и телесного, и духовного, – необыкновенную силу и ясность его. Необыкновенно коротка показалась Дерибасовская, необыкновенно близки самые дальние здания, замыкающие ее, а потом Екатерининская, закутанный тряпками памятник, дом Левашова, где теперь чрезвычайка, и море – маленькое, плоское, все как на ладони. И с какой-то живостью, ясностью, с какой-то отрешенностью, в которой уже не было ни скорби, ни ужаса, а было только какое-то веселое отчаяние, вдруг осознал уж как будто совсем до конца все, что творится в Одессе и во всей России.

Когда выходил из дома, слышал, как дворник говорил кому-то:

– А эти коммунисты, какие постели ограбляют, одна последняя сволочь. Его самогоном надуют, дадут папирос, – он отца родного угробит!

Все так, но есть несомненно и помешательство. И все, что видел по пути, удивительно подтверждало это. И особенно то, на что (как нарочно) наткнулся на Пушкинской: от вокзала, навстречу мне, промчался бешеный автомобиль и в нем, среди кучи товарищей, совершенно бешеный студент с винтовкой в руках: весь полет, расширенные глаза дико воззрились вперед, худ смертельно, черты лица до неправдоподобности тонки, остры, за плечами треплются концы красного башлыка… Вообще, студентов видишь нередко: спешит куда-то, весь растерзан, в грязной ночной рубахе под старой распахнувшейся шинелью, на лохматой голове слинявший картуз, на ногах сбитые башмаки, на плече висит вниз дулом винтовка на веревке… Впрочем, черт его знает – студент ли он на самом деле.

Да хорошо и все прочее. Случается, что, например, выходит из ворот бывшей Крымской гостиницы (против чрезвычайки) отряд солдат, а по мосту идут женщины: тогда весь отряд вдруг останавливается – и с хохотом мочится, оборотясь к ним. А этот громадный плакат на чрезвычайке? Нарисованы ступени, на верхней – трон, от трона текут потоки крови. Подпись: Мы кровью народной залитые троны Кровью наших врагов обагрим!

А на площади, возле Думы, еще и до сих пор бьют в глаза проклятым красным цветом первомайские трибуны. А дальше высится нечто непостижимое по своей гнусности, загадочности и сложности, – нечто сбитое из досок, очевидно, по какому-то футуристическому рисунку и всячески размалеванное, целый дом какой-то, суживающийся кверху, с какими-то сквозными воротами. А по Дерибасовской опять плакаты: два рабочих крутят пресс, а под прессом лежит раздавленный буржуй, изо рта которого и из зада лентами лезут золотые монеты. А толпа? Какая, прежде всего, грязь! Сколько старых, донельзя запакощенных солдатских шинелей, сколько порыжевших обмоток на ногах и сальных картузов, которыми точно улицу подметали, на вшивых головах! И какой ужас берет, как подумаешь, сколько теперь народу ходит в одежде, содранной с убитых, с трупов!

А в красноармейцах главное – распущенность. В зубах папироска, глаза мутные, наглые, картуз на затылок, на лоб падает "шевелюр". Одеты в какую-то сборную рвань. Иногда мундир 70-х годов, иногда, ни с того ни с сего, красные рейтузы и при этом пехотная шинель и громадная старозаветная сабля.

Часовые сидят у входов реквизированных домов в креслах в самых изломанных позах. Иногда сидит просто босяк, на поясе браунинг, с одного боку висит немецкий тесак, с другого кинжал.

Чтобы топить водопровод, эти "строители новой жизни" распорядились ломать знаменитую одесскую эстакаду, тот многоверстный деревянный канал в порту, по которому шла ссыпка хлеба. И сами же жалуются в "Известиях": "Эстакаду растаскивает кто попало!" Рубят, обрубают на топку и деревья – уже на многих улицах торчат в два ряда голые стволы. Красноармейцы, чтобы ставить самовары, отламывают от винтовок и колют на щепки приклады.

Возвратись домой, пересмотрел давно валяющуюся у меня лубочную книжечку: "Библиотека трудового народа. Песни народного гнева. Одесса, 1917 г." Да, это и тут есть:

Кровью народной залитые троны
Мы кровью наших врагов обагрим,
Месть беспощадная всем супостатам,
Смерть паразитам трудящихся масс!

Есть "Рабочая Марсельеза", "Варшавянка", "Интернационал", "Народовольческий гимн", "Красное знамя"… И все злобно, кроваво донельзя, лживо до тошноты, плоско, убого до невероятия:

– Мы пошлем всем злодеям проклятье,
На борьбу всех борцов позовем…

– Вихри враждебные веют над нами…
Но мы поднимем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело…

– Мы в плуги меч перекуем
И новой жизнью заживем…

Боже мой, что это вообще было! Какое страшное противоестественное дело делалось над целыми поколениями мальчиков и девочек, долбивших Иванюкова и Маркса, возившихся с тайными типографиями, со сборами на "красный крест" и с "литературой", бесстыдно притворявшихся, что они умирают от любви к Пахомам и к Сидорам, и поминутно разжигавших в себе ненависть к помещику, к фабриканту, к обывателю, ко всем этим "кровопийцам, паукам, угнетателям, деспотам, сатрапам, мещанам, обскурантам, рыцарям тьмы и насилия"!

– Да, повальное сумасшествие. Что в голове у народа? На днях шел по Елизаветинской. Сидят часовые возле подъезда реквизированного дома, играют затворами винтовок и один говорит другому:

– А Петербург весь под стекленным потолком будет… Так что ни снег ни дождь, ни что…

– Недавно встретил на улице проф. Щепкина, "комиссара народного просвещения". Движется медленно, с идиотической тупостью глядя вперед. На плечах насквозь пропыленная тальма с громадным сальным пятном на

спине. Шляпа тоже такая, что смотреть тошно. Грязнейший бумажный воротничок, подпирающий сзади целый вулкан, гнойный фурункул, и толстый старый галстук, выкрашенный красной масляной краской.

Рассказывают, что Фельдман говорил речь каким-то крестьянским "депутатам":

– Товарищи, скоро во всем свете будет власть советов!

И вдруг голос из толпы депутатов:

– Сего не буде!

Фельдман яростно:

– Это почему?

– Жидив не хвате!

Ничего, не беспокойтесь: хватит Щепкиных.

26 апреля.

Проснулся в шесть, от сердцебиения.

Идя за газетами, слышал проклятия какой-то бабы: в корзине у нее небольшая рыба – 80 рублей!

В газетах из Москвы: погрузка дров на всех ж.-д. упала на 50 процентов… Наркомпрос решил реставрировать памятники искусства… Индия охвачена большевизмом…

"Известия" завели почтовый ящик:

– Гражданину Губерману. Так война с колчаковской и деникинской сволочью, по-вашему, братоубийственная?

– Товарищу А. Хвалы России, хотя бы и советской, не имеют ничего общего с марксистским подходом к вопросу.

– Гражданке Гликман. Вы все еще не уяснили себе, что тот строй, при котором за деньги можно иметь все, но без денег погибать с голоду, навсегда отжил свой век?

Ходили на Николаевский бульвар. Весенние белые облака, огромная и ясная картина – пустой рейд, прелестные краски дальних берегов, крепкая синяя зыбь моря… Встретили Осиповича и Юшкевича. Опять все то же: делают безразличное лицо и быстро, вполголоса: "Тирасполь взят немцами и румынами, – теперь это уже факт. Взят и Петербург…"

В три часа вошла с испуганным лицом Анюта:

– Правда, что немцы входят в Одессу? Весь народ говорит, будто всю Одессу окружили. Они сами завели большевиков, теперь им приказали их уничтожить, и за это на 15 лет отдают им нас. Вот бы хорошо!

Что такое? Вероятно, дикий вздор, но все-таки взволновался до дрожи и холода рук. Чтобы успокоиться, стал читать рукопись Овсянико-

Куликовского, его воспоминания о Драгоманове, Зибере, П. Лаврове. Все дивные люди, как всегда у Куликовского. Пишет: "Творец из лучшего эфира создал живые души их…" О Господи! И это на старости лет!

Потом читал Ренана. "Lhomme fut des milliers dannees un fou, apres avoir ete des milliers dannees un animal".

27 апреля.

"Известия": "Контрреволюционеры сидят и думают великую думу, как бы запутать пролетариев коммунистов… узкие лбы их покрылись морщинами, рты раскрылись, из-под толстых отвислых губ этих Федул Федулычей желтеют зубы… комики, ей-Богу, или просто жулье кабацкое, шантажное…"

В "Голосе Красноармейца" жирно:

"Тов. Подвойский отдал приказ о наступлении на Румынию… Румынские разбойники с своим кровавым королем схватили за горло молодую советскую республику Венгрии, чтобы потушить революцию, охватившую всю Европу".

Резолюция из Вознесенска:

"Мы, красноармейцы – вознесенцы, борясь за освобождение всего мира, протестуем против наглого антисемитизма!"

В Киеве "приступлено к уничтожению памятника Александра Второго". Знакомое занятие. Ведь еще с марта 17 года начали сдирать орлы, гербы…

Опять слух, что Петербург взят, Будапешт тоже. Для слухов выработались уже трафаретные приемы: "Приехал один знакомый моего знакомого…"

– Огромная новость. Пришли взволнованные Радецкий и Койранский.

– На Одессу идет Григорьев!

– Какой Григорьев?

– Тот самый, что прогнал союзников из Одессы. Теперь соединился с Махно и бьет большевиков. А на Киев идет Зеленый. "Бей жидов и коммунистов, за веру и отечество!" Я сам, так сказать, жид, но пусть хоть сам дьявол придет. Мне вчера С. говорит, что он демократ, что он против всяких интервенций, вмешательств. А я ему: а что бы вы сказали против них, если бы шел всероссийский еврейский погром?

28 апреля.

Так и есть!

"Во избежание циркулирующих в городе слухов, штаб третьей

украинской советской армии объявляет, что атаман Григорьев, собрав кучку приверженцев, провозгласил себя гетманом и объявил войну советскому правительству…"

Затем приказ Антонова-Овсеенко:

"Белогвардейская сволочь стремится расстроить красную силу, натравить ее на мирное население… Подлый предатель родины, подлый слуга врагов наших Каин должен быть уничтожен, как бешеная собака… раздавлен и вбит, как черви, а землю, которую он опоганил…"

Затем воззвание членов военно-революционного совета:

"Всем, всем, всем! Дети трудового народа социалистической Украины! Авантюрист, пьяница, прислужник своры старого режима, попов и помещиков, маменькиных сынков, Григорьев, открыл свою настоящую личину, окружил себя стаей черных воронов с засаленными рожами… Проповедует о том, якобы большевики желают запречь в коммуну… меж тем как коммунисты никого не заставляют вступать, а только разъясняют, как всякий тоже знает, что не дело большевиков распинать Христа, который учил тому же и, будучи Спаситель, восстал против богачей… Такая нелепая провокация, сочиненная в пьяном виде, конечно, не могла подействовать… Ура, долой авантюриста, который вздумал выкупаться в крови проголодавшихся рабочих… Мы должны изловить сутенеров и предателей и предать их в руки рабочих и крестьян…" Подписано так: "Товарищи Дятко, Голубенко, Щаденко". – Это вроде того, как если бы я подписался: господин Бунин.

Вообще утро большого волнения. Был Юшкевич. Очень боится еврейского погрома. Юдофобство в городе лютое.

Да, еще, – "из местной жизни": "Вчера по постановлению военно-революционного трибунала расстреляно 18 контрреволюционеров".

Паника и отчаянные зверства. "Вся буржуазия берется на учет". Как это понимать?

– Выходил на закате, встретил Розенталя, говорит, на Соборной площади кто-то бросил бомбу. Прошел с ним, зашел к Л. Там из окон весенний розовый запад среди бледно – синих туч. Потом, уже в сумерках, на Дерибасовской. На одной стороне очень много народа, на другой пусто, злые крики солдат: "Товарищи, на другую сторону!" Бешено промчалось несколько автомобилей, тревожный рожок кареты скорой помощи, пронеслись два верховых, а за ними с лаем собака… Дальше совсем не пускают.

Фома сообщил, что послезавтра будет "чистое светопредставление": "День мирного восстания", грабеж всех буржуев поголовно.

30 апреля.

Ужасное утро! Пошел к Д., он в двух штанах, в двух рубашках, говорит, что "день мирного восстания" уже начался грабеж уже идет; боится, что отнимут вторую пару штанов.

Вышли вместе. По Дерибасовской несется отряд всадников, среди них автомобиль, с воем, переходящим в самую высокую ноту. Встретили Овсянико-Куликовского. Говорит: "Душу раздирающие слухи, всю ночь шли расстрелы, сейчас грабят".

– Три часа. Опять ходил в город: "день мирного восстания" внезапно отменен. Будто бы рабочие восстали. Начали было грабить и их, а у них самих куча награбленного. Встречали выстрелами, кипятком, каменьями.

Ужасная гроза, град, ливень, отстаивался под воротами. С ревом неслись грузовики, полные товарищей с винтовками. Под ворота вошли два солдата. Один большой, гнутый, картуз на затылок, лопает колбасу, отрывая куски прямо зубами, а левой рукой похлопывает себя ниже живота:

– Вот она, моя коммуна-то! Я так прямо и сказал ему: не кричите, ваше иерусалимское благородие, она у меня под пузом висит…

1 мая.

Очень встревожены, и не только в Одессе, но и в Киеве, и в самой Москве. Дошло дело даже до воззвания "Чрезвычайного уполномоченного совета обороны Л. Каменева: Всем, всем, всем! Еще одно усилие и рабоче-крестьянская власть завоюет мир. В этот момент предатель Григорьев хочет всадить рабоче-крестьянской власти нож в спину…"

Приходил "комиссар" дома проверять, сколько мне лет, всех буржуев хотят гнать в "тыловое ополчение".

Весь день холодный дождь. Вечером зашел к С. Юшкевичу: устраивается при каком-то "военном отделе" театр для товарищей, и он, боясь входить единолично в совет этого театра, втягивает в него и меня. Сумасшедший! Возвращался под дождем, по темному и мрачному городу. Кое-где девки, мальчишки красноармейцы, хохот, щелканье орехов…

2 мая.

Еврейский погром на Большом Фонтане, учиненный одесскими красноармейцами.

Были Овсянико-Куликовский и писатель Кипен. Рассказывали подробности. На Б. Фонтане убито 14 комиссаров и человек 30 простых евреев. Разгромлено много лавочек. Врывались ночью, стаскивали с

кроватей и убивали кого попало. Люди бежали в степь, бросались в море, а за ними гонялись и стреляли, – шла настоящая охота. Кипен спасся случайно, – ночевал, по счастью, не дома, а в санатории "Белый цветок". На рассвете туда нагрянул отряд красноармейцев. – "Есть тут жиды?" – спрашивают у сторожа. – "Нет, нету". – "Побожись!" – Сторож побожился, и красноармейцы поехали дальше.

Убит Моисей Гутман, биндюжник, прошлой осенью перевозивший нас с дачи, очень милый человек.

– Был возле Думы. Очень холодно, серо, пустое море, мертвый порт, далеко на рейде французский миноносец, очень маленький на вид, какой-то жалкий в своем одиночестве, в своей нелепости, – черт знает, зачем французы шатаются сюда, чего выжидают, что затевают? Возле пушки кучка народа, одни возмущались "днем мирного восстания", другие горячо, нагло поучали и распекали их.

Шел и думал, вернее, чувствовал: если бы теперь и удалось вырваться куда-нибудь, в Италию, например, во Францию, везде было бы противно, – опротивел человек! Жизнь заставила так остро почувствовать, так остро и внимательно разглядеть его, его душу, его мерзкое тело. Что наши прежние глаза, – как мало они видели, даже мои!

Сейчас на дворе ночь, темь, льет дождь, нигде ни души. Вся Херсонщина в осадном положении, выходить, как стемнеет, не смеем. Пишу, сидя как будто в каком-то сказочном подземелье: вся комната дрожит сумраком и вонючей копотью ночника. А на столе новое воззвание: "Товарищи, образумьтесь! Мы несем вам истинный свет социализма! Покиньте пьяные банды, окончательно победите паразитов! Бросьте душителя народных масс, бывшего акцизного чиновника Григорьева! Он страдает запоем и имеет дом в Елизаветграде!"

3 мая.

Борешься с этим, стараешься выйти из этого напряжения, нетерпеливого ожидания хоть какой-нибудь развязки – и никак не можешь. Особенно ужасна жажда, чтобы как можно скорее летели дни.

Резолюция полка имени какого-то Старостина:

"Заявляем, что все как один пойдем в бой против нового некоронованного палача Григорьева, который снова желает, подобно пауку, сосать для пьянства и разгула все наши силы!"

Арестован одесский комитет "Русского народно-государственного союза" (16 человек, среди них какой-то профессор) и вчера ночью весь расстрелян, "ввиду явной активной действительности, угрожающей

мирному спокойствию населения".

О спокойствии населения, видите ли, заботятся!

Были у Варшавских. Возвращались по темному городу; в улицах, полных сумраком, не так, как днем или при свете, а гораздо явственнее сыплется стук шагов.

4 мая.

Погода улучшается. Двор под синим небом, с праздничной весенней зеленью деревьев, с ярко белеющей за ней стеной дома, испещренной пятнами тени. Въехал во двор красноармеец, привязал к дереву своего жеребца, черного, с волнистым хвостом до земли, с полосами блеска на крупе, на плечах – стало еще лучше. Евгений играет в столовой на пианино. Боже мой, как больно!

Были у В. А. Розенберга. Служит в кооперативе, живет в одной комнате вместе с женой; пили жидкий чай с мелким сорным изюмом, при жалкой лампочке… Вот тебе и редактор, хозяин "Русских Ведомостей"! Со страстью говорил "об ужасах царской цензуры".

5 мая.

Видел себя во сне в море, бледно-молочной, голубой ночью, видел бледно-розовые огни какого-то парохода и говорил себе, что надо запомнить, что они бледно-розовые. К чему теперь все это?

Аншлаг "Голоса Красноармейца":

"Смерть погромщикам! Враги народа хотят потопить революцию в еврейской крови, хотят, чтобы господа жили в писаных хоромах, а мужики в хлеву, на гнойниках с коровами, гнули свои спинушки для дармоедов-лежебоков…"

Во дворе у нас женится милиционер. Венчаться поехал в карете. Для пира привезли 40 бутылок вина, а вино еще месяца два тому назад стоило за бутылку рублей 25. Сколько же оно стоит теперь, когда оно запрещено и его можно доставать только тайком?

Статья Подвойского в киевских "Известиях": "Если черным шакалам, слетевшимся в Румынии, удастся выполнить свои замыслы, то решится судьба мировой революции… Черная банда негодяев… Хищные когти румынского короля и помещиков…" Затем призыв Раковского, где, между прочим, есть такое место: "К сожалению, украинская деревня осталась такой же, какой ее описывал Гоголь – невежественной, антисемитской, безграмотной… Среди комиссаров взяточничество, поборы, пьянство, нарушение на каждом шагу всех основ права… Советские работники

выигрывают и проигрывают в карты тысячи, пьянством поддерживают винокурение…"

А вот новое произведение Горького, его речь, сказанная им на днях в Москве на съезде Третьего Интернационала. Заглавие: "День великой лжи". Содержание:

"Вчера был день великой лжи. Последний день ее власти.

Издревле, точно пауки, люди заботливо плели крепкую паутину осторожной мещанской жизни, все более пропитывая ее ложью и жадностью. Незыблемой истиной считалась циничная ложь: человек должен питаться плотью и кровью ближнего.

И вот вчера дошли по этому пути до безумия общеевропейской войны, кошмарное зарево ее сразу осветило всю безобразную наготу древней лжи.

Силою взрыва терпения народов изгнившая жизнь разрушена и ее уже нельзя восстановить в старых формах.

Слишком светел день сегодня, и оттого так густы тени!

Сегодня началась великая работа освобождения людей из крепкой, железной паутины прошлого, работа страшная и трудная, как родовые муки…

Случилось так, что впереди народов идут на решительный бой русские люди. Еще вчера весь мир считал их полудикарями, а сегодня они идут к победе или на смерть пламенно и мужественно, как старые, привычные бойцы.

То, что творится сейчас на Руси, должно быть понято, как гигантская попытка претворить в жизнь, в дело великие идеи и слова, сказанные учителями человечества, мудрецами Европы.

И если честные русские революционеры, окруженные врагами, измученные голодом, будут побеждены, то последствия этого страшного несчастья тяжко лягут на плечи всех революционеров Европы, всего ее рабочего класса.

Но честное сердце не колеблется, честная мысль чужда соблазну уступок, честная рука не устанет работать – русский рабочий верит, что его братья в Европе не дадут задушить Россию, не позволят воскреснуть всему, что издыхает, исчезает – и исчезнет!"

А вот вырезка из горьковской "Новой Жизни" от 6 февраля прошлого года:

"Перед нами компания авантюристов, которые, ради собственных интересов, ради промедления еще нескольких недель агонии своего гибнущего самодержавия, готовы на самое постыдное предательство интересов социализма, интересов российского пролетариата, именем

которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых!"

Только тем и живем, что тайком собираем и передаем друг другу вести. Для нас главный притон этой контрразведки на Херсонской улице, у Ш. Туда приносят сообщения, получаемые Бупом (бюро украинской печати). Вчера в Бупе будто бы была шифрованная телеграмма: Петербург взят англичанами. Григорьев окружает Одессу, издал Универсал, которым признает советы, но такие, чтобы "те, что распяли Христа, давали не более четырех процентов". Сообщение с Киевом будто бы совершенно прервано, так как мужики, тысячами идущие за лозунгами Григорьева, на десятки верст разрушают железную дорогу.

Плохо верю в их "идейность". Вероятно, впоследствии это будет рассматриваться как "борьба народа с большевиками" и ставиться на один уровень с добровольчеством. Ужасно. Конечно, коммунизм, социализм для мужиков, как для коровы седло, приводит их в бешенство. А все-таки дело заключается больше всего в "воровском шатании", столь излюбленном Русью с незапамятных времен, в охоте к разбойничьей вольной жизни, которой снова охвачены теперь сотни тысяч отбившихся, отвыкших от дому, от работы и всячески развращенных людей. Чуть не десять лет тому назад поставил я эпиграфом к своим рассказам о народе, об его душе слова Ив. Аксакова: "Не прошла еще древняя Русь!" Правильно поставил. Ключевский отмечает чрезвычайную "повторяемость" русской истории. К великому несчастию, на эту "повторяемость" никто и ухом не вел. "Освободительное движение" творилось с легкомыслием изумительным, с непременным, обязательным оптимизмом, коему оттенки полагались разные: для "борцов" и реалистической народнической литературы один, для прочих – другой, с некоей мистикой. И все "надевали лавровые венки на вшивые головы", по выражению Достоевского. И тысячу раз прав был Герцен:

"Мы глубоко распались с существующим… Мы блажим, не хотим знать действительности, мы постоянно раздражаем себя мечтами… Мы терпим наказание людей, выходящих из современности страны… Беда наша в расторжении жизни теоретической и практической…"

Впрочем, многим было (и есть) просто невыгодно не распадаться с существующим. И "молодежь" и "вшивые головы" нужны были, как пушечное мясо. Кадили молодежи, благо она горяча, кадили мужику, благо он темен и "шаток". Разве многие не знали, что революция есть только кровавая игра в перемену местами, всегда кончающаяся только тем, что народ, даже если ему и удалось некоторое время посидеть, попировать и побушевать на господском месте, всегда в конце концов попадает из огня да

в полымя? Главарями наиболее умными и хитрыми вполне сознательно приготовлена была издевательская вывеска: "Свобода, братство, равенство, социализм, коммунизм!" И вывеска эта еще долго будет висеть – пока совсем крепко не усядутся они на шею народа. Конечно, тысячи мальчиков и девочек кричали довольно простодушно:

За народ, народ, народ,
За святой девиз вперед!

Конечно, большинство выводило басами довольно бессмысленно:

И утес великан
Все, что думал Степан,
Все тому смельчаку перескажет…

"Ведь что ж было? – говорит Достоевский. – Была самая невинная, милая либеральная болтовня… Нас пленял не социализм, а чувствительная сторона социализма…" Но ведь было и подполье, а в этом подполье кое-кто отлично знал, к чему именно он направляет свои стопы, и некоторые, весьма для него удобные, свойства русского народа. И Степану цену знал.

"Среди духовной тьмы молодого, неуравновешенного народа, как всюду недовольного, особенно легко возникали смуты, колебания, шаткость… И вот они опять возникли в огромном размере… Дух материальности, неосмысленной воли, грубого своекорыстия повеял гибелью на Русь… У добрых отнялись руки, у злых развязались на всякое зло… Толпы отверженников, подонков общества потянулись на опустошение своего же дома под знаменами разноплеменных вожаков, самозванцев, лжецарей, атаманов из вырожденцев, преступников, честолюбцев…"

Это – из Соловьева, о Смутном времени. А вот из Костомарова, о Стеньке Разине:

"Народ пошел за Стенькой обманываемый, разжигаемый, многого не понимая толком… Были посулы, привады, а уж возле них всегда капкан… Поднялись все азиатцы, все язычество, зыряне, мордва, чуваши, черемисы, башкиры, которые бунтовались и резались, сами не зная за что… Шли "прелестные письма" Стеньки – "иду на бояр, приказных и всякую власть, учиню равенство…". Дозволен был полный грабеж… Стенька, его

присные, его воинство были пьяны от вина и крови… возненавидели законы, общество, религию, все, что стесняло личные побуждения… дышали местью и завистью… составились из беглых воров, лентяев… Всей этой сволочи и черни Стенька обещал во всем полную волю, а на деле забрал в кабалу, в полное рабство, малейшее ослушание наказывал смертью истязательной, всех величал братьями, а все падали ниц перед ним…"

Не верится, чтобы Ленины не знали и не учитывали всего этого!

– "Красноармейская Звезда": "Величайший из мошенников и блюдолизов буржуазии, Вильсон, требует наступления на север России. Наш ответ: Лапы прочь! Как один человек, все мы пойдем доказать изумленному миру… Только лакеи душой останутся за бортом нашего якоря спасения…"

Радостные слухи – Николаев взят, Григорьев близко…

8 мая.

В "Одесском Коммунисте" целая поэма о Григорьеве:

Ночь. Устав, пан Гетман спит,
Спит и – видит «скверный» сон:
Перед ним с ружьем стоит
Пролетарий. Грозен он!

Жутко… Взгляд его горит,
И, немного погодя,
Пролетарий говорит,
В ужас «пана» приводя:

– Знай, изменник и подлец,
Руки вздумавший нагреть,
Желтый гетманский венец
Я не дам тебе надеть!

Ходил бриться, стоял от дождя под навесом на Екатерининской. Рядом со мной стоял и ел редьку один из тех, что "крепко держит в мозолистых руках красное знамя всемирной коммунистической революции", мужик Из-под Одессы, и жаловался, что хлеба хороши, да сеяли мало, боялись

большевиков: придут, сволочь, и заберут! Это "придут, сволочь, и заберут" он повторил раз двадцать. В конце Елизаветинской – человек сто солдат, выстроенных на панели, с ружьями, с пулеметами. Повернул на Херсонскую – там, на углу Преображенской, то же самое… В городе слухи: "Произошел переворот!" Просто тошнит от этой бесконечной брехни.

После обеда гуляли. Одесса надоела невыразимо, тоска просто пожирает меня. И никакими силами и никуда не выскочишь отсюда! По горизонтам стояли мрачные синие тучи. Из окон прекрасного дома возле чрезвычайки, против Екатерины, неслась какая-то дикая музыка, пляска, раздавался отчаянный крик пляшущего, которого точно резали: а-а! – крик пьяного дикаря. И все дома вокруг горят электричеством, все заняты.

Вечер. И свету не смей зажигать и выходить не смей! Ах, как ужасны эти вечера!

Из "Одесского Коммуниста":

"Очаковский гарнизон, приняв во внимание, что контрреволюция не спит, в связи с выступлением зазнавшегося пьяницы Григорьева, подняла свою голову до полного обнагления, пускает яд в сердце крестьянина и рабочего, натравливает нацию на нацию, а именно: пьяница Григорьев провозгласил лозунг: "Бей жидов, спасай Украину", что несет страшный вред Красной Армии и гибель социальной Революции! А посему мы постановили: послать проклятие пьянице Григорьеву и его друзьям националистам!"

И далее: "Обсудив вопрос о заключенных белогвардейцах, требуем немедленного расстрела таковых, ибо они продолжают проделывать свои темные делишки, проливают напрасно кровь, которой и так много пролито, благодаря капиталистам и их прихвостням!"

Рядом с этим стихи:

Коммунист – рабочий
Знает, сила в чем:
В нем любовь к работе
Бьет живым ключом…

Он не знает наций,
Хлещет черных сук.
Для организаций
Отдает досуг!

6 мая.

Иоанн, тамбовский мужик Иван, затворник и святой, живший так недавно, – в прошлом столетии, – молясь на икону Святителя Дмитрия Ростовского, славного и великого епископа, говорил ему:

– Митюшка, милый!

Был же Иоанн ростом высок и сутуловат, лицом смугл, со сквозной бородой, с длинными и редкими черными волосами. Сочинял простодушно-нежные стихи: Где пришел еси, молитву сотворяй, Без нее дверей не отворяй, Аще не видишь в дверях ключа, Воротись, друг мой, скорей, не стуча…

Куда девалось все это, что со всем этим сталось?

"Святейшее из званий", звание "человек", опозорено как никогда. Опозорен и русский человек, – и что бы это было бы, куда бы мы глаза девали, если бы не оказалось "ледяных походов"! Уж на что страшна старая русская летопись: беспрерывная крамола, ненасытное честолюбие, лютая "хотя" власти, обманные целования креста, бегство в Литву, в Крым "для подъема поганых на свой же собственный отчий дом", рабские послания друг к другу ("бью тебе челом до земли, верный холоп твой") с единственной целью одурачить, провести, злые и бесстыдные укоры от брата к брату… и все-таки иные, совсем не нынешние слова:

"Срам и позор тебе: хочешь оставить благословение отца своего, гробы родительские, святое отечество, правую веру в Господа нашего Иисуса Христа!"

9 мая.

Ночью тревожные сны с какими-то поездами и морями и очень красивыми пейзажами, оставляющими, однако, впечатление болезненное и печальное, – и напряженное ожидание чего-то. Потом огромная говорящая лошадь. Она говорила что-то похожее на мои стихи о Святогоре и Илье на каком-то древнем языке, и все это стало так страшно, что я проснулся и долго мысленно твердил эти стихи:

На гривастых конях на косматых,
На златых стременах, на разлатых,
Едут братья, меньшой и старшой,
Едут сутки, и двое, и трое,
Видят в поле корыто простое,
Наезжают – ан гроб да большой:
Гроб глубокий, из дуба долбленный,

С черной крышей, тяжелой, томленой,
Вот и сдвинул ее Святогор,
Лег, накрылся и шутит: "А впору!
Помоги-ка, Илья, Святогору
Снова выйти на Божий простор!"
Обнял крышу Илья, усмехнулся,
Во всю грузную печень надулся,
Двинул срыву… Да нет, погоди!
«Ты мечом!» – слышен голос из гроба,
Он за меч, – загорается злоба,
Занимается сердце в груди,
Нет, и меч не берет! С виду рубит,
Да не делает дела, а губит:
Где ударит – там обруч готов,
Нарастает железная скрепа:
Не подняться из гробного склепа
Святогору во веки веков!

Это писано мной в 16 году. Лезли мы в наше гробное корыто весело, пошучивая…

– В газетах опять: "Смерть пьянице Григорьеву!" – и дальше гораздо серьезнее: "Не время словам! Речь теперь идет уже не о диктатуре пролетариата, не о строительстве социализма, но уж о самых элементарных завоеваниях Октября… Крестьяне заявляют, что до последней капли будут биться за мировую революцию, но, с другой стороны, стало известно об их нападениях на советские поезда и об убийствах топорами и вилами лучших наших товарищей…"

Напечатан новый список расстрелянных – "в порядке проведения в жизнь красного террора" – и затем статейка:

"Весело и радостно в клубе имени товарища Троцкого. Большой зал бывшего Гарнизонного Собрания, где раньше ютилась свора генералов, сейчас переполнен красноармейцами. Особенно удачен был последний концерт. Сначала исполнен был "Интернационал", затем товарищ Кронкарди, вызывая интерес и удовольствие слушателей, подражал лаю собаки, визгу цыпленка, пению соловья и других животных, вплоть до пресловутой свиньи…"

"Визг" цыпленка и "пение соловья и прочих животных" – которые, оказывается, тоже все "вплоть" до свиньи поют, – этого, думаю, сам дьявол

не сочинил бы. Почему только свинья "пресловутая" и перед подражанием ей исполняют "Интернационал"?

Конечно, вполне "заборная литература". Но ведь этим "забором", таким свинским и интернациональным, делается чуть не вся Россия, чуть не вся русская жизнь, чуть не все русское слово, и возможно ли будет когда-нибудь из-под этого забора выбраться? А потом – ведь эта заборная литература есть кровная родня чуть не всей "новой" русской литературе. Ведь уже давно стали печататься – и не где-нибудь, а в "толстых" журналах – такие, например, вещи:

Уж все цветы в саду поспели…
Тот лен, из какого веревку сплели…
Иду и колосья пшена разбираю…
Вы об этой женщине не тужьте…
А в этот час не хорошо везде ль?
Царевну не надо в покои пустить…
Я б описал, но хватит слов ли?

Распад, разрушение слова, его сокровенного смысла, звука и веса идет в литературе уже давно.

– Вы домой? – говорю как-то писателю Осиповичу, прощаясь с ним на улице. Он отвечает:

– Отнюдь!

Как я ему растолкую, что так по-русски не говорят?

Не понимает, не чует:

– А как же надо сказать? по-вашему, отнюдь нет? Но какая разница?

Разницы он не понимает. Ему, конечно, простительно, он одессит. Простительно еще и потому, что в конце концов он скромно сознается в этом и обещает запомнить, что надо говорить "отнюдь нет". А какое невероятное количество теперь в литературе самоуверенных наглецов, мнящих себя страшными знатоками слова! Сколько поклонников старинного ("ядерного и сочного") народного языка, словечка в простоте не говорящих, изнуряющих своей архирусскостью!

Последнее (после всех интернациональных "исканий", то есть каких-то младотурецких подражаний всем западным образцам) начинает входить в большую моду. Сколько стихотворцев и прозаиков делают тошнотворным русский язык, беря драгоценные народные сказания, сказки, "словеса золотые" и бесстыдно выдавая их за свои, оскверняя их пересказом на свой

лад и своими прибавками, роясь в областных словарях и составляя по ним какую-то похабнейшую в своем архируссизме смесь, на которой никто и никогда на Руси не говорил и которую даже читать невозможно! Как носились в московских и петербургских салонах с разными Клюевыми и Есенинными, даже и одевавшимися под странников и добрых молодцев, распевавших в нос о "свечечках", и "речечках" или прикидывавшихся "разудалыми головушками"!

Язык ломается, болеет и в народе. Спрашиваю однажды мужика, чем он кормит свою собаку. Отвечает:

– Как чем? Да ничем, ест, что попало: она у меня собака съедобная.

Все это всегда бывало и народный организм все это преодолел бы в другое время. А вот преодолеет ли теперь?

10 мая.

"Колчак потерял Белебей и засекает крестьян насмерть… С Колчаком едет Михаил Романов… едет на старой тройке: самодержавие, православие, народность… несет еврейские погромы, водку… Колчак поступил на службу к международным хищникам… чтобы под хладнокровной, раскормленной рукой Ллойд-Джорджа билась в судорогах истощенная страна… Колчак ждет, когда сумеет пить кровь рабочих…"

Рядом брань и угрозы по адресу левых эсеров: "Эти писаки зарываются и порой пускаются в пляску… мажут свою физиономию, но на физиономии, как они ни чистятся, все же есть кулацкие веснушки…"

Помимо крестьян, "засекаемых" Колчаком, страшно беспокоятся и о немцах: "Гнусная комедия в Версале закончена, но даже шейдемановцы заявляют, что условия союзных живодеров, буржуазных акул, совершенно неприемлемы…"

Ходили на Гимназическую. Почти всю дорогу дождь, весенний, прелестный, с чудесным весенним небом среди тучек. А я два раза был близок к обмороку. Надо бросить эти записи. Записывая, еще больше растравляю себе сердце.

И опять слухи – теперь уже о десяти транспортах с "цветочными" (то есть, говоря по-русски, цветными) войсками, будто бы идущими выручать нас.

О Подвойском, от человека, близко знающего его: "Тупой бурсак, свиные глазки, длинный нос, маньяк дисциплины…"

11мая.

Призывы в чисто русском духе:

– Вперед, родные, не считайте трупы!

Из вестей о "разгроме" Григорьева можно убедиться только в одном – что григорьевщиной охвачена почти вся Малороссия.

Вчера говорили, что в Одессу приехал "сам" Троцкий. Но, оказывается, он в Киеве. "Прибытие вождя окрылило всех рабочих и крестьян Украины… Вождь произнес длинную речь от имени народных миллионов в дни, когда разбит позвоночник буржуазной уверенности, когда мы слышим в ее голосе трещину… Говорил к народу с балкона…"

Как раз читаю Ленотра. Сен-Жюст, Робеспьер, Кутон… Ленин, Троцкий, Дзержинский… Кто подлее, кровожаднее, гаже? Конечно, все-таки московские. Но и парижские были неплохи.

Кутон, говорит Ленотр, Кутон – диктатор, ближайший сподвижник Робеспьера, лионский Аттила, законодатель и садист, палач, отправлявший на эшафот тысячи ни в чем не повинных душ, "страстный друг Народа и Добродетели", был, как известно, калека, колченогий. Но как, при каких обстоятельствах потерял он ноги? Оказывается, довольно постыдно. Он проводил ночь у своей любовницы, муж которой отсутствовал. Все шло прекрасно, как вдруг стук, шаги возвращающегося мужа. Кутон вскочил с постели, прыгнул в окно во двор – и угодил в выгребную яму. Просидев там до рассвета, он навсегда лишился ног, – отнялись на всю жизнь.

Говорят, в Николаеве идет еврейский погром. Очевидно, далеко не всех крестьян Украины "окрылило прибытие вождя".

Однако тон газет стал крепче, наглее. Давно ли писали, что "не дело большевиков распинать Христа, который, будучи Спаситель, восстал на богачей"? Теперь уже иные песни. Вот несколько строк из "Одесского Коммуниста":

"Слюни такого знаменитого волшебника, как Иисус Христос, должны иметь и соответственную волшебную силу. Многие, однако, не признавая чудес Христа, тем не менее продолжают миндальничать по поводу нравственного смысла его учения, доказывая, что "истины" Христа ни с чем не сравнимы по их нравственной ценности. Но, в сущности говоря, и это совершенно неверно и объясняется только незнанием истории и недостаточной глубиной развития".

12 мая.

Опять флаги, шествия, опять праздник, – "день солидарности пролетариата с красной армией". Много пьяных солдат, матросов, босяков…

Мимо нас несут покойника (не большевика). "Блаженни, иже избрал и

приял еси, Господи…" Истинно так. Блаженны мертвые.

Говорят, Троцкий таки приехал. "Встречали, как царя".

14 мая.

"Колчак с Михаилом Романовым несет водку и погромы…" А вот в Николаеве Колчака нет, в Елизаветграде тоже, а меж тем:

"В Николаеве зверский еврейский погром… Елизаветград от темных масс пострадал страшно. Убытки исчисляются миллионами. Магазины, частные квартиры, лавчонки и даже буфетики снесены до основания. Разгромлены советские склады. Много долгих лет понадобится Елизаветграду, чтобы оправиться!"

И дальше:

"Предводитель солдат, восставших в Одессе и ушедших из нее, громит Ананьев, – убитых свыше ста, магазины разграблены…"

"В Жмеринке идет еврейский погром, как и был, погром в Знаменке…"

Это называется, по Блокам, "народ объят музыкой революции – слушайте, слушайте музыку революции!"

Ночь на 15 мая.

Пересматривал свой "портфель", изорвал порядочно стихов, несколько начатых рассказов и теперь жалею. Все от горя, безнадежности (хотя и раньше случалось со мной это не раз). Прятал разные заметки о 17 и 18 годах.

Ах, эти ночные воровские прятания и перепрятывания бумаг, денег! Миллионы русских людей прошли через это растление, унижение за эти годы. И сколько потом будут находить кладов! И все наше время станет сказкою, легендой…

Лето 17 года. Сумерки, на улице возле избы кучка мужиков. Речь идет о "бабушке русской революции". Хозяин избы размеренно рассказывает: "Я про эту бабку давно слышу. Прозорливица, это правильно. За пятьдесят лет, говорят, все эти дела предсказала. Ну, только избавь Бог, до чего страшна: толстая, сердитая, глазки маленькие, пронзительные, – я ее портрет в фельетоне видел. Сорок два года в остроге на чепи держали, а уморить не могли, ни днем, ни ночью не отходили, а не устерегли: в остроге, и то ухитрилась миллион нажить! Теперь народ под свою власть скупает, землю сулит, на войну обешшает не брать. А мне какая корысть под нее идти? Земля эта мне без надобности, я ее лучше в аренду сниму, потому что навозить мне ее все равно нечем, а в солдаты меня и так не возьмут, года вышли…"

Кто-то, белеющий в сумраке рубашкой, "краса и гордость русской революции", как оказывается потом, дерзко вмешивается:

– У нас такого провокатора в пять минут арестовали бы и расстреляли!

Мужик возражает спокойно и твердо:

– А ты, хоть и матрос, а дурак. Я тебе в отцы гожусь, ты возле моей избы без порток бегал. Какой же ты комиссар, когда от тебя девкам проходу нету, среди белого дня под подол лезешь? Погоди, погоди, брат, – вот протрешь казенные портки, пропьешь наворованные деньжонки, опять в пастухи запросишься! Опять, брат, будешь мою свинью арестовывать. Это тебе не над господами измываться. Я-то тебя с твоим Жучковым не боюсь!

(Жучков – это Гучков.)

Сергей Климов, ни к селу ни к городу, прибавляет:

– Да его, Петроград-то, и так давно надо отдать. Там только одно разнообразие…

Девки визжат на выгоне:

Люби белых, кудреватых,
При серебряных часах…

Из-под горы идет толпа ребят с гармониями и балалайкой:

Мы ребята ежики,
В голенищах ножики,
Любим выпить, закусить,
В пьяном виде пофорсить…

Думаю: "Нет, большевики-то поумней будут господ Временного Правительства! Они недаром все наглеют и наглеют. Они знают свою публику".

На деревне возле избы сидит солдат дезертир, курит и напевает:

– Ночь темна, как две минуты…

Что за чушь? Что это значит – как две минуты?

– А как же? Я верно пою: как две минуты. Здесь делается ударение.

Сосед говорит:

– Ох, брат, вот придет немец, сделает он нам ударение!

– А мне один черт – под немца, так под немца!

В саду возле шалаша целое собрание. Караульщик, мужик бывалый и

изысканно красноречивый, передает слух, будто где-то возле Волги упала из облаков кобыла в двадцать верст длиною. Обращаясь ко мне:

– Вириятно, эрунда, барин?

Его приятель с упоением рассказывает свое "революционное" прошлое. Он в 1906 году сидел в остроге за кражу со взломом – и это его лучшее воспоминание, он об этом рассказывает постоянно, потому что в остроге было:

– Веселей всякой свадьбы и харчи отличные!

Он рассказывает:

– В тюрьме обнаковенно на верхнем этажу сидят политики, а во втором – помощники этим политикам. Они никого не боятся, эти политики, обкладывают матюком самого губернатора, а вечером песни поют, мы жертвою пали…

Одного из таких политиков царь приказал повесить и выписал из Синода самого грозного палача, но потом ему пришло помилование и к политикам приехал главный губернатор, третья лицо при царском дворце, только что сдавший экзамен на губернатора. Приехал – и давай гулять с политиками: налопался, послал урядника за граммофоном – и пошел у них ход: губернатор так напился, нажрался – нога за ногу не вяжет, так и снесли стражники в возок… Обешшал прислать всем по двадцать копеек денег, по полфунта табаку турецкого, по два фунта ситного хлеба, да, конечно, сбрехал…

15 мая.

Хожу, прислушиваюсь на улицах, в подворотнях, на базаре. Все дышут тяжкой злобой к "коммунии" и к евреям. А самые злые юдофобы среди рабочих в Ропите. Но какие подлецы! Им поминутно затыкают глотку какой-нибудь подачкой, поблажкой. И три четверти народа так: за подачки, за разрешение на разбой, грабеж отдает совесть, душу, Бога…

Шел через базар – вонь, грязь, нищета, хохлы и хохлушки чуть не десятого столетия, худые волы, допотопные телеги – и среди всего этого афиши, призывы на бой за третий интернационал. Конечно, чепухи всего этого не может не понимать самый паршивый, самый тупой из большевиков, Сами порой небось покатываются от хохота.

Из «Одесского Коммуниста»:

Зарежем штыками мы алчную гидру,
Тогда заживем веселей!

Если не так, то всплывут они скоро,
Оживут во мгновение ока,
Как паразит, начнет эта свора
Жить на счет нашего сока…

Грабят аптеки: все закрыты, "национализированы и учитываются". Не дай Бог захворать!

И среди всего этого, как в сумасшедшем доме, лежу и перечитываю "Пир Платона", поглядывая иногда вокруг себя недоумевающими и, конечно, тоже сумасшедшими глазами…

Вспомнил почему-то князя Кропоткина (знаменитого анархиста). Был у него в Москве. Совершенно очаровательный старичок высшего света – и вполне младенец, даже жутко.

Костюшко называли "защитником всех свобод". Это замечательно. Специалист, профессионал. Страшный тип.

16 мая.

Большевистские дела на Дону и за Волгой, сколько можно понять, плохи. Помоги нам Господи!

Прочитал биографию поэта Полежаева и очень взволновался – и больно, и грустно, и сладко (не по поводу Полежаева, конечно). Да, я последний, чувствующий это прошлое, время наших отцов и дедов…

Прошел дождик. Высоко в небе облако, проглядывает солнце, птицы сладко щебечут во дворе на ярких желто-зеленых акациях. Обрывки мыслей, воспоминаний о том, что, верно, уже вовеки не вернется… Вспомнил лесок Поганое, – глушь, березняк, трава и цветы по пояс, – и как бежал однажды над ним вот такой же дождик, и я дышал этой березовой и полевой, хлебной сладостью и всей, всей прелестью России…

Николая Филипповича выгнали из его имения (под Одессой). Недавно стали его гнать и с его одесской квартиры. Пошел в церковь, горячо молился, – был день его Ангела, – потом к большевикам, насчет квартиры – и там внезапно умер. Разрешили похоронить в имении. Все-таки лег на вечный покой в своем родном саду, среди всех своих близких. Пройдет сто лет – и почувствует ли хоть кто-нибудь тогда возле этой могилы его время? Нет, никто и никогда. И мое тоже. Да мне-то и не лежать со своими…

"Попов искал в университетском архиве дело о Полежаеве…" Какое было дело какому-то Попову до Полежаева? Все из жажды очернить Николая I.

Усмирение мюридов, Кази-муллы. Дед Кази был беглый русский солдат. Сам Кази был среднего роста, по лицу рябинки, бородка редкая, глаза светлые, пронзительные. Умертвил своего отца, влив ему в горло кипящего масла. Торговал водкой, потом объявил себя пророком, поднял священную войну… Сколько бунтарей, вождей вот именно из таких!

17 мая.

Белыми, будто бы, взяты Псков, Полоцк, Двинск, Витебск… Деникин будто бы взял Изюм, гонит большевиков нещадно… Что если правда?

Дезертирство у большевиков ужасное. В Москве пришлось даже завести "центрокомдезертир".

21 мая.

В Одессу прибыл Иоффе, – "чтобы заявить Антанте, что мы будем апеллировать к пролетариату всех стран… чтобы пригвоздить Антанту к позорному столбу…"

Насчет чего апеллировать?

Слышал об Иоффе:

– Это большой барин, большой любитель комфорта, вин, сигар, женщин. Богатый человек, – паровая мельница в Симферополе и автомобили Иоффе-Рабинович. Очень честолюбивый, – через каждые пять минут: "когда я был послом в Берлине…" Красавец, типичный знаменитый женский врач…

Рассказчик втайне восхищался.

23 мая.

В "Одесском Набате" просьба к знающим – сообщить об участи пропавших товарищей: Вали Злого, Миши Мрачного, Фурманчика и Муравчика… Потом некролог какого-то Яшеньки:

"И ты погиб, умер, прекрасный Яшенька… как пышный цветок, только что пустивший свои лепестки… как зимний луч солнца… возмущавшийся малейшей несправедливостью, восставший против угнетения, насилия, стал жертвой дикой орды, разрушающей все, что есть ценного в человечестве…

Спи спокойно, Яшенька, мы отомстим за тебя!"

Какой орды? За что и кому мстить? Там же сказано, что Яшенька – жертва "всемирного бича, венеризма".

На Дерибасовской новые картинки на стенах: матрос и красноармеец, казак и мужик крутят веревками отвратительную зеленую жабу с

выпученными буркалами – буржуя; подпись: "Ты давил нас толстой пузой"; огромный мужик взмахнул дубиной, а над ним взвила окровавленные, зубастые головы гидра; головы все в коронах; больше всех страшная, мертвая, скорбная, покорная, с синеватым лицом, в сбитой набок короне голова Николая II; Из-под короны течет полосами по щекам кровь… А коллегия при "Агитпросвете", – там служит уже много знакомых, говорящих, что она призвана облагородить искусства, – заседает, конструируется, кооптирует новых членов, – Осиповича, профессора Варнеке, – берет пайки хлебом с плесенью, тухлыми селедками, гнилыми картошками…

24 мая.

Выходил, дождя нет, тепло, но без солнца, мягкая и пышная зелень деревьев, радостная, праздничная. На столбах огромные афиши:

"В зале Пролеткульта грандиозный абитурбал. После спектакля призы: за маленькую ножку, за самые красивые глаза. Киоски в стиле модерн в пользу безработных спекулянтов, губки и ножки целовать в закрытом киоске, красный кабачок, шалости электричества, котильон, серпантин, два оркестра военной музыки, усиленная охрана, свет обеспечен, разъезд в шесть часов утра по старому времени. Хозяйка вечера – супруга командующего третьей советской армией, Клавдия Яковлевна Худякова".

Списал слово в слово. Воображаю эти "маленькие ножки", и что будут проделывать "товарищи", когда будет "шалить", то есть гаснуть электричество.

Разбираю и частью рву бумаги, вырезки из старых газет. Очень милые стишки по моему адресу в "Южном Рабочем" (меньшевистская газета, издававшаяся до прихода большевиков):

Испуган ты и с похвалой сумбурной
Согнулся вдруг холопски пред варягом…

Это по поводу моих стихов, напечатанных в "Одесском Листке" в декабре прошлого года, в день высадки в Одессе французов.

Какими националистами, патриотами становятся эти интернационалисты, когда это им надобно! И с каким высокомерием глумятся они над "испуганными интеллигентами", – точно решительно нет никаких причин пугаться, – или над "испуганными обывателями", точно у них есть какие-то великие преимущества перед "обывателями". Да и кто,

собственно, эти обыватели, "благополучные мещане"? И о ком и о чем заботятся, вообще, революционеры, если они так презирают среднего человека и его благополучие?

Нападите врасплох на любой старый дом, где десятки лет жила многочисленная семья, перебейте или возьмите в полон хозяев, домоправителей, слуг, захватите семейные архивы, начните их разбор и вообще розыски о жизни этой семьи, этого дома, – сколько откроется темного, греховного, неправедного, какую ужасную картину можно нарисовать и особенно при известном пристрастии, при желании опозорить во что бы то ни стало, всякое лыко поставить в строку!

Так врасплох, совершенно врасплох был захвачен и российский старый дом. И что же открылось? Истинно диву надо даваться, какие пустяки открылись! А ведь захватили этот дом как раз при том строе, из которого сделали истинно мировой жупел. Что открыли? Изумительно: ровно ничего!

25 мая.

"Прибытие в Одессу товарища Балабановой, секретаря III интернационала".

Чьи-то похороны с музыкой и знаменами: "За смерть одного революционера тысяча смертей буржуев!"

26 мая.

"Союз пекарей извещает о трагической смерти стойкого борца за царство социализма пекаря Матьяша…"

Некрологи, статьи:

"Ушел еще один… Не стало Матьяша… Стойкий, сильный, светлый… У гроба – знамена всех секций пекарей… Гроб утопает в цветах… День и ночь у гроба почетный караул…"

Достоевский говорит:

"Дай всем этим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново, то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое, бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями всего человечества, прежде чем будет завершено…"

Теперь эти строки кажутся уже слабыми.

27 мая.

Духов день. Тяжелое путешествие в Сергиевское училище, почти всю дорогу под дождевой мглой, в разбитых промокающих ботинках. Слабы и

от недоедания, – шли медленно, почти два часа. И, конечно, как я и ожидал, того, кого нам было надо видеть, – приехавшего из Москвы, – не застали дома. И такой же тяжкий путь и назад. Мертвый вокзал с перебитыми стеклами, рельсы уже рыжие от ржавчины, огромный грязный пустырь возле вокзала, где народ, визг, гогот, качели и карусели… И все время страх, что кто-нибудь остановит, даст по физиономии или облапит В. Шел, стиснув зубы, с твердым намерением, если это случится, схватить камень поувесистей и ахнуть по товарищескому черепу. Тащи потом куда хочешь!

Вернулись домой в три. Новости: "Уходят! Английский ультиматум – очистить город!"

Был Н. П. Кондаков. Говорил о той злобе, которой полон к нам народ и которую "сами же мы внедряли в него сто лет". Потом Овсянико-Куликовский. Потом А. Б. Азарт слухов: "Реквизируют сундуки, чемоданы и корзины, – бегут… Сообщение с Киевом совсем прервано… Взят Проскуров, Жмеринка, Славянск…" Но кем взят? Этого никто не знает.

Выкурил чуть не сто папирос, голова горит, руки ледяные.

Ночью.

Да, образовано уже давным-давно некое всемирное бюро по устроению человеческого счастия, "новой, прекрасной жизни". Оно работает вовсю, принимает заказы на все, буквально на все самые подлые и самые бесчеловечные низости. Вам нужны шпионы, предатели, растлители враждебной вам армии? Пожалуйте, – мы уже недурно доказали наши способности в этом деле. Вам угодно "провоцировать" что-нибудь? Сделайте милость, – более опытных мерзавцев по провокации вы нигде не найдете… И так далее, и так далее.

Какая чепуха! Был народ в 160 миллионов численностью, владевший шестой частью земного шара, и какой частью? – поистине сказочно – богатой и со сказочной быстротой процветавшей! – и вот этому народу сто лет долбили, что единственное его спасение – это отнять у тысячи помещиков те десятины, которые и так не по дням, а по часам таяли в их руках!

28 мая.

Часто недосыпаю, рано проснулся и нынче. С самого утра стали мучить слухи. Их было столько, что все в голове спуталось. У многих создалось такое впечатление, что вот-вот освобождение. Перед вечером выпуск "Известий": "Мы отдали Проскуров, Каменец, Славянск. Финны перешли границу, стреляют без причины по Кронштадту… Чичерин протестует… Домбровский арестован, ночью разоружали его части, и была

стрельба.

Домбровский – комендант Одессы. Бывший актер, содержал в Москве "Театр Миниатюр". У него были именины, пир шел горой. Было много гостей из чрезвычайки. Спьяну затеяли скандал, шла стрельба, драка.

29 мая.

Комендантом Одессы, вместо арестованного Домбровского, назначен студент Мизикевич. Затем: "В Румынии восстание… вся Турция охвачена революцией… Революция в Индии ширится…"

В полдень ходил стричься. Два мрачных товарища "приглашали" хозяйку взять билеты (по 75 руб. за билет) на какой-то концерт с такой скотской грубостью, так зычно и повелительно, что даже я, уж, кажется, ко всему привыкший, был поражен. Встретил Луи Ивановича (знакомого моряка):

"Завтра в двенадцать истекает срок ультиматума. Одесса будет взята французами". Глупо, но шел домой как пьяный.

31 мая.

"Доблестными советскими войсками взята Уфа, несколько тысяч пленных и двенадцать пулеметов… Энергично преследуется панически бегущий неприятель… Мы оставили Бердянск, Чертково, бьемся южнее Царицына". В Берлине нынче хоронят Розу. Поэтому в Одессе – день траура, запрещены все зрелища, рабочие работают только утром, в "Одесском Коммунисте" статья: "Шапки долой!"

Десяток яиц стоит уже 35 руб., масло 40, ибо мужиков, везущих продукты в город, грабят "бандиты". Взяты на учет кладбища. "Хорониться граждане отныне могут бесплатно". Часы переведены еще на час вперед – сейчас по моим десять утра, а "по-советски" половина второго дня.

Иоффе живет в вагоне на вокзале. Он здесь в качестве государственного ревизора. Многим одесским удивлен, возмущен, – "Одесса переусердствовала", – пожимает плечами, разводит руками, кое-что "смягчает"…

Статейка "Терновый венец": "Поплыл по рабочим липкий и жестокий слух: "Матьяша убили!" Гневно сжимались мозолистые руки и уже хрипло доносились крики: "Око за око! Мстить!""

Оказалось, однако, что Матьяш застрелился: "Не вынес кошмара обступившей его действительности… со всех сторон обступили его бандиты, воры, грабители, грязь, насилие… Следственная комиссия установила, что он сознал трудность работы среди бандитов, воров и

мошенников…" Оказалось кроме того – "легкое опьянение".

2 июня.

Сводка – заячьи следы. Одно проступает – успехи Деникина продолжаются.

После завтрака вышли. Дождь. Зашли под ворота дома, сошлись со Шмидтом, Полевицкой, Варшавским. Полевицкая опять о том, чтобы я написал мистерию, где бы ей была "роль" Богоматери "или вообще святой, что-нибудь вообще зовущее к христианству". Спрашиваю: "Зовущее кого? Этих зверей?" – "Да, а что же? Вот недавно сидит матрос в первом ряду, пудов двенадцать – и плачет…" И крокодилы, говорю, плачут…

После обеда опять выходили. Как всегда, камень на душе страшный. Опять эти стекловидно – розовые, точно со дна морского, звезды в вечернем воздухе – в Красном переулке, против театра "имени Свердлова" и над входом в театр. И опять этот страшный плакат – голова Государя, мертвая, синяя, скорбная, в короне, сбитой набок мужицкой дубиной.

3 июня.

Год тому назад приехали в Одессу. Странно подумать – год! И сколько перемен и все к худшему. Вспоминаю теперь даже переезд из Москвы сюда как прекрасное время.

4 июня.

Колчак признан Антантой Верховным Правителем России. В "Известиях" похабная статья: "Ты скажи нам, гадина, сколько тебе дадено?"

Черт с ними. Перекрестился с радостными слезами.

7 июня.

Был в книжном магазине Ивасенки. Библиотека его "национализирована", книги продаются только тем, у кого есть "мандаты". И вот являются биндюжники, красноармейцы и забирают, что попало: Шекспира, книгу о бетонных трубах, русское государственное право… Берут по установленной дешевой цене и надеются сбывать по дорогой.

На фронт никто не желает идти. Происходят облавы "уклоняющихся".

Целые дни подводы, нагруженные награбленным в магазинах и буржуазных домах, идут куда-то по улицам.

Говорят, что в Одессу присланы петербургские матросы, беспощаднейшие звери. И правда, матросов стало в городе больше и вида они нового, раструбы их штанов чудовищные. Вообще очень страшно по

улицам ходить. Часовые все играют винтовками, – того гляди застрелит. Поминутно видишь – два хулигана стоят на панели и разбирают браунинг.

После обеда были у пушки на бульваре. Кучки, беседы, агитация – все на тему о зверствах белогвардейцев, а какой-нибудь солдат повествует о своей прежней службе; все одно: как начальники "все себе в карман клали" – дальше кармана у этих скотов фантазия не идет.

– А Перемышль генералы за десять тысяч продали, – говорит один: – я это дело хорошо знаю, сам там был.

Сумасшедшие слухи о Деникине, об его успехах. Решается судьба России.

9 июня.

В газетах все то же – "Деникин хочет взять в свои лапы очаг" – и все та же страшная тревога за немцев, за то, что им придется подписать "позорный" мир. Естественно было бы крикнуть: "Негодяи, а как же похабный мир в Бресте, подписанный за Россию Караханом?" Но в том-то и сатанинская сила их, что они сумели перешагнуть все пределы, все границы дозволенного, сделать всякое изумление, всякий возмущенный крик наивным, дурацким.

И все то же бешенство деятельности, все та же неугасимая энергия, ни на минуту не ослабевающая вот уже скоро два года. Да, конечно, это что-то нечеловеческое. Люди совсем недаром тысячи лет верят в дьявола. Дьявол, нечто дьявольское несомненно есть.

В Харькове "приняты чрезвычайные меры" – против чего? – и все эти меры сводятся к одному – к расстрелу "на месте". В Одессе расстреляно еще 15 человек (опубликован список). Из Одессы отправлено "два поезда с подарками защитникам Петербурга", то есть с продовольствием (а Одесса сама дохнет с голоду). Нынче ночью арестовано много поляков, – как заложников, из боязни, что "после заключения мира в Версале на Одессу двинутся поляки и немцы".

Газеты делают выдержки из декларации Деникина (обещание прощения красноармейцам) и глумятся над ней:

"В этом документе сочеталось все: наглость царского выскочки, юмор висельника и садизм палача".

В первый раз в жизни увидел не на сцене, а на улице, среди бела дня, человека с наклеенными усами и бородой.

Так ударило по глазам, что остановился как пораженный молнией.

Одно из древнейших дикарских верований:

"Блеск звезды, в которую переходит наша душа после смерти, состоит

из блеска глаз съеденных нами людей…"

Теперь это звучит не так уж архаично.

"Мечом, своим будешь жить ты, Исав!"

Так живем и до сих пор. Разница только в том, что современный Исав совершенный подлец перед прежним.

И еще одна библейская строка:

"Честь унизится, а низость возрастет… В дом разврата превратятся общественные сборища… И лицо поколения будет собачье…"

И еще одна, всем известная:

"Вкусите – и станете как боги…"

Не раз вкушали – и все напрасно.

"Попытка французов восстановить священные права людей и завоевать свободу обнаружила полное человеческое бессилие… Что мы увидели? Грубые анархические инстинкты, которые, освобождаясь, ломают все социальные связи к животному самоудовлетворению… Но явится какой-нибудь могучий человек, который укротит анархию и твердо зажмет в своем кулаке бразды правления!"

Удивительней всего то, что эти слова, – столь оправдавшиеся на Наполеоне, – принадлежат певцу "Колокола".

А сам Наполеон сказал:

"Что сделало революцию? Честолюбие. Что положило ей конец? Тоже честолюбие. И каким прекрасным предлогом дурачить толпу была для нас всех свобода!"

Ленотр о Кутоне:

– Каким способом попадал Кутон в Конвент? Кутон, как известно, был калека, а меж тем был одним из самых деятельных и неутомимых членов Конвента и, если не лечился на водах, не пропускал ни одного заседания. Как же, на чем являлся он в Конвент?

Сперва он жил на улице Сент – Онорэ. "Эта квартира, писал он в октябре 1791 года, мне очень удобна, так как она находится в двух шагах от Святилища (то есть Конвента), и я могу ходить туда на своих костылях пешком". Но вскоре ноги совсем отказались служить ему, да переменилось, кроме того, и его местожительство: он жил то в Пасси, то возле Пон – Неф. В 1794 году он наконец основался опять на улице Сент-Онорэ, в доме 336 (ныне 398), в котором жил и Робеспьер. И долго предполагали, что из всех этих мест Кутон заставлял себя носить в Конвент. Но как, на чем? В плетушке? На спине солдата? Вопросы эти оставались без ответа целых сто лет, говорит Ленотр, – и делает отступление, чтобы нарисовать эту свирепую гадину в домашнем быту, пользуясь одним письменным

рассказом, найденным среди революционных документов спустя двадцать лет после смерти Кутона. Это рассказ одного провинциала, приехавшего в Париж с целью оправдать перед Конвентом своих земляков, революционных судей, заподозренных, по доносу, "в снисходительности". Провинциалу посоветовали обратиться к самому Кутону, и одна дама, знакомая г-жи Кутон, устроила ему это свидание, "при одном воспоминании о котором он вздрагивал потом всю жизнь".

– Когда мы явились к Кутону, – рассказывает провинциал, – я, к своему удивлению, увидал господина с добрым лицом и довольно вежливого в обращении. Он занимал прекрасную квартиру, обстановка которой отличалась большой изысканностью. Он, в белом халате, сидел в кресле и кормил люцерной кролика, примостившегося на его руке, а его трехлетний мальчик, хорошенький, как амур, нежно гладил этого кролика. "Чем могу быть полезен? – спросил меня Кутон. – Человек, которого рекомендует моя супруга, имеет право на мое внимание". И вот я, подкупленный этой идиллией, пустился описывать тяжкое положение моих земляков, а затем, все более ободряемый его ласковым вниманием, сказал уже с полным простодушием: "Господин Кутон, вы, человек всемогущий в Комитете Общественного Спасения, ужели вы не знаете, что революционный трибунал ежедневно выносит смертные приговоры людям, совершенно ни в чем не повинным? Вот, например, нынче будут казнены шестьдесят три человека: за что?" И, Боже мой, что произошло тотчас же после моих слов! Лицо Кутона зверски исказилось, кролик полетел с его руки кувырком, ребенок с ревом кинулся к матери, а сам Кутон – к шнурку звонка, висевшего над его креслом. Еще минута – и я был бы схвачен теми шестью "агентами охраны", которые постоянно находились при квартире Кутона, но, по счастью, особа, приведшая меня, успела удержать руку Кутона, а меня вытолкать за дверь, и я в тот же день бежал из Парижа…

Вот каков, говорит Ленотр, был Кутон в свои добрые минуты. А в Конвент он ездил, как открылось это только недавно, на самокате. В июле 1889 года в Карнавалэ явилась молодая женщина. Она заявила хранителю музея, что она правнучка Кутона и жертвует музею то самое кресло, на котором Кутон собственноручно катал себя в Конвент. И через неделю после этого кресло было доставлено в Карнавалэ, было распаковано – "и снова увидало парижское солнце, то же самое термидорское солнце, которое не грело его старого дерева сто пять лет". Оно обито бархатом лимонного цвета и движется при посредстве рукояток и цепи, соединенной с колесами.

Кутон был полутруп. "Он был ослаблен ваннами, питался одним

телячьим бульоном, истощен был костоедом, изнурен постоянной тошнотой и икотой". Но его упорство, его энергия были неистощимы. Революционная драма шла в бешеном темпе. "Все ее актеры были столь непоседливы, что всегда представляешь их себе только в движении, вскакивающими на трибуны, мечущими молнии гнева, носящимися из конца в конец Франции – все в жажде раздуть бурю, долженствующую истребить старый мир". И Кутон не отставал от них. Каждый день приказывал он поднимать себя, сажать в кресло, "чудовищной силой воли заставлял свои скрюченные руки ложиться на двигатель, напоминающий ручку кофейной мельницы, и летел, среди тесноты и многолюдства Сент-Онорэ, в Конвент, чтобы отправлять людей на эшафот. Должно быть, жуткое это было зрелище, вид этого человеческого обломка, который несся среди толпы на своей машине-трещотке, наклонив вперед туловище с завернутыми в одеяло мертвыми ногами, обливаясь потом и все время крича:,,Сторонись!" – а толпа шарахалась в разные стороны в страхе и изумлении от противоположности между жалким видом этого калеки и тем ужасом, который вызывало одно его имя!"

"Стихийность" революции:

В меньшевистской газете "Южный Рабочий", издававшейся в Одессе прошлой зимой, известный меньшевик Богданов рассказывал о том, как образовался знаменитый совет рабочих и солдатских депутатов:

– Пришли Суханов – Гиммер и Стеклов, никем не выбранные, никем не уполномоченные, и объявили себя во главе этого еще несуществующего совета!

– Гржебин во время войны затеял патриотический журнальчик "Отечество". Призвал нас на собеседование. Был, между прочим, Ф. Ф. Кокошкин. После собеседования мы ехали с ним на одном извозчике. Заговорили о народе. Я не сказал ничего ужасного, сказал только, что народу уже надоела война и что все газетные крики о том, что он рвется в бой, преступные враки. И вдруг он оборвал меня со своей обычной корректностью, но на этот раз с необычайной для него резкостью:

– Оставим этот разговор. Мне ваши взгляды на народ всегда казались – ну, извините, слишком исключительными, что ли…

Я посмотрел на него с удивлением и почти ужасом. Нет, подумал я, даром наше благородство нам не пройдет!

Благородство это полагалось по штату, и его наигрывали себе, за него срывали рукоплескания, им торговали. И вот рота мальчишек из всякой науськанной и не желавшей идти на фронт сволочи явилась к Думе – и мы, "доверием и державной волей народы облеченные", закричали на весь мир,

что совершилась великая российская революция, что народ теперь голову сложит за нас и за всяческие свободы, а главное, уж теперь-то пойдет как следует сокрушать немцев до победного конца. И вдобавок ко всему к этому в несколько дней разогнали по всей России всю и всяческую власть…

– Весна семнадцатого года. Ресторан "Прага", музыка, людно, носятся половые. Вино запрещено, но почти все пьяны. Музыка сладко режет внутри. Знаменитый либеральный адвокат в военной форме. Огромный, толстый в груди и в плечах, стрижен ежиком. Так пьян, что кричит на весь ресторан, требует, чтобы играли "Ойру".

Его собутыльник, земгусар, еще пьянее, обнимает и жадно целует его, бешено впивается ему в губы.

Музыка играет заунывно, развратно-томно, потом лихо:

– Эх, распошел,

Ты, мой серый конь, пошел!

И адвокат, подняв толстые плечи и локти, прыгает, подскакивает в такт на диване.

10 июня.

Журналисты из "Русского Слова" бегут на паруснике в Крым. Там будто бы хлеб восемь гривен фунт, власть меньшевиков и прочие блага.

Встретил на улице С. И. Варшавского. Говорит, что в "Бупе" вывешена ликующая телеграмма: "Немцы позорного мира не подпишут!"

Поляков в Одессе арестовано больше тысячи. При арестах их, говорят, нещадно били. Ничего, теперь все сойдет.

В Киеве "проведение в жизнь красного террора" продолжается; убито, между прочим, еще несколько профессоров, среди них знаменитый диагност Яновский.

Вчера было "экстренное" – всегда "экстренное"! – заседание Исполкома. Фельдман понес обычное: "Мировая революция грядет, товарищи!" Кто-то в ответ ему крикнул:

"Довольно, надоело! Хлеба!" – "Ах, вот как! – завопил Фельдман. – Кто это крикнул?" Крикнувший смело вскочил: – "Я крикнул!" – и был тотчас же арестован. Затем Фельдман предложил "употреблять буржуев вместо лошадей, для перевозки тяжестей". Это встретили бурными аплодисментами.

Говорят, что нами взят Белгород.

– Какая гнусность! Весь город хлопает деревянными сандалиями, все улицы залиты водой, – "граждане" с утра до вечера таскают воду из порта,

потому что уже давно бездействует водопровод. И у всех с утра до вечера только и разговору, как бы промыслить насчет еды. Наука, искусство, техника, всякая мало-мальски человеческая трудовая, что-либо творящая жизнь – все погибло. Сожрали тощие коровы фараоновых тучных и не только не потучнели, а сами околевают!

Теперь в деревне матери так пугают детей:

– Цыц! А то виддам в Одессу в коммунию!

– Передают нагло – скромные слова, где-то на днях сказанные Троцким:

– Я был бы опечален, если бы мне сказали, что я плохой журналист. Но когда мне говорят, что я плохой полководец, я отвечаю: я учусь и буду хорошим.

Журналист он был ловкий: А. А. Яблоновский рассказывал, что однажды он унес, украл из редакции "Киевской Мысли" чью-то шубу. А воевать и побеждать он "учится" боками тех царских генералов, которые попались ему в плен. И что ж, прослывет полководцем.

– Красное офицерство: мальчишка лет двадцати, лицо все голое, бритое, щеки впалые, зрачки темные и расширенные; не губы, а какой-то мерзкий сфинктер; почти сплошь золотые зубы; на цыплячьем теле – гимнастерка с офицерскими походными ремнями через плечи, на тонких, как у скелета, ногах – развратнейшие пузыри – галифе и щегольские, тысячные сапоги, на костреце – смехотворно громадный браунинг.

– В университете все в руках семи мальчишек первого и второго курсов. Главный комиссар – студент киевского ветеринарного института Малич. Разговаривая с профессорами, стучит на них кулаком по столу, кладет ноги на стол. Комиссар высших женских курсов – первокурсник Кин, который не переносит возражений, тотчас орет: "Не каркайте!" Комиссар политехнического института постоянно с заряженным револьвером в руке.

– Перед вечером встретил на улице знакомого еврея (Зелера, петербургского адвоката). Быстро:

– Здравствуйте. Дайте сюда ваше ухо.

Я дал.

– Двадцатого! Я вам раньше предупреждаю!

Пожал руку и быстро ушел.

Сказал так твердо, что на минуту сбил меня с толку.

Да и как не сбиться? В один голос говорят, что вчера состоялось тайное заседание, на котором было решено, что положение отчаянное, что надо уходить в подполье и оттуда всячески губить деникинцев, когда они

придут – втираясь в их среду, разлагая их, подкупая, спаивая, натравливая на всяческое безобразие, надевая на себя добровольческую форму и крича то "Боже царя храни", то "бей жидов".

Впрочем, весьма возможно, что опять, опять все эти слухи об отчаянном положении пускают сами же они. Они отлично знают, сколь привержены мы оптимизму.

Да, да, оптимизм-то и погубил нас. Это надо твердо помнить.

Впрочем, может быть, и правда готовятся бежать. Грабеж идет страшный. Наиболее верным "коммунистам" раздают без счета что попало: чай, кофе, табак, вино. Вин, однако, осталось, по слухам, мало, почти все выпили матросы (которым особенно нравится, как говорят, коньяк Мартель). А ведь и до сих пор приходилось доказывать, что эти каторжные гориллы умирают вовсе не за революцию, а за Мартель.

Сентябрь семнадцатого года, мрачный вечер, темные с желтоватыми щелями тучи на западе. Остатки листьев на деревьях у церковной ограды как-то странно рдеют, хотя под ногами уже сумрак. Вхожу в церковную караулку. В ней совсем почти темно. Караульщик, он же и сапожник, небольшой, курносый, с окладистой рыжей бородой, человек медоточивый, сидит на лавке, в рубахе навыпуск и в жилетке, из карманчика которой торчит пузырек с нюхательным табаком. Увидав меня, встает и низко кланяется, встряхивает волосами, которые упали на лоб, потом протягивает мне руку.

– Как поживаешь, Алексей?

Вздыхает:

– Скушно.

– Что такое?

– Да так. Нехорошо. Ах, милый барин, нехорошо! Скушно!

– Да почему же?

– Да так. Был вчера я в городе. Прежде, бывало, едешь на свободе, а теперь хлеб с собой берешь, в городе голод пошел. Голод, голод! Товару не дали. Товару нету. Нипочем нету. Приказчик говорит, "Хлеба дадите, тогда и товару дадим". А я ему так: "Нет, уж вы ешьте кожу, а мы свой хлеб будем есть". Только сказать – до чего дошло! Подметки 14 рублей! Нет, покуда буржуазию не перережут, будет весь люд голодный, холодный. Ах, милый барин, по истинной совести вам скажу, будут буржуазию резать, ах, будут!

Когда я выхожу из караулки, караульщик тоже выходит и зажигает фонарь возле церковных ворот. Из-под горы идет мужик, порывисто падая вперед, – очень пьяный, – и на всю деревню кричит, ругает самыми отборными ругательствами диакона. Увидав меня, с размаху откидывается

назад и останавливается:

– А вы его не можете ругать! Вам за это, за духовное лицо, язык на пяло надо вытянуть!

– Но позволь: я, во-первых, молчу, а во-вторых, почему тебе можно, а мне нельзя?

– А кто ж вас хоронить будет, когда вы помрете? Не диакон разве?

– А тебя?

Уронив голову и подумав, мрачно:

– Он мне, собака, керосину в лавке кооперативной не дал. Ты, говорит, свою долю уже взял. А если я еще хочу? "Нет, говорит, такого закону". Хорош, ай нет? Его за это арестовать, собаку, надо! Теперь никакого закону нету. – Погоди, погоди, – обращается он к караульщику, – и тебе попадет! Я тебе припомню эти подметки. Как петуха зарежу – дай срок!

Октябрь того же года. Пошли плакаты, митинги, призывы:

– Граждане! Товарищи! Осуществляйте свой великий долг перед Учредительным Собранием, заветной мечтой вашей, державным хозяином земли русской! Все голосуйте за список номер третий!

Мужики, слушавшие эти призывы в городе, говорят дома:

– Ну и пес! Долги, кричит, за вами есть великие! Голосить, говорит, все будете, все, значит, ваше имущество опишу перед Учредительным Собранием. А кому мы должны? Ему, что ли, глаза его накройся? Нет, это новое начальство совсем никуда. В товарищи заманивает, горы золотые обещает, а сам орет, грозит, крест норовит с шеи сорвать. Ну, да постой: кабы не пришлось голосить-то тебе самому в три голоса!

Сидим, толкуем по этому поводу с бывшим старостой, небогатым, середняком, но справным хозяином. Он говорит:

– Да, известно орут, долгами, недоимками пугают. Теперь вот будем учредительную думу собирать, будем, говорят, кандидата выбирать. Мы, есть слух, будем кандрак составлять, будем осуждать, а он будет подписываться. Когда где дорогу провесть, когда войну открыть, он будет у нас должон теперь спроситься. А разве мы знаем, где какая дорога нужна? Я вот богатый человек, а я отроду за Ельцом никогда не был. Мы вот свою дорогу под горой двадцать лет дерьмом завалить не можем: как сойдемся – драка на три дня, потом три ведра водки слопаем и разойдемся, а буерак так и останется. Опять же и войну открыть против какого другого царя я не могу, я не знаю: а может, он хороший человек? А без нас, говорят, нельзя. Только за что ж за это кинжал в бок вставлять? Это Бог с ним и с жалованием в этой думе!

– Да то-то и дело, – говорю я, – что жалованье-то хорошее.

– Ну? Хорошее?

– Конечно, хорошее. Самый раз тебе туда.

Думает. Потом, вздохнув:

– Меня туда не допустят, я большевик: у меня три десятины земли купленные, две лошади хороших.

– Ну вот, кому же, как не тебе и быть там? Ты хозяин.

Подумав и оживляясь все более:

– Да! Это было бы дело! Я бы там свой голос за людей хорошего звания подавал. Я бы там поддержал благородных лиц. Я бы там и ваше потомство вспомнил. Я бы не дал у своих господ землю отбирать. А то он, депутат-то этот, себе нажить ничего не мог, а у людей черт его несет отымать самохватом. Вон у нас выбрали в волость, а какой он депутат? Ругается матерком, ничего у него нету, глаза пьяные, так и дышит огнем вонючим. Орет, а у самого и именья-то одна курица. Ему дай хоть сто десятин, опять через два дня "моряк" будет. Разве его можно со мной сменить? Копал, копал в бумагах, а ничего не нашел, стерва поганая, и читать ничего не может, не умеет, – какие такие мы читатели? Всякая овца лучше накричит, чем я прочитаю!

Беседует со мной об Учредительном Собрании и самый страстный на всей нашей деревне революционер Пантюшка. Но и он говорит очень странные вещи:

– Я, товарищ, сам социал – демократ, три года в Ростове-на-Дону всеми газетами и журналами торговал, одного "Сатирикону" небось тысяча номеров через мои руки прошло, а все-таки прямо скажу: какой он черт министр, хоть Гвоздев этот-то самый? Я сер, а он-то много белее меня? Воротится, не хуже меня, в деревню, и опять мы с ним одного сукна с онучей. Я вот лезу к вам нахрапом: "товарищ, товарищ", а, по совести сказать, меня за это по шее надо. Вы вон в календарь зачислены, писатель знаменитый, с вами самый первый князь за стол может сесть по вашему дворянству, а я что? Я и то мужикам говорю: эй, ребята, не промахнитесь! Уж кого, говорю, выбирать в это Учредительное Собрание, так уж понятно, товарища Бунина. У него там и знакомые хорошие найдутся и пролезть он там может куда угодно…

Вечером у В. А. Розенберга. И опять: я ему об успехах добровольцев, а он о том, что они в занятых ими городах "насилуют свободу слова". Кусаться можно кинуться.

Ночью.

Вспомнилось: пришла весть с австрийского фронта, что убили Володьку. Старуха в полушубке (мать) второй день лежит ничком на нарах,

даже не плачет. Отец притворяется веселым, все ходит возле нее, без умолку и застенчиво говорит:

– Ну, и чудна ты, старуха! Ну, и чудна! А ты что ж думала, они смотреть будут на наших? Ведь он, неприятель-то, тоже обороняется! Без этого нельзя! Ты бы сообразила своей глупой головой: разве можно без этого?

Жена Володьки, молодая бабенка, все выскакивает в сенцы, падает там головой на что попало и кричит на разные лады, по-собачьи воет. Он и к ней:

– Ну вот, ну вот! И эта тоже! Значит, ему не надо было обороняться? Значит, надо было Володьке в ножки кланяться?

И Яков: когда получил письмо, что его сына убили, сказал, засмеявшись и как-то странно жмурясь:

– Ничего, ничего, Царство Небесная! Не тужу, не жалею! Это Богу свеча, Алексеич! Богу свеча. Богу ладан!

Но истинно Бог и дьявол поминутно сменяются на Руси. Когда мы сидели в саду у шалаша, освещенного через сад теплым низким месяцем, и слушали, как из деревни доносится крик, вой жены Володьки, мещанин сказал:

– Ишь, стерва, раздолевается! Она не мужа жалеет, она его штуки жалеет…

Я едва удержался, чтобы не дать ему со всего размаху палкой по башке. Но в шалаше, радуясь месяцу, нежно и звонко закричал петух, и мещанин сказал:

– Ах, Господи, до чего хорошо, сладко! За то и держу, ста целковых за него не возьму! Он меня всю ночь веселит, умиляет…

Дочь Пальчикова (спокойная, миловидная) спрашивала меня:

– Правда, говорят, барин, к нам сорок тысяч пленных австрийцев везут?

– Сорок не сорок, а правда, везут.

– И кормить их будем?

– А как же не кормить? Что ж с ними делать?

Подумала.

– Что? Да порезать да покласть…

Мужики, разгромившие осенью семнадцатого года одну помещичью усадьбу под Ельцом, ощипали, оборвали для потехи перья с живых павлинов и пустили их, окровавленных, летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало.

Но что за беда! Вот Павел Юшкевич уверяет, что "к революции нельзя

подходить с уголовной меркой", что содрогаться от этих павлинов – "обывательщина". Даже Гегеля вспомнил: "Недаром говорил Гегель о разумности всего действительного: есть разум, есть смысл и в русской революции".

Да, да, "бьют и плакать не велят". Каково павлину, и не подозревавшему о существовании Гегеля? С какой меркой, кроме уголовной, могут "подходить к революции" те священники, помещики, офицеры, дети, старики, черепа которых дробит победоносный демос? Но какое же дело Павлу Юшкевичу до подобных "обывательских" вопросов!

Говорят, матросы, присланные к нам из Петербурга, совсем осатанели от пьянства, от кокаина, от своеволия. Пьяные, врываются к заключенным в чрезвычайке без приказов начальства и убивают кого попало. Недавно кинулись убивать какую-то женщину с ребенком. Она молила, чтобы ее пощадили ради ребенка, но матросы крикнули: "Не беспокойся, дадим и ему маслинку!" – и застрелили и его. Для потехи выгоняют заключенных во двор и заставляют бегать, а сами стреляют, нарочно делая промахи.

11 июня.

Проснувшись, как-то особенно ясно, трезво и с ужасом понял, что я просто погибаю от этой жизни и физически, и душевно. И записываю я, в сущности, черт знает что, что попало, как сумасшедший… Да, впрочем, не все ли равно!

Едва дождался газет. Все очень хорошо:

"Мы оставили Богучар… Мы в 120 верстах западнее Царицына… Палач Колчак идет на соединение с Деникиным…"

И вдруг:

"Угнетатель рабочих Гришин-Алмазов застрелился…

Троцкий в поездной газете сообщает, что наш миноносец захватил в Азовском море пароход, на котором известный черносотенец и душегуб Гришин-Алмазов вез Колчаку письмо Деникина. Гришин-Алмазов застрелился".

Ужасная весть. И вообще день большого волнения. Говорят, будто Деникин взял Феодосию, Алушту, Симферополь, Александровск…

Четыре часа.

Мир с немцами подписан. Деникин взял Харьков!

Поделился радостью с дворником Фомой. Но он пессимист:

– Нет, барин, навряд дело этим кончится. Теперь ему трудно кончиться.

– А как же и когда оно, по-твоему, кончится?

– Когда! Когда побелеет воронье крыло. Теперь злодей укрепился. Вон красноармейцы говорят: "Вся беда от жидов, они все коммунисты, а большевики все русские". А я думаю, что они-то, красноармейцы-то эти, и есть злу корень. Все ярыги, все разбойники. Вы посчитайте-ка, сколько их теперь из всех нор вылезло. А как измываются над мирным жителем! Идет по улице и вдруг: "Товарищ гражданин, который час?" А тот сдуру вынет часы и брякнет: "Два часа с половиной". – "Как, мать твою душу, как два с половиной, когда теперь по-нашему, по-советски, пять? Значит, ты старого режиму?" – Вырвет часы и об мостовую трах! Нет, он очень укрепился. А все прочие ослабели. Вы взгляните, как прежний господин или дама теперь по улице идет: одет в чем попало, воротничок смялся, щеки небритые, а дама без чулок, на босу ногу, ведро с водой через весь город тащит, – все мол, наплевать. Да я и про себя скажу: все чего-то ждешь, никакого дела делать не хочется. Даже и лето как будто еще не наступало.

Бог шельму метит. Еще в древности была всеобщая ненависть к рыжим, скуластым. Сократ видеть не мог бледных. А современная уголовная антропология установила: у огромного количества так называемых "прирожденных преступников" – бледные лица, большие скулы, грубая нижняя челюсть, глубоко сидящие глаза.

Как не вспомнить после этого Ленина и тысячи прочих? (Впрочем, уголовная антропология отмечает среди прирожденных преступников и особенно преступниц и резко противоположный тип: кукольное, "ангельское" лицо, вроде того, что было, например, когда-то у Коллонтай.)

А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно асимметрическими чертами среди этих красноармейцев и вообще среди русского простонародья, – сколько их, этих атавистических особей, круто замешанных на монгольском атавизме! Весь, Мурома, Чудь белоглазая… И как раз именно из них, из этих самых русичей, издревле славных своей антисоциальностью, давших столько "удалых разбойничков", столько бродяг, бегунов, а потом хитровцев, босяков, как раз из них и вербовали мы красу, гордость и надежду русской социальной революции. Что ж дивиться результатам?

Тургенев упрекал Герцена: "Вы преклоняетесь перед тулупом, видите в нем великую благодать, новизну и оригинальность будущих форм". Новизна форм! В том-то и дело, что всякий русский бунт (и особенно теперешний) прежде всего доказывает, до чего все старо на Руси и сколь она жаждет прежде всего бесформенности. Спокон веку были "разбойнички" муромские, брянские, саратовские, бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся, ярыги, голь кабацкая, пустосвяты, сеятели

всяческих лжей, несбыточных надежд и свар. Русь классическая страна буяна. Был и святой человек, был и строитель, высокой, хотя и жестокой крепости. Но в какой долгой и непрестанной борьбе были они с буяном, разрушителем, со всякой крамолой, сварой, кровавой "неурядицей и нелепицей"!

Уголовная антропология выделяет преступников случайных: это случайно совершившие преступление, "люди, чуждые антисоциальных инстинктов". Но совершенно другое, говорит она, преступники "инстинктивные". Эти всегда как дети, как животные, и главнейший их признак, коренная черта – жажда разрушения, антисоциальность.

Вот преступница, девушка. В детстве упорна, капризна. С отрочества у нее резко начинает проявляться воля к разрушению: рвет книги, бьет посуду, жжет свои платья. Она много и жадно читает и любимое ее чтение – страстные, запутанные романы, опасные приключения, бессердечные и дерзкие подвиги. Влюбляется в первого попавшегося, привержена дурным половым наклонностям. И всегда чрезвычайно логична в речах, ловко сваливает свои поступки на других, лжива так нагло, уверенно и чрезмерно, что парализует сомнение тех, кому лжет. Вот преступник, юноша. Гостил на даче у родных. Ломал деревья, рвал обои, бил стекла, осквернял эмблемы религии, всюду рисовал гадости. "Типично антисоциален…" И таких примеров тысячи.

В мирное время мы забываем, что мир кишит этими выродками, в мирное время они сидят по тюрьмам, по желтым домам. Но вот наступает время, когда "державный народ" восторжествовал. Двери тюрем и желтых домов раскрываются, архивы сыскных отделений жгутся – начинается вакханалия. Русская вакханалия превзошла все до нее бывшие – и весьма изумила и огорчила даже тех, кто много лет звал на Стенькин Утес, – послушать "то, что думал Степан". Странное изумление! Степан не мог думать о социальном, Степан был "прирожденный" – как раз из той злодейской породы, с которой, может быть, и в самом деле предстоит новая долголетняя борьба.

Лето семнадцатого года помню как начало какой-то тяжкой болезни, когда уже чувствуешь, что болен, что голова горит, мысли путаются, окружающее приобретает какую-то жуткую сущность, но когда еще держишься на ногах и чего-то еще ждешь в горячечном напряжении всех последних телесных и душевных сил.

А в конце этого лета, развертывая однажды утром газету как всегда прыгающими руками, я вдруг ощутил, что бледнею, что у меня пустеет темя, как перед обмороком: огромными буквами ударил в глаза

истерический крик:

"Всем, всем, всем!" – крик о том, что Корнилов – "мятежник, предатель революции и родины…"

А потом было третье ноября.

Каин России, с радостно – безумным остервенением бросивший за тридцать сребреников всю свою душу под ноги дьявола, восторжествовал полностью.

Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, целую неделю горевшая и сотрясавшаяся от канонады, сдалась, смирилась.

Все стихло, все преграды, все заставы божеские и человеческие пали – победители свободно овладели ею, каждой ее улицей, каждым ее жилищем, и уже водружали свой стяг над ее оплотом и святыней, над Кремлем. И не было дня во всей моей жизни страшнее этого дня, – видит Бог, воистину так!

После недельного плена в четырех стенах, без воздуха, почти без сна и пищи, с забаррикадированными стенами и окнами, я, шатаясь, вышел из дому, куда, наотмашь швыряя двери, уже три раза врывались, в поисках врагов и оружия, ватаги "борцов за светлое будущее", совершенно шальных от победы, самогонки и архискотской ненависти, с пересохшими губами и дикими взглядами, с тем балаганным излишеством всяческого оружия на себе, каковое освящено традициями всех "великих революций".

Вечерел темный, короткий, ледяной и мокрый день поздней осени, хрипло кричали вороны. Москва, жалкая, грязная, обесчещенная, расстрелянная и уже покорная, принимала будничный вид.

Поехали извозчики, потекла по улицам торжествующая московская чернь. Какая-то паскудная старушонка с яростно-зелеными глазами и надутыми на шее жилами стояла и кричала на всю улицу:

– Товарищи, любезные! Бейте их, казните их, топите их!

Я постоял, поглядел – и побрел домой. А ночью, оставшись один, будучи от природы весьма несклонен к слезам, наконец заплакал и плакал такими страшными и обильными слезами, которых я даже и представить себе не мог.

А потом я плакал на Страстной неделе, уже не один, а вместе со многими и многими, собиравшимися в темные вечера, среди темной Москвы, с ее наглухо запертым Кремлем, по темным старым церквам, скудно озаренным красными огоньками свечей, и плакавшими под горькое страстное пение: "Волною морскою… гонителя, мучителя под водою скрыша…"

Сколько стояло тогда в этих церквах людей, прежде никогда не

бывавших в них, сколько плакало никогда не плакавших!

А потом я плакал слезами и лютого горя и какого-то болезненного восторга, оставив за собой и Россию и всю свою прежнюю жизнь, перешагнув новую русскую границу, границу в Орше, вырвавшись из этого разливанного моря страшных, несчастных, потерявших всякий образ человеческий, буйно и с какой-то надрывной страстью орущих дикарей, которыми были затоплены буквально все станции, начиная от самой Москвы и до самой Орши, где все платформы и пути были буквально залиты рвотой и испражнениями…

13 июня.

Да, мир подписан. Ужели и теперь не подумают о России? Вот уж истинно: "Ратуйте, хто в Бога вируе!" Неистовым криком о помощи полны десятки миллионов русских душ. Ужели не вмешаются в эти наши "внутренние дела", не ворвутся наконец в наш несчастный дом, где бешеная горилла уже буквально захлебывается кровью?

15 июня.

Газеты особенно неистовы: "Германия захвачена за горло разбойничьей шайкой! К оружию! Еще минута – и вулкан вспыхнет, пурпурное знамя коммунизма зацветет, зареет над всем миром! Но момент серьезен… Пусть же гудит набат! Не время калякать!"

В киевском "Коммунисте" замечательная речь Бубнова "о неслыханном, паническом, постыднейшем бегстве красной армии от Деникина".

16 июня.

"Харьков пал под лавиной царского палача Деникина… Он двинул на Харьков орду золотопогонных и озверелых от пьянства гуннов. Дикая орда эта, подобно саранче, двигается по измученной стране, уничтожая все, что завоевано кровью лучших борцов за светлое будущее. Прислужники и холопы мировой своры империалистов несут трудовому народу виселицы, палачей, жандармов, каторжный труд, беспросветное рабство…"

Собственно, чем это отличается от всей нашей революционной "литературы"? Но черт с ними. Рад так, что мороз по голове…

А "ликвидация григорьевских банд" все еще "продолжается".

17 июня.

На Дерибасовской улице новый плакат: лубочный мужик с топором и

рабочий с киркой яростно гвоздят по лысой голове отчаянно раскорячившегося карапуза – генерала, насквозь проткнутого штыком бегущего красноармейца; подпись: "Бей, ребята, да позазвонистей!" Это опять работа "Политуправления". И у дверей этого самого заведения встретил выходящего из него С. Юшкевича, который равнодушно сказал мне, что Харьков взят большевиками обратно.

Шел домой, как пьяный.

Ночью.

Несколько успокоился. Все уверяют, что это вздор, будто Харьков взят обратно. Мало того: говорят, что Деникин взял Екатеринослав и Полтаву, что большевики эвакуируют Курск, Воронеж, что Колчак прорвал их фронт на Царицынском направлении, что Севастополь в руках англичан (десант в 40 000 человек).

Вечером на бульваре. Сперва сидел с женой и дочерью С. И. Варшавского. Дочь читала. Она скаут. На вопросы отвечает поспешно, коротко и резко, как часто барышни ее лет. Розовый серп молодого месяца в тонком закатном небе за Воронцовским дворцом, бледное, нежное, чуть зеленоватое небо, вид этой милой, жадно читающей девочки и опровержение большевистских слухов о Харькове – все болезненно умиляло.

Рассказывали: когда в прошлом году пришли в Одессу немцы, "товарищи" вскоре стали просить у них разрешения устроить бал до утра. Немец комендант с презрением пожал плечами: "Удивительная страна Россия! Чего ей так весело?!"

18 июня

"Последняя отчаянная схватка! Все в ряды! Черные тучи все гуще, карканье черного воронья все громче!" – и так далее.

В Киеве доклад Раковского о международном положении:

"Революция охватила весь мир… Хищники дерутся из-за добычи… Контрреволюцию в Венгрии мы потопим в крови!" И дальше: "Позор! В Харькове четыре деникинца произвели неописуемую панику среди наших многочисленных эшелонов!" И как венец всего: "Падение Курска будет гибелью мировой революции!"

Только что был на базаре. Бежит какой-то босяк, в руках экстренный выпуск газеты: "Мы взяли назад Белгород, Харьков и Лозовую!" – Буквально потемнело в глазах, едва не упал.

19 июня.

Вчера на базаре несколько минут чувствовал, что могу упасть. Такого со мной никогда не бывало. Потом тупость, ко всему отвращение, полная потеря вкуса к жизни. После обеда у Щ. Там Лурье, Кауфман. Телеграмме никто не верит, ее напечатали по приказу Исполкома, по настоянию Фельдмана. Я купил эту телеграмму, чтобы взвесить каждое слово. Каждое слово режет, как ножом, переворачивает душу: "Бюллетень Известий Од. Сов. раб., кр. и красноарм. депутатов. Красные войска отобрали обратно Харьков, Лозовую, Белгород. По прямому проводу 18 июня, в 1 ч. 35 м. из Киева радостная весть: Харьков, Лозовая, Белгород очищены от белогвардейских банд, которые в панике бегут. Судьба Деникина решена! В Курске ликование пролетариата. Мобилизация проходит с небывалым подъемом. В Полтаве энтузиазм…" Итак, победа сразу на пространстве 500 верст. "Энтузиазм в Полтаве" должен показать, что она цела и сохранна. А слухи совсем другие: нашими взяты Камышин, Ромодан, Никополь.

Нынче вскочил все-таки в семь и купил газеты все до одной: "Циркулировавшие слухи о взятии нами обратно Харькова, Лозовой и Белгорода пока не подтверждаются…" От радости глазам не поверил.

Перед обедом были Розенберги. Дико! Они совсем спокойны, – ну что ж, "слухи пока не подтверждаются", и прекрасно…

20 июня.

"На западе бушуют волны революции… Деникин несет цепи голодного рабства… С бешеным натиском белогвардейских банд злобствует безумный, бесчеловечный террор… Беззащитный пролетариат отдан озверелым бандам на разграбление… Надо беспощадно раздавить мозолистой рукой контрреволюционные гады на фронте и в тылу… Нужен беспощадный террор против буржуазии и белогвардейской сволочи, изменников, заговорщиков, шпионов, трусов, шкурников… Надо отобрать у буржуев излишек денег, одежды, взять заложников!"

Все это, вместе с "мозолистой рукой", долженствующей "раздавить гады", уже не из газет, а из воззвания "Наркомвнудела Украинск. Социалист. Сов. Республики".

В городе стены домов сплошь в воззваниях. И в них, и в газетах остервенелая чепуха, свидетельствующая о настоящем ужасе этих тварей.

"Мы оставили Константиноград… Харьков занят бродячей бандой… Занятие Харькова не дало Деникину ожидаемых результатов… Мы оставили Корочу… Мы оставили Лиски… Противник оттеснил нас западнее Царицына… Мы гоним Колчака, который в панике… Румынское правительство мечется в предсмертной агонии… В Германии разгар

революции… В Дании революция принимает угрожающие размеры… Северная Россия питается овсом, мхом… У падающих и умирающих на улицах рабочих в желудках находят куски одеял, обрывки тряпья… На помощь! Бьет последний час! Мы не хищники, не империалисты, мы не придаем значения тому, что уступаем врагу территории…"

В "Известиях" стихи:

Товарищи, кольцо сомкнулось уже!
Кто верен нам, беритесь за оружье!
Дом горит, дом горит!
Братец, весь в огне дом,
Брось горшок с обедом!
До жранья ль, товарищ?
Гибнет кров родимый!
Эй, набат, гуди, мой!

А насчет "горшка с обедом" дело плохо. У нас по крайней мере от недоедания все время голова кружится. На базаре целые толпы торгующих старыми вещами, сидящих прямо на камнях, на навозе, и только Кое-где кучки гнилых овощей и картошек. Урожай в нынешнем году вокруг Одессы прямо библейский. Но мужики ничего не хотят везти, свиньям в корыто льют молоко, валят кабачки, а везти не хотят…

Сейчас опять идем в архиерейский сад, часто теперь туда ходим, единственное чистое, тихое место во всем городе. Вид оттуда необыкновенно печальный, – вполне мертвая страна. Давно ли порт ломился от богатства и многолюдности? Теперь он пуст, хоть шаром покати, все то жалкое, что есть еще кое-где у пристаней, все ржавое, облупленное, ободранное, а на Пересыпи торчат давно потухшие трубы заводов. И все-таки в саду чудесно, безлюдие, тишина. Часто заходим и в церковь, и всякий раз восторгом до слез охватывает пение, поклоны священнослужителей, каждение, все это благолепие, пристойность, мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчается всякое земное страдание. И подумать только, что прежде люди той среды, к которой и я отчасти принадлежал, бывали в церкви только на похоронах! Умер член редакции, заведующий статистикой, товарищ по университету или по ссылке… И в церкви была все время одна мысль, одна мечта: выйти на паперть покурить. А покойник? Боже, до чего не было никакой связи между всей его прошлой жизнью и этими погребальными

молитвами, этим венчиком на костяном лимонном лбу!

P. S. Тут обрываются мои одесские заметки. Листки, следующие за этими, я так хорошо закопал в одном месте в землю, что перед бегством из Одессы, в конце января 1920 года, никак не мог найти их.

Миссия русской эмиграции

(Речь, произнесенная в Париже 16 февраля 1924 года)

Соотечественники.

Наш вечер посвящен беседе о миссии русской эмиграции.

Мы эмигранты, – слово "emigrer" к нам подходит, как нельзя более. Мы в огромном большинстве своем не изгнанники, а именно эмигранты, то есть люди, добровольно покинувшие родину. Миссия же наша связана с причинами, в силу которых мы покинули ее. Эти причины на первый взгляд разнообразны, но в сущности сводятся к одному; к тому, что мы так или иначе не приняли жизни, воцарившейся с некоторых пор в России, были в том или ином несогласии, в той или иной борьбе с этой жизнью и, убедившись, что дальнейшее сопротивление наше грозит нам лишь бесплодной, бессмысленной гибелью, ушли на чужбину.

Миссия – это звучит возвышенно. Но мы взяли и это слово вполне сознательно, памятуя его точный смысл. Во французских толковых словарях сказано; "миссия есть власть (pouvoir), данная делегату идти делать что-нибудь". А делегат означает лицо, на котором лежит поручение действовать от чьего-нибудь имени. Можно ли употреблять такие почти торжественные слова в применении к нам? Можно ли говорить, что мы чьи-то делегаты, на которых возложено некое поручение, что мы предстательствуем за кого-то? Цель нашего вечера – напомнить, что не только можно, но и должно. Некоторые из нас глубоко устали и, быть может, готовы, под разными злостными влияниями, разочароваться в том деле, которому они так или иначе служили, готовы назвать свое пребывание на чужбине никчемным и даже зазорным. Наша цель – твердо сказать; подымите голову! Миссия, именно миссия, тяжкая, но и высокая, возложена судьбой на нас.

Нас, рассеянных по миру, около трех миллионов. Исключите из этого громадного числа десятки и даже сотни тысяч попавших в эмигрантский поток уже совсем несознательно, совсем случайно; исключите тех, которые, будучи противниками (вернее, соперниками) нынешних владык России, суть, однако, их кровные братья; исключите их пособников, в нашей среде пребывающих с целью позорить нас перед лицом чужеземцев и разлагать нас: останется все-таки нечто такое, что даже одной своей численностью

говорит о страшной важности событий, русскую эмиграцию создавших, и дает полное право пользоваться высоким языком. Но численность наша еще далеко не все. Есть еще нечто, что присваивает нам некое назначение. Ибо это нечто заключается в том, что поистине мы некий грозный знак миру и посильные борцы за вечные, божественные основы человеческого существования, ныне не только в России, но и всюду пошатнувшиеся.

Если бы даже наш исход из России был только инстинктивным протестом против душегубства и разрушительства, воцарившегося там, то и тогда нужно было бы сказать, что легла на нас миссия некоего указания: "Взгляни, мир, на этот великий исход и осмысли его значение. Вот перед тобой миллион из числа лучших русских душ, свидетельствующих, что далеко не вся Россия приемлет власть, низость и злодеяния ее захватчиков; перед тобой миллион душ, облаченных в глубочайший траур, душ, коим было дано видеть гибель и срам одного из самых могущественных земных царств и знать, что это царство есть плоть и кровь их, дано было оставить домы и гробы отчие, часто поруганные, оплакать горчайшими слезами тысячи и тысячи безвинно убиенных и замученных, лишиться всякого человеческого благополучия, испытать врага столь подлого и свирепого, что нет имени его подлости и свирепству, мучиться всеми казнями египетскими в своем отступлении перед ним, воспринять все мыслимые унижения и заушения на путях чужеземного скитальчества: взгляни, мир, и знай, что пишется в твоих летописях одна из самых черных и, быть может, роковых для тебя страниц!"

Так было бы, говорю я, если бы мы были просто огромной массой беженцев, только одним своим наличием вопиющих против содеянного в России, – были, по прекрасному выражению одного русского писателя, ивиковыми журавлями, разлетевшимися по всему поднебесью, чтобы свидетельствовать против московских убийц. Однако это не все: русская эмиграция имеет право сказать о себе гораздо больше. Сотни тысяч из нашей среды восстали вполне сознательно и действенно против врага, ныне столицу свою имеющего в России, но притязающего на мировое владычество, сотни тысяч противоборствовали ему всячески, в полную меру своих сил, многими смертями запечатлели свое противоборство – и еще неизвестно, что было бы в Европе, если бы не было этого противоборства. В чем наша миссия, чьи мы делегаты? От чьего имени дано нам действовать и предстательствовать? Поистине действовали мы, несмотря на все наши человеческие падения и слабости, от имени нашего Божеского образа и подобия. И еще – от имени России: не той, что предала Христа за тридцать сребреников, за разрешение на грабеж и убийство и

погрязла в мерзости всяческих злодеяний и всяческой нравственной проказы, а России другой, подъяремной, страждущей, но все же до конца не покоренной. Мир отвернулся от этой страждущей России, он только порою уподоблялся тому римскому солдату, который поднес к устам Распятого губку с уксусом. Европа мгновенно задавила большевизм в Венгрии, не пускает Габсбургов в Австрию, Вильгельма в Германию. Но когда дело идет о России, она тотчас вспоминает правило о невмешательстве во внутренние дела соседа и спокойно смотрит на русские "внутренние дела", то есть на шестилетний погром, длящийся в России, и вот дошла даже до того, что узаконяет этот погром. И вновь, и вновь исполнилось таким образом слово Писания: "Вот выйдут семь коров тощих и пожрут семь коров тучных, сами же от того не станут тучнее… Вот темнота покроет землю и мрак – народы… И лицо поколения будет собачье…" Но тем важнее миссия русской эмиграции.

Что произошло? Произошло великое падение России, а вместе с тем и вообще падение человека. Падение России ничем не оправдывается. Неизбежна была русская революция или нет? Никакой неизбежности, конечно, не было, ибо, несмотря на все эти недостатки, Россия цвела, росла, со сказочной быстротой развивалась и видоизменялась во всех отношениях. Революция, говорят, была неизбежна, ибо народ жаждал земли и таил ненависть к своему бывшему господину и вообще к господам. Но почему же эта будто бы неизбежная революция не коснулась, например, Польши, Литвы? Или там не было барина, нет недостатка в земле и вообще всяческого неравенства? И по какой причине участвовала в революции и во всех ее зверствах Сибирь с ее допотопным обилием крепостных уз? Нет, неизбежности не было, а дело было все-таки сделано, и как и под каким знаменем? Сделано оно было ужасающе и знамя их было и есть интернациональное, то есть претендующее быть знаменем всех наций и дать миру, взамен синайских скрижалей и Нагорной проповеди, взамен древних божеских уставов, нечто новое и дьявольское. Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населенный огромным и во всех смыслах могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освященный богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурою. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно – кровавым балаганом, чудовищные последствия которого неисчислимы и, быть может, вовеки непоправимы. И кошмар этот, повторяю, тем ужаснее, что он даже всячески прославляется, возводится в перл создания и годами

длится при полном попустительстве всего мира, который уж давно должен был бы крестовым походом идти на Москву.

Что произошло? Как не безумна была революция во время великой войны, огромное число будущих белых ратников и эмигрантов приняло ее. Новый домоправитель оказался ужасным по своей всяческой негодности, однако чуть не все мы грудью защищали его. Но Россия, поджигаемая "планетарным" злодеем, возводящим разнузданную власть черни и все самые низкие свойства ее истинно в религию, Россия уже сошла с ума, – сам министр – президент на московском совещании в августе 17 года заявил, что уже зарегистрировано, – только зарегистрировано! – десять тысяч зверских и бессмысленных народных "самосудов". А что было затем? Было величайшее в мире попрание и бесчестие всех основ человеческого существования, начавшегося с убийства Духонина и "похабного мира" в Бресте и докатившееся до людоедства. Планетарный же злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству и равенству, высоко сидел на шее русского дикаря и весь мир призывал в грязь топтать совесть, стыд, любовь, милосердие, в прах дробить скрижали Моисея и Христа, ставить памятники Иуде и Каину, учить "Семь заповедей Ленина". И дикарь все дробил, все топтал и даже дерзнул на то, чего ужаснулся бы сам дьявол: он вторгся в самые Святая святых своей родины, в место страшного и благословенного таинства, где века почивал величайший Зиждитель и Заступник ее, коснулся раки Преподобного Сергия, гроба, перед коим веками повергались целые сонмы русских душ в самые высокие мгновения их земного существования. Боже, и это вот к этому самому дикарю должен я идти на поклон и служение? Это он будет державным хозяином всея новой Руси, осуществившим свои "заветные чаяния" за счет соседа, зарезанного им из-за полдесятины лишней "земельки"? В прошлом году, читая лекцию в Сорбонне, я приводил слова великого русского историка, Ключевского: "Конец русскому государству будет тогда, когда разрушатся наши нравственные основы, когда погаснут лампады над гробницей Сергия Преподобного и закроются врата Его Лавры". Великие слова, ныне ставшие ужасными! Основы разрушены, врата закрыты и лампады погашены. Но без этих лампад не бывать русской земле – и нельзя, преступно служить ее тьме.

Да, колеблются устои всего мира, и уже представляется возможным, что мир не двинулся бы с места, если бы развернулось красное знамя даже и над Иерусалимом и был бы выкинут самый Гроб Господень: ведь московский Антихрист уже мечтает о своем узаконении даже самим римским наместником Христа. Мир одержим еще небывалой жаждой

корысти и равнением на толпу, снова уподобляется Тиру и Сидону, Содому и Гоморе. Тир и Сидон ради торгашества ничем не побрезгуют. Содом и Гомора ради похоти ни в чем не постесняются. Все растущая в числе и все выше поднимающая голову толпа сгорает от страсти к наслаждению, от зависти ко всякому наслаждающемуся. И одни (жаждущие покупателя) ослепляют ее блеском мирового базара, другие (жаждущие власти) разжиганием ее зависти. Как приобресть власть над толпой, как прославиться на весь Тир, на всю Гомору, как войти в бывший царский дворец или хотя бы увенчаться венцом борца якобы за благо народа? Надо дурачить толпу, а иногда даже и самого себя, свою совесть, надо покупать расположение толпы угодничеством ей. И вот образовалось в мире уже целое полчище провозвестников "новой" жизни, взявших мировую привилегию, концессию на предмет устроения человеческого блага, будто бы всеобщего и будто бы равного. Образовалась целая армия профессионалов по этому делу – тысячи членов всяческих социальных партий, тысячи трибунов, из коих и выходят все те, что в конце концов так или иначе прославляются и возвышаются. Но, чтобы достигнуть всего этого, надобна; повторяю, великая ложь, великое угодничество, устройство волнений, революций, надо от времени до времени по колено ходить в крови. Главное же надо лишить толпу "опиума религии", дать вместо Бога идола в виде тельца, то есть, проще говоря, скота. Пугачев! Что мог сделать Пугачев? Вот "планетарный" скот – другое дело. Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее; он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек – и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? На своем кровавом престоле он стоял уже на четвереньках; когда английские фотографы снимали его, он поминутно высовывал язык: ничего не значит, спорят! Сам Семашко брякнул сдуру во всеуслышание, что в черепе этого нового Навуходоносора нашли зеленую жижу вместо мозга; на смертном столе, в своем красном гробу, он лежал, как пишут в газетах, с ужаснейшей гримасой на серо-желтом лице: ничего не значит, спорят! А соратники его, так те прямо пишут:

"Умер новый бог, создатель Нового Мира, Демиург!" Московские поэты, эти содержанцы московской красной блудницы, будто бы родящие новую русскую поэзию, уже давно пели:

Иисуса на крест, а Варраву -
Под руки и по Тверскому…

Кометой по миру вытяну язык,
До Египта раскорячу ноги…
Богу выщиплю бороду,
Молюсь ему матерщиной…

И если все это соединить в одно – и эту матерщину и шестилетнюю державу бешеного и хитрого маньяка и его высовывающийся язык и его красный гроб и то, что Эйфелева башня принимает радио о похоронах уже не просто Ленина, а нового Демиурга и о том, что Град Святого Петра переименовывается в Ленинград, то охватывает поистине библейский страх не только за Россию, но и за Европу; ведь ноги-то раскорячиваются действительно очень далеко и очень смело. В свое время непременно падет на все это Божий гнев, – так всегда бывало. "Се Аз востану на тя, Тир и Сидон, и низведу тя в пучину моря…" И на Содом и Гомору, на все эти Ленинграды падает огнь и сера, а Сион, Божий Град Мира, пребудет вовеки. Но что же делать сейчас, что делать человеку вот этого дня и часа, русскому эмигранту?

Миссия русской эмиграции, доказавшей своим исходом из России и своей борьбой, своими ледяными походами, что она не только за страх, но и за совесть не приемлет Ленинских градов, Ленинских заповедей, миссия эта заключается ныне в продолжении этого неприятия. "Они хотят, чтобы реки текли вспять, не хотят признать совершившегося!" Нет, не так, мы хотим не обратного, а только иного течения. Мы не отрицаем факта, а расцениваем его, – это наше право и даже наш долг, – и расцениваем с точки зрения не партийной, не политической, а человеческой, религиозной. "Они не хотят ради России претерпеть большевика!" Да, не хотим – можно было претерпеть ставку Батыя, но Ленинград нельзя претерпеть. "Они не прислушиваются к голосу России!" Опять не так: мы очень прислушиваемся и – ясно слышим все еще тот же и все еще преобладающий голос хама, хищника и комсомольца да глухие вздохи. Знаю, многие уже сдались, многие пали, а сдадутся и падут еще тысячи и тысячи. Но все равно: останутся и такие, что не сдадутся никогда. И пребудут в верности заповедям Синайским и Галилейским, а не планетарной матерщине, хотя бы и одобренной самим Макдональдом. Пребудут в любви к России Сергия Преподобного, а не той, что распевала: "Ах, ах, тра-та-та, без креста!" и будто бы мистически пылала во имя какого-то будущего, вящего воссияния. Пылала! Не пора ли оставить эту бессердечную и жульническую игру словами, эту политическую риторику,

эти литературные пошлости? Не велика радость пылать в сыпном тифу или под пощечинами чекиста! Целые города рыдали и целовали землю, когда их освобождали от этого пылания. "Народ не принял белых…" Что же, если это так, то это только лишнее доказательство глубокого падения народа. Но, слава Богу, это не совсем так: не принимали хулиган, да жадная гадина, боявшаяся, что у нее отнимут назад ворованное и грабленное.

Россия! Кто смеет учить меня любви к ней? Один из недавних русских беженцев рассказывает, между прочим, в своих записках о тех забавах, которым предавались в одном местечке красноармейцы, как они убили однажды какого-то нищего старика (по их подозрениям, богатого), жившего в своей хибарке совсем одиноко, с одной худой собачонкой. Ах, говорится в записках, как ужасно металась и выла эта собачонка вокруг трупа и какую лютую ненависть приобрела она после этого ко всем красноармейцам; лишь только завидит вдали красноармейскую шинель, тотчас же вихрем несется, захлебывается от яростного лая! Я прочел это с ужасом и восторгом, и вот молю Бога, чтобы Он до моего последнего издыхания продлил во мне подобную же собачью святую ненависть к русскому Каину. А моя любовь к русскому Авелю не нуждается даже в молитвах о поддержании ее. Пусть не всегда были подобны горнему снегу одежды белого ратника, да святится вовеки его память! Под триумфальными вратами галльской доблести неугасимо пылает жаркое пламя над гробом безвестного солдата. В дикой и ныне мертвой русской степи, где почиет белый ратник, тьма и пустота. Но знает Господь, что творит. Где те врата, где то пламя, что были бы достойны этой могилы. Ибо там гроб Христовой России. И только ей одной поклонюсь я, в день, когда Ангел отвалит камень от гроба ее.

Будем же ждать этого дня. А до того, да будет нашей миссией не сдаваться ни соблазнам, ни окрикам. Это глубоко важно и вообще для неправедного времени сего, и для будущих праведных путей самой же России.

А кроме того, есть еще нечто, что гораздо больше даже и России и особенно ее материальных интересов. Это – мой Бог и моя душа. "Ради самого Иерусалима не отрекусь от Господа!" Верный еврей ни для каких благ не отступится от веры отцов. Святой Князь Михаил Черниговский шел в Орду для России; но и для нее не согласился он поклониться идолам в ханской ставке, а избрал мученическую смерть.

Говорили – скорбно и трогательно – говорили на древней Руси: "Подождем, православные, когда Бог переменит орду".

Давайте подождем и мы. Подождем соглашаться на новый "похабный"

мир с нынешней ордой.

Париж, 29 марта 1924 г.
Ив. БУНИН

---

notes

В "Записях Бунина" о 1885 г. читаем: "На Рождество приехал домой через Васильевское, Эмилия Васильевна Фехнер, гувернантка Туббе. Тотчас влюбился. В гимназию больше не вернулся". Раннее увлечение Фехнер оставило след в душе Бунина. В. Н. Муромцева – Бунина рассказывает: "В 1937 году, когда Иван Алексеевич был в Ревеле, столице Эстонской республики, после вечера, где он выступал, подошла к нему полная, небольшого роста дама. Это была Эмилия!.. Они долго говорили… Обо всех расспрашивала подробно. Иван Алексеевич взволнованно рассказал мне об этой встрече. Вспоминал он Эмилию и их неожиданную встречу и незадолго до смерти"

Ю.А. Бунин (1857 – 1921), старший брат Бунина, оказал на него огромное влияние. Окончив с золотой медалью гимназию, поступил на физико-математический факультет Московского университета, где ему прочили блестящую будущность. Еще в гимназии сблизился с революционерами – народниками и в 1881 г. был исключен из университета за участие в подпольных кружках; университетский курс заканчивал в Харькове. В 1884 г. был арестован в Озерках по доносу соседского помещика Логофета, провел год в тюрьме, а затем был отправлен под надзор полиции в родительское имение. После того как Бунин бросил Елецкую гимназию, старший брат много занимался с ним, развивал его интересы и относился к нему, по словам писателя Н.Д. Телешова, "почти как отец".

Маша – сестра Бунина Мария Алексеевна (1873 – 1930), в замужестве Ласкаржевская.

Очевидно, речь идет о В.В. Пащенко (1870 – 1918), мучительный роман с которой, закончившийся в 1894 г. разрывом, оставил неизгладимый отпечаток в душе Бунина; вызвал к жизни позднейший рассказ "В ночном море" (1924) и образ Лики в романе "Жизнь Арсеньева".

Волкенштейн А.А. (1852 – 1925) – земский врач, жил в Полтаве и помогал Л.Н. Толстому в закупке продовольствия для голодающих.

4 ноября 1894 г. В.В. Пащенко уехала из Полтавы, где они жили с

Буниным, оставив записку: "Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом". В следующем году она вышла замуж за друга Бунина А.Н. Бибикова.

Е.А. Бунин (1858 – 1935), брат Бунина.

Мясоедов Г.Г. (1835 – 1911), художник, один из основателей Товарищества передвижников.

Михайловский Н.К. (1842 – 1904) – публицист и литературный критик, редактор журнала "Русское богатство", крайний сторонник позитивизма.

Кривенко С.Н. (1847 – 1907) – публицист либерально – народнического направления, член редакции журн. "Русское богатство".

Жемчужников А.М. (1821 – 1908) – поэт. Бунин высоко ценил его творчество и посвятил 50 – летию литературной деятельности Жемчужникова статью "Поэт – гуманист". В книге В. Н. Муромцевой – Буниной читаем: "Нанес он визит и поэту Жемчужникову, с которым несколько лет состоял в переписке. Жемчужников сразу оценил его стихи и помогал на первых порах устраивать их в "Вестнике Европы". Старший собрат принял молодого поэта с распростертыми объятиями, пригласил обедать и много рассказывал о прошлом".

Федоров А.М. (1868 – 1949) – поэт, беллетрист, драматург; приятель Бунина.

Будищев А.Н. (1867 – 1916) – беллетрист, писавший под сильным влиянием Чехова и Достоевского.

Ладыженский В.Н. (1859 – 1932) – беллетрист, был близок с Чеховым и оставил о нем воспоминания.

Михеев В.М. (1859 – 1908) – поэт и беллетрист, бытописатель Сибири.

Потапенко И.Н. (1856 – 1929) – беллетрист, получивший широкую известность после появления повести "На действительной службе" (1890), где выведен "идеальный" священник о.Кирилл Обновленский, ведущий в народе широкую филантропическую деятельность.

Баранцевич К.С. (1851 – 1927) – второстепенный беллетрист.

Гиппиус З.Н. (1869 – 1945) – поэт – символист, жена Д.С. Мережковского, автор воспоминаний "Живые лица".

Мережковский Д.С. (1865 – 1941) – поэт, исторический романист, критик, идеолог русского символизма и религиозный мыслитель; в эмиграции Мережковские в течение ряда лет находились в близких отношениях с Буниными.

Минский (Виленкин) Н.М. (1855 – 1937) – поэт – символист.

Савина М.Г. (1854 – 1915) – русская актриса.

Елпатьевский С.Я. (1854 – 1933) – писатель, публицист, представитель народнической литературы.

Давыдова А.А. (урожд. Горжанская; 1848 – 1902) – издательница журн. "Мир божий".

Муся – дочь Давыдовой Мария Карловна, в первом замужестве Куприна, во втором Иорданская (1881 – 1966), издательница журнала после смерти матери, автор книги воспоминаний "Годы молодости". В.Н. Муромцева – Бунина в своей книге рассказывала: "В этот приезд у него (т.е. Бунина. – О.М.) заводятся знакомства среди молодых писателей: Федоров, поэт, романист, впоследствии и драматург, очень в себе уверенный сангвиник, подвижный, любящий путешествия; поэт и левый земский деятель Ладыженский,-милый наш Володя, человек редкой души. Он был маленького роста, владел крупным имением в Пензенской губернии; Михеев, необыкновенной толщины… знаток иностранной литературы, очень образованный и умный сибиряк; Будищев… Потапенко, – с ним я познакомилась в каком-то петербургском ресторане, куда мы однажды поздно ночью заехали с Иваном Алексеевичем. Он сидел один и пил красное вино. Меня поразил его странный синеватый цвет лица. А в пору их первых встреч он был красив, молод, хорошо пел, имел большой успех в литературе и у женщин. Младшая дочь Давыдовой, еще совсем молоденькая, с горячими глазами, живая брюнетка, очень остроумная, вечно хохотавшая Муся, Бунину понравилась, и они подружились "на всю жизнь". У них или в редакции "Русского богатства" они познакомились с Елпатьевским, писателем, врачом и политическим борцом, побывавшим в сибирской ссылке, человеком большой привлекательности. Его дочь Ледя, или Людмилочка, подруга Муси, в первый год знакомства с Буниным еще была гимназисткой. И они тоже подружились "на всю жизнь".

Станюкович К.М. (1843 – 1903) – писатель, оставшийся в литературе главным образом своими "Морскими рассказами".

Миров – сценический псевдоним оперного певца В.С. Миролюбова (1860 – 1939), ставшего затем редактором – издателем популярного "Журнала для всех".

Мамин – настоящая фамилия писателя – романиста Д.Н. Мамина – Сибиряка (1852 – 1912)» (в Царском Селе.

Лопатина Е.М. (1865 – 1935) – писательница (псевдоним К. Ельцова), роман которой "В чужом гнезде" редактировал Бунин. Как вспоминает В. Н. Муромцева – Бунина, "самая большая дружба конца этого года и первой половины 1898 была у него (т.е. Бунина) с Катериной Михайловной Лопатиной. В журнале "Новое слово" начал печататься ее роман, и они вместе читали корректуру… У нее был несомненно художественный талант, только она не умела в полной мере им овладеть… Она

рассказывала: "Бывало, идем по Арбату, он в высоких ботиках, в потрепанном пальто с барашковым воротником, в высокой барашковой шапке и говорит: "Вот вы все смеетесь, не верите, а вот увидите, я буду знаменит на весь мир!" Какой смешной, – думала я…". Вспоминала она об этом, гостя у нас на Бельведере, в Грасе, после получения Иваном Алексеевичем Нобелевской премии".

Святополк I Окаянный (ок. 980 – 1019) – князь Туровский (с 988), киевский (1015 – 1019), старший сын Владимира I. В борьбе за киевский стол убил трех своих братьев – Бориса, Глеба и Святослава. Изгнан Ярославом Мудрым; в 1018 г. с помощью поляков и печенегов вновь завладел Киевом, но был разбит.

Карташов А.В. (1875 – 1960)-министр религий во Временном правительстве (1917), профессор Духовной академии, историк русской церкви и общественный деятель.

Цакни Н.П. – богатый одесский коммерсант, владелец и фактический редактор газ. "Южное обозрение", в которой сотрудничал Бунин.

Цакни А.Н. (1879 – 1963) – дочь Н.П. Цакни, первая жена Бунина, с которой он обвенчался 23 сентября 1898 г. Брак оказался неудачным и окончательно распался в 1900 г.

Речь идет о романсе Бенжамена – Луи – Поля Годара (1849 – 1895), французского композитора и скрипача "В убежище сюда направил нас Господь…".

Беба – Б.Н. Цакни, брат Анны Николаевны.

Лохвицкая Мирра (Мария Александровна; 1869 – 1905) – поэтесса, сестра писательницы Н.А. Тэффи.

Златовратский Н.Н. (1845 – 1911) – писатель народнического направления.

Доктор Рот – "специалист по нервным болезням, убедивший Бунина отдохнуть в деревне".

Поссе В.А. (1864 – 1940) – литератор и издатель, редактор журнала "Жизнь".

Куровский В.П. (1869 – 1915) – художник, хранитель Одесского музея. По воспоминаниям Муромцевой – Буниной, "Иван Алексеевич очень ценил Куровского и несколько лет был просто влюблен в него. После его самоубийства, во время первой мировой войны, он посвятил ему стихотворение "Памяти друга", где поэт объясняет, чем Куровский был ему так близок…".

Кульман Н.К. (1871 – 1940) – философ – идеалист и критик. Близкий знакомый Буниных в эмиграции.

Березина – ялтинская знакомая Чехова, владелица имения Су – Ук – Су в Крыму.

Соловцев Н.Н. (1856 – 1902) – артист, в 70-х гг. играл в Таганрогском театре, где с ним познакомился Чехов; позднее играл в театре Корша и театре Абрамовой. Чехов посвятил ему водевиль "Медведь". О смерти Соловцева Чехов сообщает в письме жене О. Л. Книппер от 15 января 1902 г.; о тяжелом заболевании Л. Н. Толстого ("Толстой очень плох… Вероятно, о смерти его услышишь раньше, чем получишь это письмо") в письме ей же, от 27 января 1902 г.

В письме О.Л. Книппер от 31 января 1902 г. Чехов сообщает: "Осенью" Бунина сделано несвободной, напряженной рукой, во всяком случае купринские "В цирке" гораздо выше". О приезде Горького в Крым Чехов извещает О. Л. Книппер в письме от 12 ноября 1901 г.

Нилус П.А. (1869 – 1943) – художник и писатель, приятель Бунина.

Ярцев Г.Ф. (ум. в 1918) – врач, художник – любитель; в его доме в Крыму первое время жил Чехов.

Найденов (Алексеев С.А.; 1868 – 1922) – драматург, приобрел широкую популярность пьесой "Дети Ванюшина", показывающей конфликт "отцов и детей" в купеческой среде. Так, служивший приказчиком в магазине готового платья Алексеев получил Грибоедовскую премию и стал драматургом. из-за возникшей дружеской близости Бунина и Найденова Чехов называл их "Пунин и Бабурин".

В Новочеркасске жила в это время сестра Бунина М.А. Ласкаржевская, у которой находилась их мать.

Голоушева Е.И. – певица, жена писателя и врача С.С. Голоушева (Сергея Глаголя).

Бонье С.П. (ум. в 1921), ялтинская знакомая Чеховых.

Буковецкий Е.И. (1866 – 1948) – художник, приятель Бунина.

Уточкин С.И. (1876 – 1916) – спортсмен и один из первых русских авиаторов.

В 1906 г. Бунин познакомился с В.Н. Муромцевой (1881 – 1961), которая стала его женой. Вместе с ней он в 1907 г. совершил путешествие в "святую землю". Впечатления от этой поездки легли в основу написанных позднее рассказов и очерков о Востоке, объединенных затем в сборник "Тень птицы".

Согласно Евангелию, Христос повелел бесам, овладевшим человеком, выйти из него и войти в стадо свиней: "и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло".

Пушешников Н.А. (1882 – 1939), племянник Бунина, переводчик

Тагора, Киплинга, Голсуорси, Джека Лондона. Оставил о Бунине воспоминания.

В это время (3 – 8 июля 1911 г.) Бунин работает над рассказом "Сто восемь" (позднее названным "Древний человек"), в котором отразились впечатления от встреч с Таганком.

Н.О. Ромашков, домашний учитель Бунина, о котором рассказано в "Автобиографической заметке".

Конфуций (ок. 551 – 479 гг. до н. э.) – древнекитайский мыслитель, основатель этико – политического учения конфуцианства.

Как и следующий "стих" ("Три сестры жили, три Марии Египетские были…"), использован Буниным в рассказе 1913 г. "Я все молчу".

Очевидно, биографию братьев Киреевских – И.В. Киреевского (1806 – 1856), философа, публициста и литературного критика и П.В. Киреевского (1808 – 1856), фольклориста, археолога, археографа, переводчика и публициста.

Некоторые черты Якова отразились затем в герое рассказа "Божье древо" (1927) о Якове Нечаеве.

Здесь обнажается автобиографическая основа повести Бунина "Суходол" и ее героев, в которых течет "бунинская кровь", с их "странностями" выморочного "рыцарского" сословия.

Вольнов (Владимиров) И.Е. (1885 – 1931) – писатель, участник революционного движения (социалистов – революционеров).

Речь идет о книге "Образы Италии", т. II (Рим, Неаполь и Сицилия) искусствоведа П.П. Муратова (1881 – 1951).

Речь идет о замысле рассказа "Казимир Станиславович" (1916).

Домовая церковь св. мироносиц Марфы и Марии была построена в начале нашего века по проекту архитектора Щусева для Марфо-мариинской общины, где содержались увечные воины, на средства великой княгини Елизаветы Федоровны. Впечатления от посещения московских уголков, церквей и соборов, в том числе и Марфо-мариинской обители, позднее отобразились в рассказе "Чистый понедельник" (1944).

Зачатьевский монастырь – женский монастырь XV в. в Москве, между ул. Остоженкой и берегом реки Москвы. В 1930-х гг. разобран. Чудов монастырь – Алексеевский Архангело-михайловский мужской монастырь в Кремле был основан в 1365 г. Разобран в 1930 – е гг.

Вифания – Спасо – Вифанский мужской монастырь; основан в 1783 г.; находился в 3 верстах от Троице – Сергиевской лавры. После 1917 г. упразднен.

Обращение в защиту евреев было написано М. Горьким при участии

Леонида Андреева и Федора Сологуба в связи с обвинениями евреев, живших в приграничных областях, в шпионаже и напечатано в газ. "Биржевые ведомости". Позднее М. Горький выступил с обращением в защиту евреев в сборнике "Щит".

Авилова Л.А. (1865 – 1942) – друг Чехова и, по утверждению ряда исследователей, его главная потаенная любовь. Писательница, автор воспоминаний о Чехове. Бунин неизменно высоко ценил Авилову, видя в ней редкостную натуру с глубокой внутренней духовной жизнью. В мае 1917 г. он сказал о ней в беседе со своим племянником Н. А. Пушешниковым: "Она принадлежит к той породе людей, к которой относятся Тургеневы, Чеховы. Я говорю не о талантах, – конечно, она не отдала писательству своей жизни, она не сумела завязать тот крепкий узел, какой необходим писателю, она не сумела претерпеть все муки, связанные с литературным искусством, но в ней есть та сложная таинственная жизнь".

Тихонов (Н. Серебров) А.Н. (1880 – 1956)-горный инженер, литератор, принимавший участие во многих литературных начинаниях Горького; автор книги воспоминаний "Время и люди".

Толстой И.Л. (1866 – 1933) – второй сын Л.Н. Толстого.

Корш Ф.А. (1852 – 1915) – основатель и владелец драматического театра в Москве.

Шкляр Н.Г. – участник Книгоиздательства писателей в Москве, беллетрист.

Зилов Л.Н. (1883 – 1937) – поэт и детский писатель.

Ляшко (Лященко) Н.Н. (1884 – 1953) – русский писатель, в 1910 – е гг. член "Молодой Среды".

"Всенощное бдение" написано С.В. Рахманиновым в 1915 г. и посвящено исследователю и издателю православной музыки С. Смоленскому.

Дмитрий (Димитрий) Туптало, митрополит Ростовский (1651 – 1709) – русский церковный деятель и духовный писатель, борец против раскола, активный сторонник преобразований Петра I; канонизирован православной церковью.

Серафим Саровский (1760 – 1833)-монах Саровской пустыни, чья беспорочная жизнь описана в ряде церковных работ ("Сказания о жизни и подвигах блаженной памяти о. Серафима". М., 1851; "Сказание о старце Серафиме" архимандрита Сергия, 1858 и др.); в православной церкви символ подвижничества.

Дашкова Е.Р. (1743 – 1810) – княгиня, президент Российской академии. "Записки Дашковой" (впервые на русском языке – в 1859 г. в Лондоне), при крайней субъективности, содержат множество исторических фактов о времени царствования Екатерины II.

Коринфский А.А. (1868 – 1937) – поэт. В эмиграции оставил воспоминания литературно – политического характера; учился в одном классе Симбирской гимназии с В. И. Лениным. Запись Бунина от 23 февраля 1916 г. дается по книге В. Н. Муромцевой – Буниной "Жизнь Бунина", с. 67 – 68. В книге "Устами Буниных" произведено значительное сокращение составителем.

Лебедев В.П. – поэт, секретарь редакции журн. "Север" (1892 – 1895).

Случевский К.К. (1837 – 1904) – поэт и прозаик, один из предшественников русского символизма.

А.Н. Бунин (1827 – 1906); умер 5 или 6 декабря.

Чириков Е.Н. (1864 – 1932) – прозаик и драматург.

Тальников Д.Л. (1882 – 1961) – литературный критик.

Хвостов А.Н. (1872 – 1918)-министр внутренних дел России (1915 – 1916), председатель фракции правых 4-й Государственной думы; расстрелян органами ВЧК.

Горемыкин И.Л. (1839 – 1917)-министр внутренних дел (1895 – 1899), председатель совета министров (1906 и 1914 – 1916); противник 4-й Государственной думы и "прогрессивного блока"; ставленник Г.Е. Распутина.

Бэклин Арнольд (1827 – 1901) – швейцарский живописец, представитель символизма и стиля "модерн". В фантастических сценах сочетал символику с натуралистической достоверностью.

Анджелико (собств. Фра Джованни да Фьезоле, прозвище Беато Анджелико; ок. 1400 – 1455) – итальянский живописец, представитель раннего Возрождения.

Барыба – персонаж произведения не Городецкого, а повести "Уездное" (1912) Е.И. Замятина (1884 – 1937).

"Воспоминания" Н.В. Давыдова (1826 – 1916), сына декабриста В.Л. Давыдова.

"Дневник" Башкирцевой М.К. (1860 – 1884), художницы; дневник напечатан в 1887 г. Близ Полтавы находилось имение ее родителей, и Бунин, проживая в Полтаве, встречался с ее братом.

Клестов Н.С. (псевд. Ангарский; 1879 – 1943) – издатель и общественный деятель; заведовал практическими делами Книгоиздательства писателей в Москве.

Архаламеевская ночь – искаж. Варфоломеевская ночь, массовые убийства католиками в ночь на 24 августа 1572 г., в день св. Варфоломея, гугенотов, приверженцев кальвинизма.

Гоц А.Р. (1882 – 1940?) – член ЦК партии эсеров, в 1917 г. вошел в первый состав президиума ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов. В 1922 г. осужден советским судом за контрреволюционную деятельность; был амнистирован, позднее погиб во время сталинских репрессий.

Дан (Гурвич) Ф.И. (1871 – 1947) – один из лидеров меньшевизма. В 1917 г. член исполкома Петроградского Совета. В 1922 г. в числе других руководителей меньшевистской партии выслан за границу.

Авксентьев Н.Д. (1878 – 1943) – один из лидеров партии эсеров; министр внутренних дел во втором коалиционном Временном правительстве Керенского. В 1918 г. выслан по приказу Колчака "за революционную пропаганду" за границу.

Керенский А.Ф. (1881 – 1970) – один из лидеров партии эсеров. глава Временного правительства и верховный главнокомандующий. После Октябрьской революции 1917 г. эмигрировал. В Париже неоднократно встречался с Буниным.

Е.И. Ласкаржевский (1899 – 1919) – сын сестры Бунина Марии Алексеевны.

"Новая жизнь" – газета, издававшаяся группой социал – демократов, так называемых "интернационалистов" (А. Тихонов, Н. Суханов, В. Базаров, В. Десницкий), редактором и пайщиком которой был М. Горький. Выходила в Петрограде с 18 апреля (1 мая) 1917 г. по июль 1918; была закрыта по приказу большевистского руководства.

Шмелев И.С. (1873 – 1950). А.К. Бабореко цитирует воспоминания Н.А. Пушешникова, записавшего в дневнике 21 апреля 1918 г. о споре на собрании Книгоиздательства писателей: "Шмелев говорил чепуху о религии и русском народе. Иван Алексеевич потом сказал «…» "Ты слышал, что он несет! Что это? Бред сумасшедшего? И в какое время! В какое страшное время. И ведь кто это говорит? Это говорит не какой-нибудь захолустный сельский учитель, а знаменитый писатель, якобы понимающий свою страну, знающий свой народ!". Позднее, пережив голод в Крыму и расстрел единственного сына – офицера большевиками в 1920 г., Шмелев по приглашению Бунина выехал в 1922 г. за границу, жил у Буниных в Грасе. Дневники воскрешают сложные, менявшиеся отношения

Бунина к Шмелеву.

Газ. "Раннее утро" (М., 1917 г. 13 авг.) сообщила о "Всероссийском государственном совещании", которое происходило в Москве, в Большом театре, под председательством Керенского. На этом совещании выявились глубокие разногласия между правительством Керенского и военной группировкой главнокомандующего генерала Л.Г. Корнилова, вскоре приведшие к так называемому "мятежу Корнилова". На конференции делегаты большевиков получили наказ огласить свою декларацию и покинуть совещание.

Кускова Е.Д. (1869 – 1958) – публицист, идеолог "экономизма", деятель "Союза Освобождения"; в 1922 г. в числе других представителей науки, культуры, литературы выслана за границу.

Вернон Ли (1856 – 1935) – английская писательница, романистка, драматург, критик.

Сочинение древнегреческого философа Платона (ок. 427 – 347 до н.э.).

Мартов (Цедербаум) Ю.О. (1873 – 1923) – один из лидеров меньшевизма, с 1917 г. руководитель его "левого крыла"; с 1919 г. член ВЦИК; с 1920 г. эмигрант.

Львова Н.Г. (1891 – 1913) – поэтесса, автор сборника стихов "Старая сказка", с предисловием В.Я. Брюсова; в 1913 г. покончила с собой.

Вилье де Лиль – Адан (1838 – 1889) – французский поэт, член группы "Парнас", а затем символист.

В ночь на 22 августа 1917 г. по распоряжению Временного правительства были арестованы великие князья Михаил Александрович и Павел Александрович; расстреляны органами ВЧК в 1918 г.

Книга Полевого Н.А. (1796 – 1846) – "История народа русского".

28 августа газеты опубликовали "Обращение к населению" Керенского: "26 августа ген. Корнилов прислал ко мне члена Гос. Думы В.Н. Львова с требованием передачи Вр«еменным» Правительством всей полноты гражданской и военной власти с тем, что им по личному усмотрению будет составлено новое правительство для управления страной". Керенский отдал приказ о смещении Корнилова, объявлении Петрограда на военном положении. Ответом был мятеж Корнилова, закончившийся его поражением и арестом бывшего верховного главнокомандующего.

В "Объявлении верховного главнокомандующего" от 27 августа, в частности, говорилось: "Вынужденный выступить открыто – я, ген«ерал» Корнилов, заявляю, что Вр«еменное» Пр«авитель»ство под давлением большевистского большинства советов действует в полном согласии с

планами германского генерального штаба, одновременно с высадкой вражеских сил на Рижском побережье, убивает армию и потрясает страну внутри. Тяжелое сознание неминуемой гибели страны повелевает мне в эти грозные минуты призвать всех русских людей к спасению умирающей Родины. Все, у кого бьется в груди русское сердце, все, кто верит в Бога, в храмы, молите Господа Бога об объявлении величайшего чуда, спасении Родной Земли. Я, ген. Корнилов, – сын казака – крестьянина, заявляю всем и каждому, что лично мне ничего не надо, кроме сохранения Великой России, и клянусь довести народ – путем победы над врагом, – до Учредительного Собрания, на котором он сам решит свои судьбы и выберет уклад своей новой государственной жизни".

Каледин А.М. (1861 – 1918) – генерал от кавалерии (1917); 17 (30) июня 1917 г. на Большом войсковом круге избран атаманом Донского казачества. На августовском Государственном совещании выступил с программой подавления революционного движения. Известие о выступлении Каледина было ошибочным. Он возглавил мятеж на Дону 25 октября (7 ноября) 1917 г.; после неудачи восстания Каледин застрелился.

Каменев (Розенфельд) Л.Б. (1883 – 1936) – первый председатель ВЦИК большевиков, в 1917 г. один из редакторов газ. "Правда", член ЦК (б) и исполкома Петроградского Совета; арестован Временным правительством в июльские дни, но освобожден после корниловского мятежа.

Стеклов (Нахамкис) Ю.М. (1873 – 1941) – в 1917 г. член исполкома Петроградского Совета.

Либер (Гольдман) М.И. (1880 – 1937) – один из лидеров бунда и меньшевизма; в 1917 г. член исполкома Петроградского Совета и ВЦИК; позднее отошел от политической деятельности. Погиб во время сталинских репрессий.

Кишкин Н.М. (1864 – 1930) – член партии кадетов, в 1917 г. министр Временного правительства.

Савинков Б.В. (лит. псевдоним – В. Ропшин; 1879 – 1925) – один из лидеров партии эсеров, руководителей ее "Боевой организации эсеров". В 1917 г. комиссар Временного правительства при ставке верховного главнокомандующего, комиссар Юго – Западного фронта, товарищ военного министра. Впоследствии принимал участие в создании Добровольческой армии, возглавлял антибольшевистский "Народный Союз защиты родины и свободы". Во Франции встречался с Буниными. При попытке нелегально перейти советскую границу был арестован и погиб на Лубянке при невыясненных обстоятельствах.

Брешко – Брешковская Е.К. (1844 – 1934) – видная деятельница

народничества, а позднее одна из основателей партии эсеров. После Февральской революции Брешко – Брешковская активно поддерживала Временное правительство Керенского. После Октября эмигрировала.

Эрфуртская программа – первая и единственная после объединительного съезда в Готе марксистская программа, принятая социал – демократической партией Германии в 1891 г. на партсъеде в Эрфурте; решающее влияние в ее разработке сыграл Ф. Энгельс.

Милюков П.Н. (1859 – 1943) – политический деятель, видный историк, с 1907 г. председатель ЦК партии кадетов, министр иностранных дел Временного правительства; в эмиграции, в Париже, издавал газ. "Последние новости", в которой часто печатался Бунин.

Бурцев В.Л. (1862 – 1942) – общественный и политический деятель, близкий партии эсеров, редактор газ. "Наше общее дело". За успешную деятельность по разоблачению провокаторов, в том числе и Азефа, получил прозвище "ассенизатор политических партий". После 1917 г. – эмигрант.

Алексеев М.В. (1857 – 1918) – генерал от инфантерии (1914), из семьи солдата. Начальник штаба ставки главковерха (март-май 1917). 30 августа 1917 г. стал начальником штаба главковерха Керенского; по прибытии в ставку арестовал Корнилова, поднявшего мятеж. В ноябре 1917 г. создал Алексеевскую организацию, явившуюся ядром Добровольческой армии. С 31 августа 1918 г. верховный руководитель Добровольческой армии и председатель "Особого совещания".

"Село Степанчиково" – повесть Ф. М. Достоевского. Достоевского как писателя (и как человека) Бунин стойко отрицал, не принимал, о чем свидетельствуют многочисленные воспоминания. В. Н. Муромцева – Бунина, к примеру, записывает в дневнике: "Вчера Ян сказал: "Ну, я прочел "Кроткую". И теперь ясно понял, почему я не люблю Достоевского. Все прекрасно, тонко, умно, но он рассказчик, гениальный, но рассказчик, а вот Толстой – другое. Вот поехал бы Достоевский в Альпы и стал бы о них рассказывать. Рассказал бы хорошо, а Толстой дал бы какую-нибудь черту, одну, другую – и Альпы выросли бы перед глазами". Или: "За обедом разговор о Достоевском. Ян сказал, что он читал сцену в монастыре и что ему было нестерпимо скучно: "Всегда один прием, собрать всех вместе и скандал". Ср. также запись в дневнике Бунина от 30.IV.1940: "Не знаю, кого больше ненавижу, как человека-гоголя или Достоевского".

Учредительное собрание – представительное учреждение, которое предназначалось для установления формы правления и выработки конституции; его создание предполагалось на основе всеобщего избирательного права. После Февральской революции мелкобуржуазные

партии, а также кадеты провозглашали созыв Учредительного собрания одним из основных своих требований. Открылось 5 (18) января 1918 г. под председательством эсера В. Чернова. Большевистская фракция, а затем левые эсеры покинули заседание, после того как большинство Учредительного собрания отказалось обсуждать предложенную Я.М. Свердловым от имени ВЦИК Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Утром 6 (19) января было разогнано и закрыто. В ночь на 7 (20) января ВЦИК принял по докладу В.И. Ленина декрет о роспуске Учредительного собрания.

"Леонардо да Винчи" – роман Д. С. Мережковского из его трилогии "Христос и Антихрист". О непростых отношениях Бунина к Мережковским (ему и жене его З.Н. Гиппиус) см. в дальнейших дневниковых записях.

Как ни прекрасна юность,
Все же она убегает;
Кто хочет радоваться, пусть радуется,
В завтрашнем дне нет уверенности – (ит.)
(Перевод С. Ошерова.)

Гамсун (наст. фамилия Педерсен) Кнут (1859 – 1952) – норвежский писатель – реалист; в годы второй мировой войны сотрудничал с фашистами.

Пшибышевский Станислав (1868 – 1927) – польский писатель-модернист, популярный в предреволюционной России.

Альтенберг Петер (1859 – 1919) – австрийский писатель – импрессионист. Фофанов К.М. (1862 – 1911) – поэт, лирика которого отдельными чертами родственная символизму в то же время сохраняет близость классическим традициям. Бунин писал брату Юлию 22 июля 1890 г.: "Очень часто испытываю ощущение, которое охарактеризовал Фофанов: "Он мрачен, он угрюм, душа его полна каких-то смутных слов и ноющей печали и плачет, как струна…". Показательно также, что в юношеской статье "Недостатки современной поэзии" он упоминает в числе "современных поэтов" раньше всего Фофанова.

Катерина Павловна – Е.П. Пешкова (1878 – 1965), жена А. М. Горького, длительное время была знакома с Буниным; оставила воспоминания о своих встречах.

Буренин В.П. (1841 – 1926) – публицист, поэт, критик, сотрудник газ. "Новое время"; в 1910 – е гг. в фельетонах обвинял Бунина в "опачкивании народа".

Муралов А.И. (1886 – 1937) – в 1917 г. командующий войсками

Московского военного округа; с 1918 г. – губвоенком и комендант Тульского укрепрайона. Репрессирован в 1937 г.

Малиновская Е.К. (1875 – 1942) – актриса, комиссар театров в 1917 г.; директор Большого театра в 1920 – 1924, 1930 – 1935 гг.

Старк Л.Н. (1889 – 1937) – в 1917 г. член Исполнительной комиссии Гельсингфоргского комитета РСДРП (б), участник Октябрьского восстания в Петрограде; в ноябре – декабре 1917 г. зам. наркома почт и телеграфов; в марте – апреле 1918 г. комиссар РОСТа. Репрессирован в 1937 г.

Духонин Н.Н. (1876 – 1917) – генерал – лейтенант (1917); с 3 (16) ноября – главковерх; решением Совета Народных Комиссаров 9 (22) ноября 1917 г. отстранен от должности; убит солдатами после занятия ставки революционными войсками.

Крыленко Н.В. (1885 – 1938) – с 9 (22) ноября 1917 г. Верховный главнокомандующий (до марта 1918); погиб во время сталинских репрессий.

5 (18) ноября 1917 г. 1-й Всероссийский поместный собор избрал патриарха всея Руси Тихона (В. В. Белавина; 1865 – 1925); при Петре I патриаршество было упразднено и церковными делами ведал синод, высший государственный орган по делам церкви.

Кипен А.А. (1870 – 1938) – прозаик, очеркист.

Худяков Н.А. (1890 – 1939) – в феврале 1918 г. возглавлял отряды Красной гвардии на Дону; в августе – командующий центральным участком Царицынского фронта; в декабре 1918 г. – феврале 1919 г. – помощник командующего 10-й армией; в марте – апреле 1919 г. – член РВС группы войск харьковского направления; с апреля по июнь – командующий 3-й Украинской советской армией. Погиб во время сталинских репрессий.

Петлюра С.В. (1879 – 1926) – один из руководителей буржуазно – националистического движения на Украине. С 14 ноября 1918 г. член Украинской директории и командующий войсками Украинской народной республики; с 10 февраля председатель Директории. После разгрома Директории бежал в Варшаву; в мае 1920 г. создал в Киеве марионеточное правительство. С 1920 г. – эмигрант.

Муромцев Д.Н., юрист, в Москве в 1936 г. покончил с собой.

Махно Н.И. (1889 – 1934) – анархист; в апреле 1918 г. начал борьбу с австро – германскими оккупантами и гетманскими властями на Украине; в 1919 – 1920 гг. воевал против белогвардейцев и петлюровцев, а также против Красной Армии; трижды вступал в соглашение с Советской властью, участвовал во взятии Одессы и штурме Перекопа и трижды поднимал мятеж.

Григорьев Н. А. (1878 – 1919) – служил в войсках Петлюры, после поражения петлюровцев перешел на сторону Красной Армии. Командир 1-й Заднепровской бригады, 6-й Украинской стрелковой дивизии; вместе с частями Красной Армии брал Николаев, Херсон, Одессу; 7 мая 1919 г. поднял мятеж, захватив значительную часть юга Украины; 27 июля 1919 г. убит по приказу Махно.

Кондаков Н.П. (1844 – 1925) – почетный академик, знаменитый византолог, соредактор с Буниным (осень 1919 г.) газ. "Южное слово".

Мишле Жюль (1798 – 1874) – французский историк, исследователь французской буржуазной революции.

Кун Бела (1886-1939) – в августе 1918 г. комиссар интернационалистов на Восточном фронте; в ноябре нелегально вернулся в Венгрию и стал одним из основателей ее Коммунистической партии; после провозглашения Венгерской советской республики (март 1919 г.) нарком по иностранным и военным делам; после поражения венгерской революции вернулся в Советскую Россию; в октябре – ноябре 1920 г. член РВС Южного фронта, с ноября – председатель Крымского областного ревкома; возглавил акцию по расстрелу оставшихся в Крыму офицеров, не пожелавших уехать с Врангелем (в это время погиб единственный сын И. С. Шмелева, взятый из лазарета в Феодосии). Погиб во время сталинских репрессий.

Койранский А.А. (1884-?) – беллетрист, художник, критик и театральный деятель.

Карташев А.В. (1875 – 1960) – профессор, министр исповеданий во Временном правительстве, автор трудов по истории церкви.

О сложных отношениях в эмиграции А. И. Куприна и Бунина рассказывает К. А. Куприна: "Когда я вернулась из Домреми, мои родители при содействии Бунина поселились в меблированной квартире в одном доме и на одном с ним этаже. Квартиры были четырехкомнатные, стандартные и очень похожие одна на другую, на улице Жака Оффенбаха в квартале Пасси, почему-то облюбованном русскими эмигрантами…

В своей совершенно новой жизни в эмиграции Бунин и Куприн вели себя по-разному. Бунин завел в Париже много знакомств, любил наносить визиты. На европейский манер он заказал себе визитные карточки с дворянским "де" – "м-сье де Бунин", щегольски оделся по последней моде и сбрил бородку русского интеллигента. Отец подтрунивал над ним; Бунин воспринимал это болезненно «…»

Отношения между нашими семьями постепенно охлаждались. Близкое соседство усугубляло разногласия, которые бывали между Иваном

Алексеевичем и Александром Ивановичем, а когда мы переехали в Sevres-Ville d'Ivray, пригород Парижа, отношения наши стали еще более далекими. Постепенно столько накопилось неприязни, что имя Бунина в нашей семье стало нарицательным" (Куприна К. А. Куприн – мой отец. М., 1979. С. 128-129). К этому следует добавить, что давняя страсть Куприна к спиртному приняла в эмиграции окончательно характер заболевания. Долгие застолья, шумные проводы гостей на лестничной площадке, когда Куприн жил в доме с Буниным, приводили к ссорам. За границей Куприн оказался в состоянии растерянности и творческой подавленности. Обо всем этом и о своей любви к личности и таланту Куприна Бунин рассказал в одной из глав своей книги "Воспоминания" (см.: Собр. соч. Бунина: В 6 т. Т. 6).

Савинков Б.В. (лит. псевдоним – В. Ропшин; 1879-1925) – один из лидеров партии эсеров, писатель. До 1906 г.– в числе "Боевой организации эсеров". Был комиссаром Временного правительства при ставке главковерха. После Октябрьской революции участвовал в контрреволюционном выступлении Керенского-Краснова. В 1921-1923 гг. руководил диверсионной деятельностью против Советского государства. После ареста при попытке нелегально перейти советскую границу (1924) и суда погиб в заключении.

Чайковский Н.В. (1850-1926) – участник народнического движения, с 1904 г. примкнул к эсерам, после Февральской революции – член ЦК партии народных социалистов. В 1918 г. участвовал в создании в Москве подпольного антисоветского "Союза возрождения России", который готовил антисоветские мятежи на Севере России, в Поволжье и Сибири. "Союз возрождения России" блокировался с организованным в Москве Савинковым "Союзом защиты родины и свободы". В ходе интервенции на Севере России Антанты Чайковский – председатель и управляющий отделом иностранных дел "Верховного управления Северной области". С марта 1920 г.– член Южнорусского правительства.

Кедрин Е.И. (1851-1921) – один из организаторов партии кадетов.

Кривошеин А.В. (1857-1921) – государственный деятель, министр земледелия Российской империи (1908-1915), управляющий Дворянским и Крестьянским банками; в 1920 г. глава правительства Юга России.

Толстой А. Перед картинами Судейкина. Журн. "Жар-Птица". Париж, 1921. № 1.

Судейкин С.Ю.– художник, друг А.Н. Толстого.

Бунин исключительно высоко ценил огромный художественный дар А.Н. Толстого ("редкая талантливость всей его натуры, наделенной к тому же большим художественным даром", "все русское знал и чувствовал как

очень немногие", "работник он был первоклассный" и т.д. – очерк "Третий Толстой"). Но одновременно он находил в нем ряд неизвинительных человеческих слабостей, по его мнению, определивших судьбу Толстого. Немалую роль в этих оценках сыграл, конечно, и последующий отъезд А. Толстого в Советскую Россию (1923 г.), обретение там признания и популярности уже в качестве одного из ведущих советских писателей, автора трилогии о революции и гражданской войне "Хождение по мукам", повести "Хлеб" и т.д. Встречавшийся с Буниным в 1946 г. в Париже К. Симонов приводит его слова о А. Толстом: "После «…» предварительного злого пассажа в адрес Толстого Бунин много и долго говорил о нем. И за этими воспоминаниями чувствовалось все вместе: и давняя любовь, и нежность к Толстому, и ревность, зависть к иначе и счастливей сложившейся судьбе, и отстаивание правильности своего собственного пути" (Симонов К. Об Иване Алексеевиче Бунине. Лит. Россия. 1966. № 30, 22 июля).

Тенденциозность, ощутимая в этих и других воспоминаниях, была, однако, подогрета и некоторыми частными обстоятельствами. После описанной Буниным в книге "Воспоминания" своей встречи с Толстым в 1936 г. в Париже последний, вернувшись в Москву, также откликнулся на нее в статье "Зарубежные впечатления": "Случайно в одном из кафе в Париже я встретился с Буниным. Он был взволнован, увидев меня… Я прочел три последних книги Бунина – два сборника мелких рассказов и роман "Жизнь Арсеньева". Я был удручен глубоким и безнадежным падением этого мастера. От Бунина осталась только оболочка внешнего мастерства" (Толстой А.Н. Полн. собр. соч. М., 1949. т.13. с.518). Вряд ли А. Толстой был искренен, когда писал это. Как бы то ни было, отзыв этот стал известен Бунину и, бесспорно, обострил его неприязненное отношение к А. Толстому и его писательской судьбе. Впрочем, сложные отношения – дружба-вражда – не мешали Бунину по-прежнему высоко ценить талант А. Толстого. А. Седых вспоминает: "Бунин прочел "Петра I" А. Толстого и пришел в восторг. Не долго думая, сел за стол и послал на имя Алексея Толстого, в редакцию "Известий", такую открытку: "Алеша! Хоть ты и «…», но талантливый писатель. Продолжай в том же духе. И. Бунин" (Седых А. Далекие, близкие. с.207). К этому роману Бунин возвращался не раз. 3 января 1941 г. записал в дневнике: "Перечитывал "Петра" А. Толстого вчера на ночь. Очень талантлив!" Примечательно, что накануне Отечественной войны Бунин писал именно А. Толстому (а также старому другу Н.Д. Телешову) о своем желании вернуться домой. Письмо Толстому затерялось, открытка Телешову кончалась словами: "Я сед, сух,

но еще ядовит. Очень хочу домой". Очевидно, под влиянием полученного письма А. Толстой 17 июня 1941 г. обращается к И.В. Сталину с обширным письмом, где дает высокую оценку бунинскому таланту и говорит о его значении как писателя: "Мастерство Бунина для нашей литературы чрезвычайно важный пример – как нужно обращаться с русским языком, как нужно видеть предмет и пластически изображать его. Мы учимся у него мастерству слова, образности и реализму" (Лит. наследство. т.84. Кн.2. с.396). В архиве А. Толстого сохранилось три черновых варианта письма Сталину с обширными и очень высокими по оценкам характеристиками Бунина-писателя. Начавшаяся Великая Отечественная война нарушила все планы. Известие о кончине А. Толстого настолько потрясло Бунина, что он в течение трех дней в дневниках за 24, 25 и 26 февраля 1945 г. возвращается к этому событию (см. наст. издание). В письме к литератору Я.Б. Полонскому от 9 марта 1945 г. он говорит о Толстом, "смертью которого «…» действительно огорчен ужасно – талант его, при всей своей пестроте, был все-таки редкий!" (Архив В. В. Лаврова).

Маклаков Ю.Н. – правнук сестры Л.Н. Толстого Марии Николаевны.

Бласко Ибаньес Винсенте (1867-1928) – испанский писатель.

Ллойд Джордж Дэвид (1863-1945) – премьер-министр Великобритании (1916-1922), один из крупнейших лидеров либеральной партии.

Прево Эжен Марсель (1862-1941) – французский писатель, автор любовно-психологических романов, моралист, с 1921 г. редактировал журн. "Французское обозрение".

Пуанкаре Раймон (1860-1934) – президент Франции (1913-1920), один из организаторов интервенции в годы гражданской войны в России.

Цетлина М.С. (1882-1976), урожденная Тумаркина, жена Н.Д. Авксентьева и М.О. Цетлина. Играла большую роль в основании в 1942 г. "Нового журнала" в Нью-Йорке. В 1947 г., после выхода Бунина из парижского Союза русских писателей и журналистов, выступила с нападками на Бунина и заявила о своем с ним разрыве.

Ю.А. Бунин умер в Москве, в июле 1921 г., от истощения в больнице имени Семашко. Известие от Бунина долго скрывали. В.Н. Муромцева-Бунина записывает в дневнике от 21 сентября/4 октября: "Письмо от Федорова, где он сообщает о кончине Юл.Ал., Яну письма не передала. Очень тяжело. Бесконечно жаль Юлия Алексеевича. Страшно подумать, как Ян переживет это известие". 24 сентября/7 октября: "Когда я вошла в семью Буниных, Юлию было 48 лет. Он был в то время еще совсем молодым человеком, очень жизнерадостным, но быстро теряющимся при всяком несчастье «…»

Общественная деятельность, журнал, газетная работа – все это было как бы служение долгу, но тяга душевная у него была к литературе. Я думаю, что мало найдется русских, кто бы так хорошо знал всю русскую литературу. «…» Он обладал необыкновенно правильным литературным чутьем. Сам ничего не писавший из художественных вещей, он превосходно разбирался во всех вопросах, касавшихся сферы этого творчества. Это свойство его ценили и понимали все знавшие его писатели, а потому он был бессменным председателем "Старой Среды", также и председателем "Молодой Среды". Был он и председателем вторичной комиссии в Литературно-художественном кружке, а в последние годы он был одним из редакторов в Книгоиздательстве писателей в Москве.

В нем было редкое сочетание пессимистически настроенного ума с необыкновенно жизнерадостной натурой. Он был добр, умел возбуждать к себе добрые чувства людей. К нему шли за советом, за помощью, с просьбой выручить из беды". 27 октября/9 ноября: "Ян все еще ничего не знает, хотя удивляется, что нам ничего не пишет". 7/20 декабря: "Ян из газеты узнал о смерти Юлия Алексеевича. «…» После завтрака он пошел отдохнуть, развернул газету и прочел, как он потом рассказывал, "Концерт Юл. Бунина". Перечел, секунду подумал и решил, что концерт в пользу Юл. Бунина. Подумал: кто такой Юл. Бунин? Наконец понял то, чего он так боялся. Сильно вскрикнул. Стал ходить по комнате и говорить: "зачем уехал, если бы я там был, то спас бы его".

«…» Он говорит, что не хочет знать подробностей. Он сразу же похудел. Дома сидеть не может… Ян очень растерян. Он говорил вечером, что вся его жизнь кончилась: ни писать, ни вообще что-либо делать он уже не будет в состоянии" (Устами Буниных. т.II. с.64-69).

Бенеш Эдуард (1884-1948) – государственный и политический деятель Чехословакии. В 1915-1918 гг. – член Чехословацкого национального совета, в 1918-1935 гг. – министр иностранных дел, в 1921-1922 гг. – председатель правительства. В 1935-1938 и 1946-1948 гг. – президент Чехословакии.

Фаррер Клод (наст. имя Фредерик Шарль Эдуард Баргон) (1876-1957) – французский писатель, автор приключенческих романов.

Дроздов А.М. (1895-1963) – литератор, участник Добровольческой армии, редактор ежемесячного литературно-художественного журн. "Сполохи" (с конца 1921 г.), где печатался Бунин, а позднее (с весны 1922 г.) альм. "Веретено". В 1923 г. выехал в СССР.

Тэффи Н.А. (урожд. Лохвицкая; 1872-1952) – автор рассказов и поэтесса, близкая знакомая Буниных в конце 20-40-х гг. "Он любит

Тэффи",-записала Г. Кузнецова (Грасский дневник).

Колчак А.В. (1873-1920) – адмирал (1916), один из главных руководителей белого движения, 18 ноября 1918 г. произвел переворот и установил в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке военную диктатуру, приняв титул "верховного правителя Российского государства". Был выдан белочехами и расстрелян по постановлению Иркутского ВРК 15 января 1920 г.

Евлогий (В.С. Георгиевский; 1868-1946) – епископ Холмский и Волынский, член 2-й и 3-й Государственной думы. В 1920 г. назначен Высшим Церковным Управлением управлять русскими церквами и приходами в Западной Европе; с 1922 г. – митрополит; с 1930 г. – экзарх Вселенского Патриарха.

Злобин В.А. (1894-1968) – секретарь Мережковских (1916-1945), поэт и критик.

Бакст (наст. фамилия Розенберг) Л.С. (1866-1924) – живописец, график, театральный художник, член "Мира искусства".

Жид Андре (1869-1951) – французский писатель, лауреат Нобелевской премии, высоко ценивший бунинское творчество ("Прочел "Деревню" Бунина,– заметил он в "Дневниках". – Это превосходно"). Как вспоминает А. Бахрах, Андре Жид при упоминании Бунина сказал: "Да вы не отдаете себе отчета в том, какой у вас крупный современник" (Бахрах А. Бунин в халате. Нью-Йорк, 1979). С конца 1910-х гг. творчество А. Жида развивается под сильным влиянием Достоевского, которому он посвятил цикл статей 1908-1922 гг., объединенных в книгу (1923).

Роман Андрея Белого "Петербург" (1913-1914, переработанное издание – 1922). В нем дана сатира на сановно-бюрократический Петербург и одновременно развенчивается, по словам Д. Лихачева, "терроризм государственный и терроризм индивидуальный" (Белый А. Петербург. Л., 1981). Однако, написанный, по словам самого Белого, "искусственно себе сфабрикованным языком" и перегруженный символистской образностью, роман вызвал резкое неприятие Бунина, как и другие значительные явления того же ряда (например, "Мелкий бес" Федора Сологуба).

Шестов Лев (Л.И. Шварцман; 1866-1938) – литературный критик и философ-идеалист, представитель русского экзистенциализма. В русле идей Б. Паскаля, С. Кьеркегора, Ф.М. Достоевского, Ф. Ницше полемизировал с традиционной рационалистической философией.

Гершензон М. О. (1869-1925) – историк русской литературы и общественной мысли.

Иванов В.И. (1866-1949) – поэт-символист, автор философско-теоретических работ о символизме.

В 1921 г., проживая в одной комнате, Гершензон и В. Иванов написали в эпистолярной форме небольшую книжку, в которой отразилось их отношение к событиям "внешнего" мира и глубоко устойчивое религиозно-идеалистическое миросозерцание.

Зилотти (1863-1945) – пианист и дирижер, организатор (1903) симфонических и камерных концертов в Петербурге, профессор Московской консерватории, Джульярдской музыкальной школы (США).

Пикассо Пабло (1881-1973) – французский живописец, испанец по происхождению.

…чувство все… Все умозрения, милый друг…– цитата из трагедии Гете "Фауст", ч. I, сц. IV. Лао-Цзы (IV в. до н. э.) – автор древнекитайского трактата "Дао дэ дзинь", где "дао" означает "путь", а "дэ" – добродетель. С течением времени о жизни и деятельности Лао-Цзы создались легенды: по одной из них, он родился из левой подмышки матери; по другой – мать зачала его, проглотивши жемчужину, спустившуюся с неба; желая объяснить имя Лао (старый) Цзы (учитель), легенды говорят, что он родился на 81-м году, седым.

Неклюдов А.В.– бывший русский посланник в Болгарии, Швеции и Испании; в эмиграции у Неклюдова была небольшая ферма неподалеку от Граса.

Глазунов А.К. (1856-1936) – композитор, дирижер, автор монументальных симфонических произведений, профессор (с 1899), дирижер (1905-1928) Петербургской (Ленинградской) консерватории. В 1929 г. выехал за границу.

Речь идет о Л.Ф. Зурове (1902-1971), литераторе, приехавшем в ноябре 1929 г. в Грас, к Бунину и оставшемся в бунинской семье. О сложных отношениях, которые постепенно возникли у Бунина с Зуровым, писатель сообщал в письме к своему знакомому, литератору Я. Б. Полонскому от 10 февраля 1945 г.: "Дальше – насчет Зурова: тут тоже горячая просьба – ни слова не пишите мне насчет того, что я пишу Вам о нем – избавь Бог попадет Ваше письмо в руки В«еры» Н«иколаевны», архистрастной защитницы Зурова во всем, во всем, внушившей себе любовь к нему как к родному и будто бы архинесчастному сыну, больному, одинокому сироте и т.д. Зуров сидит на моей шее 15 лет, не слезая с меня, шантажируя моей великой жалостью к В«ере» Н«иколаевне», из-за которой я не могу выгнать

его, несмотря на то, что Зуров обращается со мной сказочно грубо, раз даже орал на весь дом, ругая меня при В.Н. последними матерными словами, называя меня "старой сволочью" (как однажды орал на нее: "свинья, свинья, старая дура") – и что теперь, ставши "другом советского отечества", уже совсем распоясался, орет, что "теперь все общее", почему он живет на "pension", что он будто бы имеет какие-то "исключительные полномочия" ревизировать для себя какую угодно квартиру, грозит на меня доносом за мою якобы малую любовь к России и т.д."

Мансфильд Кэтрин (наст. имя – Кэтлин Биген; 1888-1923) – английская и новозеландская писательница; письма и дневники Мансфильд были подготовлены к печати ее мужем Джоном Мидлтоном (1928).

А.Н. Цакни, первая жена Бунина.

Рощин (Федоров) Н.Я. (1896-1956) – писатель; прожил в доме Буниных с перерывами около двадцати пяти лет; в 1941-1945 гг. – участник французского Сопротивления; в 1946 г. вернулся в СССР. Автор воспоминаний о Бунине.

Речь идет о невестке Бунина, жене его брата Евгения Алексеевича Настасье Карловне, урожденной Гольдман.

Зайцев К.И. – писатель, автор книги "И.А. Бунин. Жизнь и творчество" (Берлин, 1934).

Алданов Марк (наст. имя М.А. Ландау; 1886-1957) – писатель, романист, публицист, близкий друг Буниных.

Блюм Леон (1872-1950) – лидер и теоретик Французской социалистической партии. В 1936-1938 гг. глава правительства Народного фронта, объединившего левые партии. При всей непоследовательности политики Блюма Народный фронт заявил о себе в Париже мощными демонстрациями и забастовками, напомнившими, очевидно, Бунину предреволюционные события в России.

Зайцев Б.К. (1881-1972) – писатель, близкий знакомый Буниных. В.А. Зайцева (урожд. Орешникова; 1878-1965) – жена Б.К. Зайцева, подруга юности В.Н. Муромцевой-Буниной.

Брата А.Н. Цакни, первой жены Бунина.

Гребенщиков Г.Д. (1883-1964) – бытописатель Сибири, автор обширного романа "Чураевы".

Ясинский И.И. (1850-1931) – писатель, журналист, автор многочисленных романов бытового характера, окрашенных в неглубокие обличительные тона. Редактор журналов "Ежемесячные сочинения", "Беседа", "Новое слово".

Оля Жирова (1933-1963), дочь жившей у Буниных Е. Н. Жировой (ум.

в 1960 г.), жены Н.Я. Рощина. Бунин очень привязался к шестилетней Оле, писал ей шуточные стихи, называл "совершенно очаровательной".

Одоевцева И.В. (род. в 1901 г.; наст. имя – И.Г. Гейнике) – поэтесса, автор мемуарных книг "На берегах Невы" и "На берегах Сены". В 1987 г. вернулась из эмиграции на Родину.

Роман французского писателя Эмиля Золя (1840-1902) "Мечта" (1888) из его двадцатитомной серии "Ругон-Маккары".

Танеев С.И. (1856-1915) – композитор, пианист, музыкально-общественный деятель; профессор Московской консерватории (в 1885-1889 – директор).

Дебюсси Клод (1862-1918) – французский композитор, основоположник музыкального импрессионизма.

Речь идет о сборнике рассказов "Темные аллеи", над которым Бунин работал в 40-е гг.

Краснов П.Н. (1869-1947) – один из руководителей контрреволюционного движения в гражданскую войну, генерал-лейтенант. В 1918 г. атаман Войска Донского и командующий белоказачьей армией. В эмиграции выступил как беллетрист, автор многотомного повествования "От двуглавого орла до красного знамени". Во время Великой Отечественной войны сотрудничал с гитлеровцами. По приговору советского суда казнен.

"Вечерние огни" – четыре выпуска последних прижизненных сборников А.А. Фета, вышедших под общим названием "Вечерние огни" в 1883, 1885, 1889 и 1891 гг.

Этот отрицательный отзыв не мешал Бунину высоко ценить творчество Эртеля (см. о нем главу из книги "Воспоминания" – Собр. соч.: В 6 т. Т. 6).

Очевидно, речь идет о Петене Анри Филиппе (1856-1951) – французском маршале, главнокомандующем французской армией (в 1917 г.) в первую мировую войну. В 1940-1944 гг., во время оккупации Франции немецко-фашистскими войсками, Петен возглавил капитулянтское правительство, а затем коллаборационистский режим. В 1945 г. приговорен к смертной казни, замененной де Голлем пожизненным заключением.

Авксентьев Н.Д. – член исполкома Петроградского Совета, председатель Всероссийского Совета крестьянских депутатов, в июле-августе – министр внутренних дел во Временном правительстве. В 1918 г. в руководстве "Союза возрождения России", председатель Уфимской директории. Во время колчаковского переворота (1918 г.) арестован белогвардейцами и выслан за границу.

Вишняк М.В. (1883 – 1976) – член партии эсеров, секретарь Учредительного собрания. В эмиграции – один из редакторов жури. "Современные записки". С 1940 г. – в Нью-йорке, входил в редакцию "Нового журнала".

Руднев В. В. (1879-1940) – член партии эсеров, городской голова Москвы в 1917 г. Член редколлегии журн. "Современные записки".

Шарль де Голль (1890-1970) – основал в 1940 г. патриотическое движение "Сопротивляющаяся Франция". В 1941 г. стал руководителем Французского национального комитета национального освобождения. Премьер-министр в 1944-1946 и в 1958 гг., президент Франции в 1958-1969 гг.

Карамзина М.В. (урожд. Максимова; 1900-1942), поэтесса, знакомая Бунина, с которым она вела регулярную переписку (с 1935 г.), живя в Эстонии, в Тарту.

Братья Эдмон (1822-1896) и Жюль де Гонкур (1830-1870) – французские писатели, авторы романов, пьес, исторических и искусствоведческих исследований. Братья Гонкуры вели "Дневник", который до 1895 г. продолжал Эдмон и в котором нашла отражение литературная жизнь эпохи, эстетические взгляды братьев Гонкуров и их современников.

Антонеску Ион (1882-1946) – военно – фашистский диктатор Румынии в 1940-1944 гг. В 1946 г. казнен по приговору народного трибунала.

Герцог миланский Людовик Моро Сфорца захватил власть после смерти Галеаццо Марии (1476), отравив своего племянника Джованни Галеаццо. Изгнан из Милана французским королем Людовиком XII (1499), а затем попал к нему в плен (1500). Леонардо да Винчи был вызван Людовиком Сфорца в Милан в 1480 г. в качестве музыканта и импровизатора, но вскоре ему было поручено основать в Милане Академию художеств.

Чемберлен Невил (1869 – 1940) – премьер-министр Великобритании в 1937-1940 гг. Сторонник политики умиротворения фашистских держав. В обстановке военных неудач Великобритании в мае 1940 г. вышел в отставку.

Гукасов А.О. – нефтепромышленник, меценат, издатель русской парижской газ. "Возрождение".

Каверин В.А. (1902-1989) – советский писатель. Роман "Исполнение желаний" (1934-1936) посвящен научной деятельности и житейскому обиходу ученых, посвятивших себя историко-литературным изысканиям.

Боборыкин П.Д. (1836-1921) – прозаик и драматург, писатель-натуралист. Роман "Василий Теркин" (1892) рисует выходца из недр крестьянства, ставшего фабрикантом, в идеализированных тонах.

Бунин цитирует стихотворение поэта и литературного критика Андреевского С. А. (1847-1919).

Шаховской Д.А. (р. 1901), князь, в монашестве о. Иоанн, архиепископ Иоанн Сан-Францисский. Бунин имеет в виду его книгу "Л.Н. Толстой и церковь" (Берлин, 1939).

"Дама с камелиями" (1848) – роман французского писателя Дюма-сына (1824-1895), по мотивам которого была написана одноименная драма (1852), ставшая сюжетом оперы Верди "Травиата".

Гесс Рудольф (1894-1987) – с 1925 г. личный секретарь Гитлера, с 1933 г. его заместитель по партии. В 1941 г. прилетел в Великобританию с предложением мира; был интернирован. На Нюрнбергском процессе приговорен к пожизненному заключению. По официальной версии, покончил с собой в Шпандау (Западный Берлин).

Левитов А.И. (1835-1877) – автор очерков и рассказов, проникнутых демократическими мотивами в изображении народного быта.

Иден Антони, лорд Эйвон (1897-1977) – премьер-министр Великобритании в 1955-1957 гг., консерватор. В 1935-1938, 1940-1945, 1951-1955 гг. – министр иностранных дел.

Барятинский В.В., князь (1874-1941) – драматург и публицист. Муж актрисы Л.Б. Яворской.

Деникин А.И. (1872-1947) – один из главных руководителей российской контрреволюции, генерал-лейтенант. Был в числе организаторов Добровольческой армии, с 13 апреля 1918 г. ее главнокомандующий, а с 8 октября – главком. С 8 января 1919 г. главком "вооруженных сил Юга России". Летом-осенью 1919 г. предпринял поход на Москву. С 1920 г. – в эмиграции. В начале второй мировой войны переехал в городок Мимизан под Бордо. В конце 1942 г. Деникину от имени немецкого командования было предложено перебраться "на самых лестных условиях" в Берлин, "но, в противоположность многим генералам, он весьма решительно и с риском для себя отклонил всякую мысль о сотрудничестве с врагами России" (газ. "Русские новости". Париж, 1947. 15 авг.).

Митрополит Евлогий – с 1930 г. Евлогий на церковном соборе в Париже был в числе тех, кто отделился от Московской патриархии и перешел в юрисдикцию Константинопольского патриарха. Во время второй мировой войны занимал патриотические позиции.

Раскольников Ф.Ф. (1892-1939) – политический и военный советский деятель, заместитель наркома по морским делам (1917 г.), член Реввоенсовета республики (1918), командующий Балтийским флотом (1920 г.). В 1921-1923 гг. – полномочный представитель РСФСР в Афганистане, в 1930-1938 гг. – полпред СССР в Эстонии, Дании и Болгарии. 17 августа 1939 г. обратился с письмом к И.В. Сталину, обвиняя его в массовых репрессиях.

Борис III (1894-1943) – царь Болгарии. Содействовал фашистскому перевороту (1923) А. Цанкова. Проводил прогерманскую политику. Убит по приказу Гитлера в Берлине.

"Москва под ударом" (1926) – вторая часть исторической эпопеи Андрея Белого "Москва", где он оставался верен символистской поэтике, отвергаемой Буниным.

Лаваль Пьер (1883-1945) – премьер-министр Франции в 1931-1932 и 1935-1936 гг.; в 1933-1935 гг. министр иностранных дел, сторонник "умиротворения" фашистских агрессоров. В 1942-1944 гг. глава коллаборационистского правительства "Виши". Казнен как изменник.

Бак Перль (Сайденстрикер; 1892-1973) – американская писательница, провела детство и юность в Китае. Автор романов и рассказов, правдиво изображающих страдания народа в дореволюционном Китае, трагическое положение китайской женщины.

Майский И.М. (1884-1975) – советский дипломат, историк, академик АН СССР (1946). В 1929-1932 гг. – полпред в Финляндии, в 1932-1943 гг. – посол в Великобритании, в 1943-1946 гг. – заместитель наркома иностранных дел.

Дарлан Жан Луи (1881-1942) – французский адмирал флота, во второй мировой войне – главнокомандующий военно-морским флотом. В 1941-1942 гг. – министр в правительстве "Виши". Вступил в соглашение с союзниками, высадившимися в ноябре 1942 г. в Северной Африке. Был убит французским националистом.

Бодлер Шарль (1821-1867) – французский поэт, глашатай декадентства. "Маленькие поэмы в прозе" написаны в 60-е гг., изданы посмертно (1869). Русский перевод – "Стихотворения в прозе" (1909).

Аргутинский В.Н. (ум. в 1941) – князь Аргутинский-Долгоруков.

Аминад – Дон-Аминадо (А.П. Шполянский; 1888-1941) – поэт-юморист и сатирик.

Исторические повести М.А. Алданова "Пуншевая водка" (1940) и "Могила воина" (1940).

Речь идет о кн.: Le comte-de-Las-Casas. Memorial de St.-Helene (Париж,

1823. 8-е изд.-1895).

Розанов В.В. (1856-1919) – писатель, критик, публицист, философ, близкий экзистенциальной ветви "философии жизни". В исповедально-документальных записках "Уединенное" (1912) религиозно-философская и литературно-критическая проблематика слита с "потоком души" Розанова, его затаенными мыслями. В 80-х гг. Розанов преподавал географию в елецкой гимназии, где учился Бунин.

Иванов Г.В. (1894-1958) – поэт-акмеист, после 1922 г. – эмигрант.

Жданов В.А. Любовь в жизни Льва Толстого. Кн. 1-2. М., 1928.

Порошин С.А. (1741-1770) – воспитатель малолетнего Павла I. Оставил "Записки, служащие к истории его императорского высочества… Павла Петровича" (Спб., 1844).

Милюков П.Н. (1859-1943) – политический деятель, историк, публицист. Один из организаторов партии кадетов, член ее ЦК, редактор газ. "Речь". В 1917 г. – министр иностранных дел Временного правительства. Автор трудов по истории России XVIII-XIX вв., Февральской и Октябрьской революций. Незадолго до смерти, в 1943 г., выступил со статьей "Правда большевизма", где заявил о безусловной поддержке русским народом Советского правительства.

Нилус П.А. (1869-1943) – художник и писатель, приятель Бунина.

Струве П.Б. (1870-1944) – русский экономист, философ, историк, публицист. Теоретик "легального марксизма", один из лидеров кадетов, редактор журн. "Освобождение", "Русская мысль". В эмиграции редактировал парижскую газ. "Возрождение".

Клягин А. – инженер, промышленник, литератор. Бунин написал предисловие к книге А. Клягина о Сибири "Страна возможностей необычайных" (Париж, 1947).

Бенито Муссолини (1883-1945) – глава итальянской фашистской партии и фашистского правительства в Италии в 1922-1943 гг. Стал главой правительства в результате государственного переворота (1922). Формально Италия оставалась монархией – номинальным главой государства был последний (1900-1946) король Италии Виктор Эммануил III (1869-1947). Поражение немецко-фашистских и итальянских войск в войне против стран антифашистской коалиции и усиление антифашистского движения в Италии привело к падению диктатуры Муссолини (25 июля 1943 г.). В 1943-1945 гг. Муссолини возглавлял марионеточное правительство так называемой республики Сало на оккупированной немецко-фашистскими войсками территории Италии. Был захвачен партизанами и казнен по приговору военного трибунала Комитета

национального освобождения Северной Италии.

Декларация об Италии была принята на Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, которая проходила 19-30.X.1943 г.

Федин К.А. (1892-1977) – советский писатель; романы "Братья" (1928) и "Похищение Европы" (1935).

Ренье Анри Франсуа Жозеф (псевдоним – Гюг Виньи; 1864-1936) – французский поэт и романист, близкий декадентскому эстетству, элегическому нравственному безразличию.

Речь идет о судебном процессе над главными нацистскими преступниками, который состоялся в Нюрнберге 20.XI.1945-1.X.1946 гг. Трибунал приговорил Г. Геринга, И. Риббентропа, В. Кейтеля, Э. Кальтенбруннера, А. Розенберга, Г. Франка, В. Фрика, Ю. Штрейхера, Ф. Заукеля, А. Йодля, А. Зейсс-Инкварта и М. Бормана (заочно) к смертной казни через повешение. В ночь на 16.X.1946 г. осужденные (за исключением Геринга, который покончил жизнь самоубийством) были казнены.

Бытовавшая легенда, согласно которой А.Н. Толстой был сыном не графа Н.А. Толстого, а отчима – А.А. Бострома, к которому ушла мать писателя Л.Л. Толстая (урожд. Тургенева). Опровергается позднейшими работами (см., напр.: Петелин В. Заволжье. М., 1982).